ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК



НАШ СОВРЕМЕННИК 1986 11

РОССИЯ — РОДИНА МОЯ



Октябрьский ветер. Памятник В. И. Ленину.
Москва. Октябрьская площадь.

Фото Е. Грабилина

НАШ СОВРЕМЕННИК



ОСНОВАН А. М. ГОРЬКИМ В 1933 ГОДУ

Литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

11 НОЯБРЬ 1986

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА», МОСКВА

КПСС придает большое значение более полному и глубокому освоению трудящимися массами богатств духовной и материальной культуры, активному приобщению их к художественному творчеству. Последовательно руководствуясь ленинскими принципами культурного строительства, партия будет заботиться об эстетическом воспитании трудящихся, подрастающих поколений на лучших образцах отечественной и мировой художественной культуры. Эстетическое начало еще больше одухотворит труд, возвысит человека и украсит его быт.

Из Программы КПСС (новая редакция).

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир **ПОЧЕЧИКИН**

ЗАПИСКИ ПРОВИНЦИАЛА

Хватит скитаться. Грешно столько лет топтать далекую тундру, когда столько дел на своей родной земле. Пора возвращаться к себе.

Вот и возвращаюсь. И везу в сонном плацкартном вагоне главный трофей — желание писать о своем родном городе.

Дождь моросит над площадью, сонный город — герой моих будущих записок — встречает звоном: вокзальные часы, рассеянно перебирая невидимые колокольцы, отбивают печально и строго первые такты симфонии Калинникова. Как же так? Столько лет прожил и ни разу не слышал эту симфонию целиком, только первые такты. А ведь этот плывущий над площадью Калинников как-никак земляк.

Шагаю, повторяя про себя: «ре-ми-ре-до-ре...» А как же дальше? Дальше-то как?

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В ТОТ же день — «соль-ля-си-до» — в музейной библиотеке, я прошу все книги о моем родном Орле. На стол (не без удивления приносящей) ложится стопка брошюр.

— И это все?

Любовь Егоровна улыбается:

— Нет, есть еще «Дворянское гнездо» и «Жизнь Арсеньева».

— Спасибо, я помню.

Значит, все? Книжки можно и не листать, но я все-таки листаю: цитаты из «Дворянского гнезда», из «Жизни Арсеньева», фраза Лескова из интервью: «Орел воспоил на своих мелких водах столько великих литераторов, сколько не поставил их на службу Родине ни один другой русский народ». Интересно, что бы мы говорили туристам, не дай Лесков этого интервью корреспонденту «Биржевой газеты». Что бы мы высекали на камне и отливали в бронзе? Великая все-таки вещь газета... Из книжек-путеводителей о нас вряд ли что-нибудь узнают: некоторые комментируют цитаты, уточняют их, а другие просто состоят из цитат и фотографий: смотри, что там читать.

Сколько же любви и боли потребовалось когда-то, чтобы нарисовать в «Дворянском гнезде» этот дом над обрывом и светящееся окно Лемма, чтобы и через почти полтора века людям захотелось привести сюда детей и сказать: смотри, это тот самый дом, «где нежная грезила Лиза». Или другой, вырастающий как бы из грасского тумана, город юношеской страсти, по которому бродит влюбленный Арсеньев. В романе есть монолог героя, где он корит себя: столько лет жить в этом городе и ничего в нем не увидеть, кроме вывесок, извозчиков,

управы. И все-таки, воссозданный через героя, Орел бунинский видится ясно, точно. Как же представят тот город, где любили и страдали мы, наши дети и дети наших внуков? Нет, не в Монте-Карло мы жили, не только туристов принимали, не только цитировали лесковское интервью, не только на экскурсии отправлялись в другие земли. Страшная привычка смотреть на родину непридирчивым туристским оком: был Тургенев — хорошо! А еще и Лесков был? И Фет? Прекрасно! И «Пару гнедых» тоже здесь написали? Браво! «И горько мне стало», — повторял я чьи-то чужие слова вопреки собственной уверенности в том, что лучше нашей земли не было и нет. Перед глазами уезжали и уезжали из маленького пыльного города, чтобы тосковать и писать о нем, великие и славные люди. На три дня возвращался сосланный в Спасское Тургенев. Нужно было подать «всемилостивейшее» прошение, чтобы, изгнанному из столиц за безобидный некролог на смерть Гоголя, ему разрешили выехать из деревни. Губернатор, помнивший мнение начальства о том, что Гоголь — лакейский писатель и что-то такое там сжег, сесть Тургеневу не предложил, только холодно пожал руку. Ему и невдомек было, губернатору, что перед ним тот, кто сердцем своим восстановил сожженный второй том. Его можно было назвать «Живые души», потому что мертвых душ в природе не бывает, но назывался он «Записки охотника». Плюшкины и чичиковы, ноздревы и собакевичи в этой книге были уверены, что ревизские души принадлежали им, а на самом деле души эти жили сами по себе, мучились, страдали, пели, пили воду из чистых родников и мечтали на чистом-чистом, как вода, русском языке. Губернатор читал прошение, а перед ним стоял человек, который вот сейчас хлопнет оскорбленно дверью, сбежит по темной лестнице, чертыхнет и губернатора, и город, уедет, чтобы никогда сюда не возвращаться. Но вернется памятником. Длилась мистерия расставаний: уехал из города Лесков, в ту же сторону отправился Дмитрий Писарев, следом — Писарев Александр, автор легких водевилей, Леонид Андреев отправился учиться в университет, позже скитался по земле бездомный Бунин, философии едет учиться в Лейпциг безбородый Пришвин, собирают в дорогу пятилетнего Михаила Бахтина, скрываясь от полиции, дальше всех убежит через Францию полярный исследователь Русанов: его до сих пор ищут. Апухтин — больной и небогатый чиновник — будет пытаться изменить среду, прочтет публике десять лекций о Пушкине, плюнет и тоже уедет, задыхаясь. Уложены в коляску вещи Марко Вовчок, которой Жюль Верн поручил перевести не известные пока России романы, собирает конспекты и книги «Пушкин русской истории» Грановский. Столпотворение. Весь день под надсадный аккомпанемент тракторного движка уезжали впопыхах из моего родного города все великие люди.

— Уезжайте, — шепчу я вслед каждому, — уходите, спешите, путешествуйте, скитайтесь, иначе ничего не напишете или напишете не все и не так. Пишите, не волнуйтесь. Александр Иванович Понятовский, хранитель вот этого музея, за тридцать лет соберет все, что можно собрать: рукописи и черновики, письма и открытки, булавки и визитные карточки, разбросанные по пути, ножи для разрезания бумаг и ваши вечные перья... Все увяжет в папочки и, проставив номера, затолкнет на стеллажи. По вашим комнатам день и ночь закружит досужая толпа. Вещи, на которых таблички «Руками не трогать», отполированы их упрямыми взглядами.

И как во сне я, кажется, протянул руки вперед и назвал фамилию: Горбов!

Здесь, в музее, его хорошо знали и главное — уважали; трудное это для нынешнего писателя дело — добиться, чтобы тебя искренне уважали те, кто день и ночь читает Тургенева и наизусть помнит все стихи Фета.

— «Дом под тополями»? — библиотекарь терпеливо ждет, пока я соображаю.

— Нет, — мне тот роман, который нигде не напечатан.

— «Антиграст»?

— Да, «Антиграст-Н».

Пока я оформляю требование на рукописи писателя, умершего двенадцать лет назад, возьмите «Краткую литературную энциклопедию»:

«Горбов Евгений Константинович (р. 24. II (9. III), 1906, м. Теплик, Каменец-Подольской губ. — рус. сов. писатель. Печататься начал в 1934. В рас-

сказах и небольших лирических повестях Г. проявилась любовь к «маленькому» ч-ку, погруженному в дела и заботы, обычному жителю тихого провинциального городка, сочувствие к его бедам и радостям, внимание к сложному, подчас драматическому процессу его духовного роста: повести «Куриная слепота» (1941), «Мирные жители» (1943), «Феня» (1954), роман «Дом под тополями» (1957)...».

Что значит — забытый писатель? По этим улицам он ходил, здесь поселил своих чуточку чудаковатых героев, сам жил здесь; после войны вместе с молодым тогда партизаном Василием Росляковым сразу после освобождения города пришел работать в газету. Забытый писатель? Нет, плохая у нас память, если рукопись романа, который сейчас принесет мне хранитель фондов, до сих пор томится, так и не дойдя до читателя.

Жилось под нашими тополями ему нелегко: там хвалили, здесь старались не замечать. Человек, называющий себя другом Горбова, работая с ним бок о бок, тайно визировал самую разгромную рецензию на его роман, который чуть позже расхвалят и назовут мастерским произведением наших дней и Караваева, и Федин, и Паустовский...

«Антиграст-Н» задуман в счастливые дни — немного таких дней было в его жизни.

Задумка такая: как будто бы изобретено лекарство от писательской графомании «антиграст-Н». Горбов щедро угощает им своих старых знакомых, жителей маленького вымышленного города, носящих фамилии реально существующих приживал от литературы. Двенадцать печатных листов — по объему роман, по жанру — повесть под названием «Антиграст-Н». Заключен договор с издательством, получен, а через три года, конечно, истрачен аванс. Редакторы меняются, один требует распространить действие лекарства на актеров и режиссеров, другой — на завмагов, жуликов от прилавка, завхозов и всяческих шулеров. Становятся хуже рукопись, характер, здоровье, отношения в семье. Жаль, как жаль, что Горбов создал только роман, а не само лекарство — сколько бы хороших романов удалось тогда напечатать (и в частности этот, который лежит теперь в музее, тоже в одном экземпляре, разделяя судьбу его воспоминаний «Невидимое миру»).

Рукопись на столе. Я оформляю еще одну расписку, в которой чин чином значится, что музей передает мне для перепечатки сроком на один месяц беловые автографы романа «Антиграст-Н» и воспоминаний «Невидимое миру» и что Союз писателей сохранность рукописей гарантирует.

Ответственный писательский секретарь, помнится, удивленно остановил перо:

— А это нам зачем?

— Миру показать.

— Ну, покажи-покажи, — и перо покатилось по бумажке, выводя витиеватую подпись.

Двадцать лет протомилась с «запасниках» рукопись. Двадцать лет о ней не вспомнил ни один из двадцати орловских писателей. А ведь многих он рекомендовал в Союз. И на каждом собрании: «Мы — наследники Тургенева, Бунина, Лескова...» Льстит давняя слава великих. Только плохие мы наследники, если романы совсем недавно ушедших от нас сданы в музейные архивы. Тургенев бы так не поступил, и Бунин бы вспомнил, и Лесков не спал бы спокойно, пока не пристроил рукопись собрата. Память писателя должна быть доброй и деятельной — иначе это не память. А без нее, без памяти, какой же это писатель? Борзописец.

ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ

«И горько мне стало», — повторял я откуда-то приплывшую фразу, повторял, неся домой чужую рукопись. Мы будем ходить сегодня по тому городу, где спокойно — на виду у всех знавших его писателей — лежит без движения рукопись, как думается мне, самого талантливого романа, написанного здесь за последние десятилетия. Про этот город ничего не известно туристам. Но почему, до каких пор смотреть на землю, что тебя воспитала, глазами пришлого или приезжего человека?

Должны же мы наконец понять, почему издавна хорошие люди, выросшие здесь, не выдерживали и, плюнув, уезжали. Или оставались, как Горбов, знакомыми незнакомцами.

Нет, Евгений Константинович, нам еще понадобится придуманный вами «антиграст». Чудесное и очень необходимое сегодня, в наши дни, лекарство. Отхлебнув для почина, я, с вашего позволенья, пройду по городу, бережно неся за пазухой пузырек с чудодейственным препаратом.

С кого же начать? Писателей вымышленных вы угостили по собственной воле, нынешние не пьют, врачей, завхозов, продавцов, завскладами навязывали вам вылечить столичные редакторы.

Я бы лично угостил, с вашего разрешения, архитекторов. Ведь сколько старинных домов сносят, сколько этажерок понаставили! (А что может ответить давно умерший писатель? Иди, угощай!)

Мы идем по городу. Путь наш, естественно, лежит вначале по широкой магистральной Комсомольской улице. Кто помнит, что было на месте этого скверика?

— Деревянный старинный дом.

Да, это был дом, где жила и выросла Марко Вовчок. Здесь, в гостиной своей тетки, она встречалась с Якушкиным и Киреевским, с Лесковым и Стаховичем, с Грановским и еще не упомнишь с кем. Ее проза нравилась Шевченко и Герцену, Добролюбову и Писареву. Ее романы публиковали в «Отечественных записках» Некрасов и Салтыков-Щедрин. А сколько было у нее задушевных встреч с Тургеневым и Толстым, Аксаковым и Сеченовым, Менделеевым, Флобером и Жюлем Верном (которого она, кстати, одной из первых переводила на русский). А еще она переводила Гюго, Андерсена...

Всего по дороге не расскажешь. Остановимся. Ведь нас сейчас интересует не только личность Марко Вовчок. Ее одноэтажный деревянный дом стоял вот на этом месте совсем еще недавно. История детективная. Вы знаете Василия Михайловича Катанова? Ну как же... Вы-то должны его знать. Детский писатель, знаток и любитель орловской старины. Раньше бы сказали: ревнитель. Это нечто противоположное, как мне кажется, оставшемуся до сих пор в словаре: любитель. Есть, значит, просто любитель, а еще есть ревнитель. Сейчас Василий Михайлович пишет увлекательные книги по истории края. А начинал с газетных статей. И как-то, представьте себе, по натуре добродушный, признался мне, что считает себя злым гением. О каком доме, имеющем историческую ценность, ни напишет, через некоторое время дом тот сносят. И по пальцам начал считать те дома. А липы?..

Он мог бы вспомнить, как бросились на защиту старых лип на центральной площади люди, как защищали со слезами эти деревья, посаженные в начале прошлого века. И как ночью приехали другие люди, чтобы все-таки убрать аллею. Народ защищал, а уполномоченные горисполкомом пилили. Ночью. Поди ты, объясни людям, что горисполком — солидное учреждение и что по ночам они, конечно, тоже спокойно, как все честные люди, спят. Да, градостроителям показалось, что две трети старинной аллеи, посаженной в 1819 году,— лишние. И деревья... снесли. Почему ночью? На это я и сам не могу вам ответить. А дом Марко Вовчок снесли днем. Ранним весенним утром Василий Михайлович ехал в горисполком на обсуждение своей статьи, где всячески доказывал, что дом Марко Вовчок, как и прочие памятники истории, сносить нельзя. Он ехал в хорошем настроении и подмигнул дому: дескать, мы с тобой еще поживем, повоюем. В 12 часов дня собрались люди, которые должны были все взвесить и обсудить. Раиса Митрофановна Алексина, авторитетный историк, тогда заведовавшая Лесковским музеем, приводила исторические факты, шелестела бумагами. Вошел человек, тоже ответственный, и спросил, растерянно улыбаясь:

— О чем, собственно, идет речь? Дома не существует.

— Как так не существует? — воскликнул Василий Михайлович.

— Да так. Его снесли.

Так же или примерно так же закончил свою жизнь и другой дом, напротив. Он принадлежал когда-то Зинаиде Райх, актрисе, известной в истории советско-

го театра. Сюда, к ней, да что там к ней, в этот дом приходил Сергей Есенин. Да что там приходил.

Вы помните, вы все, конечно, помните,
Как я стоял, приблизившись к стене...

К той самой стене, которую в одну ночь, вместе с тремя остальными, разобрали.

— Вы хотите знать пофамильно людей, ответственных за уничтожение этих домов? Прямо здесь, на улице?.. Погодите... Дело серьезное, путь долгий. Мы минуем злополучное для сюжета место: справа, на фундаменте памятного дома, разбит сейчас скверик, слева — тоже скверик. По брусчатой пешеходной Ленинской, по горбатой отполированной мостовой, с которой у всякого из нас столько связано. Слева стоял дом, где жил революционер, соратник Ленина Иосиф Федорович Дубровинский. Вспомнили? Туристов удивляет, как могли снести здание, которое обозначено мемориальной доской. Наивные люди.

Поднимаемся к деревянному одноэтажному особнячку. Здесь жил когда-то Грановский. Совсем еще недавно, три года назад, в этом доме, говоря военным языком, располагался штаб тех, кто по долгу совести встал на защиту ценностей, принадлежащих городу, но, как ни странно, неоцененных им.

Отступим в историю. 1829 год. Собравшись в Арзрум, Пушкин сделает двести верст крюка, чтобы по этой самой улочке подкатить к большому каменному одноэтажному дому. «Я приехал к нему в 8 часов утра и не застал дома. Извозчик мой сказал мне, что Ермолов ни у кого не бывает, кроме как у отца своего, простого набожного старика, что он не принимает одних только городских чиновников, а что всякому другому доступ свободен...»

Меня занимает этот час гения, проведенный в ожидании опального генерала. Пошел ли он пешком, оставив извозчика, вышел ли на крутой берег Орлика и так простоял на обрыве, глядя вниз, на редкие домишки Пушкарной слободы. Спустился к собору Михаила Архангела и долго стоял возле мельничной плотины? О чем он мог думать битый час, проведенный в ожидании генерала? Знал ли, что совсем недалеко, в десяти минутах ходьбы по Дворянским улицам,— дом, где родилась Анна Керн? Вряд ли. «Через час я снова к нему приехал. Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностью...» Тучный генерал забыл отчество поэта, и тому показалась неприятной, деланной улыбка из-под усов на круглом лице. «Когда же он задумавшись... — написано и зачеркнуто. — Когда же он задумывается и хмурится, то становится прекрасен...» Кажется, что здесь, подняв перо, улыбнулся сам Пушкин. Улыбнулся и продолжил, припоминая: «Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе...».

...Эти стены разбивали тяжелым снарядом, подвешенным к стреле крана. Зовут этот тупой предмет почему-то «бабой». Да, дом генерала, которого любил Пушкин и побаивались цари, был взят по всем правилам фортификационного искусства. Штурмовали его ночью: били в исторические стены тяжелыми машинами. Орешек оказался крепким, и под утро машины временно отступили.

Тогда-то в доме Галаховых и собрались те, кто решил оборонять позиции. Главный хранитель фондов Тургеневского музея легендарный Александр Иванович Понятовский водрузил над развалинами самодельный транспарант: «Дом принадлежит музею И. С. Тургенева!» С Александром Ивановичем случился приступ астмы, вызвали «скорую помощь». Дрожащими руками помощницы из ополчения набирали номера телефонов: вызывали подкрепление. Дозвонились до радиокомитета, который обещал поддержку. К вечеру радио неожиданно капитулировало, позвонили, извиняясь: «Все законно. Ивановой (той самой сотруднице музея, что просила помощи) велено жаловаться как частному лицу». (То есть не от имени музея.) Частное лицо Ивановой к этому времени распухло от бессильных слез.

Листаю протоколы ученых советов музея. Там, где дело касается памятников, они начинают походить на протоколы военных советов. Вот, например, Дворянское гнездо, район старого города с рядами одноэтажных крашеных домиков. По легенде, здесь жила Лиза Калитина, и дом каким-то чудом уцелел до наших дней. Можно составить целый том стихов и прозы, воспевающий этот уго-

лок города. Туда войдут и стихи Бальмонта, и проза Андреева, и очень многие главы из бунинской «Жизни Арсеньева». Но вот протоколы. Говорит заместитель директора музея по научной работе: «К Дворянскому гнезду было почти всегда варварское отношение: сначала хотели построить гостиницу, потом телерадиокомитет. Нам удалось отвоевать этот участок». И так в каждом протоколе, почти всякий год.

Кто же тот невидимый, но, судя по результатам, грозный противник, которого ученые стараются не называть по имени?

Я еще раз прошу временно отступить и оглянуться назад. В книге о «Дворянском гнезде» обязательно должны быть главы, которые помечены 1942 годом. Орел под немцами. Да что Орел, пол-Европы! По маминым рассказам, маленький, я представлял, что оккупация, в которой они жили в детстве, это какая-то страшная сказочная страна, куда их продали в рабство. Будто их купили какие-то немцы, потому и «а-купация». Выйдешь иногда утром в чистое зеленое поле. Где-то далеко на горизонте маячит отдельно стоящая купа берез и дальше — все равнина, равнина. Вздрогнешь, как подумаешь, что всю эту необъятную и такую русскую даль хотели обозвать Великой германской империей. Просчитались.

...Дом, где бывал в гостях А. С. Пушкин, дом, где бывал С. А. Есенин... Сколько их, таких домов, в моем городе. Подумалось: а ведь можно было бы организовать музей, который бы так и назывался — «музей одной встречи»...

Жаль, что такого музея больше никогда и нигде в мире не будет. Одним замечательным домом на земле стало меньше. Потеря великая, невосполнимая: в сентябре 1983 года разрушен дом, который пощадила самая разрушительная битва. Необходимо назвать персонально ответственных за этот урон: это бывший председатель горисполкома И. Г. Тимохин, главный архитектор города В. И. Филин, начальник (теперь тоже — бывший) управления культуры М. И. Жданова.

Сегодня, приходя в дом Грановского, я стараюсь не смотреть в ту сторону, где бессмысленно дыбится, ничего не знача для ума и сердца, дом, выстроенный орловской милицией. Замечателен он лишь тем, что стоит на фундаменте особняка, куда на два часа — очень важных в своей жизни — заехал Александр Сергеевич Пушкин.

Как же это произошло? Какая нужда заставила сносить в мирное время крепкий и красивый каменный особняк в исторической части города? Да, очень долгое время не удавалось найти документы, подтверждающие, что дом принадлежал отцу опального генерала, а «художественной ценности», признали специалисты, здание не имеет. Что это значит? Стоит, положим, в Орле скромный особняк начала XIX века. А где-нибудь в Вологде или Перми, в Свердловске или Саратове таких домов много. Для архитекторов из Москвы наш город — только страничка, несколько строк из книги «Русская архитектура». Но люди, которые на этой страничке живут, вряд ли утешатся, когда им скажут: у вас дом снесли, а в Вологде таких домов двенадцать. Мимо нашего проходили люди, сотни людей каждый день, и он честно «работал» на поприще воспитания людей. Кряжистый, суровый, он сам был похож на старого денщика, который век свой прожил бедно, да честно, в службе, но не в услужении. Весь израненный, он мог ворчливо, но с гордостью говорить своим новоиспеченным сотоварищам по уличному строю: «Богатыри — не вы...»

А если бы с мемориальной доской, с золотым именем поэта по белому мраморному полю.... Пройдет человек, и вздрогнет сердце: здесь был Пушкин.

Кстати, о золотом имени на белом мраморном поле. Вот уже два десятилетия все историки города просят сменить доску на доме губернаторов. Очень скупо она сообщает, что в этом доме бывал Лев Толстой. Да, в период работы над «Воскресением» Лев Николаевич приезжал к губернатору за разрешением осмотреть орловскую тюрьму. Но еще раньше здесь родилась Анна Полторацкая; русский поэт Федор Николаевич Глинка, сосланный за участие в ранних декабристских организациях, по ходатайству Жуковского переведен был в 1832 году в Орел и прослужил в этом доме три долгих года; почти столько же времени отдал службе и дому губернаторов Алексей Апухтин; приезжал Тургенев за разрешением на выезд из Спасского-Лутовинова. Здесь, конечно же, бывал и

Ермолов. Дом об этом почему-то умалчивает, скрывая от проходящих свою биографию. К чему?

Но вернемся к ермоловскому особняку. Очень долгое время не удавалось найти родословную дома. Генеральный план застройки Орла утвержден был когда-то без согласования с художественной общественностью города, с его историками и старожилами. Утвержден он был в те самые годы, когда считалось, что историзм чуть ли не противопоказан советской науке об архитектуре, когда ретивые борцы с пережитками «культа личности» поторопились объявить архитектуру не искусством, а строительством.

Не знаю, с каких заграничных журналов срисован план застройки нашего города, но имею подозрение, что в нем, этом городе дистиллированного завтра, много скверов, газонов и совсем нет старых домов, церквушек, старинных аллей и оврагов на берегах реки или прямо в центре города. К несчастью, это будущее, судя по темпам разрушений, не за горами.

Словом, для того чтобы воплотить милицейский дом в кирпиче и бетоне, от музея Тургенева потребовали документы, подтверждающие, что обреченный особняк принадлежал тем-то, а не тем. Это была выдающаяся уловка. Всякому, кто знаком с архивным делом, ясно, что легче за жар-птицей сходить, чем найти в архивах когда-то оккупированных городов бумагу, потерянную сто лет назад.

А через две недели ночью подъехали машины... Задыхался от приступа астмы хранитель всех писательских фондов Александр Иванович Понятовский. А еще через месяц Раиса Митрофановна Алексина натолкнулась на документ, подтверждающий, что дом принадлежал отцу Ермолова: значит, он! Хотя найдись купчая на приобретение дома на месяц раньше, все равно подъехали бы стенобитные машины. Вот дом Марко Вовчок и сфотографирован, красавец, и описан подробно в «Своде памятников»: «Усадьба Корнильева, которую снимала тетка писательницы, состояла из дома, двух жилых флигелей, деревянных «холодных служб» и большого сада. Сохранившийся в областном архиве проект капитального ремонта дома, относящийся к 1853 г., указывает местоположение усадьбы в плане города, дает расположение построек и внешний вид домов». Вот ведь как подробно, а снесли. И даже не ночью, не рано утром,— где-то около двенадцати часов дня — пока шло заседание комиссии, обсуждавшей судьбу дома. Руководил разрушением тогда председатель райисполкома В. И. Логовской.

Чуть раньше варварски разрушен особняк, также подробно описанный в «Своде», — туда приезжал Есенин. Указано скромно и уклончиво, «дом разобран в 1973 г.». Про другой дом, принадлежавший основоположнику цыганской литературы А. В. Германо, написано: «не сохранился». А надо бы: не пощадили. Старинный орловский адвокат, который был исключен из университета еще за «толстовские беспорядки», как-то, встретив меня на улице, засмеялся и, показав на место дома Германо, сказал:

— Вот как опасно быть знаменитым. Домище Германо снесли, а моя хибара, рядом, осталась.

Невеселый смех. Кстати, после статьи в «Советской России» про варварское отношение к памятникам в Орле автор ее, историк и поэт Василий Михайлович Катанов, был выведен из состава президиума Общества охраны памятников. А статьи, которые он упрямо приносил в редакцию областной газеты, лежали по полгода и больше, чтобы потом возвратиться к автору без объяснений.

Все, как говорилось в старину, под богом ходим... Теперь, кажется, просят документы, подтверждающие, что Дворянское гнездо — это точно то место, которое описано в романе Тургенева, и не какое-то иное. Институт торговли, расположившийся на месте бывших Дворянских улиц, «скупает» землю, застроенную одноэтажными домишками. То, что пощадил бог войны Марс, хочет снести бог торговли Меркурий.

ВОСПОМИНАНИЯ О ЕЛИ

За последнее десятилетие в нашем городе и окрестностях снесли десять зданий, имевших охранные грамоты республиканского значения, и сто так называемых памятников местного значения.

Сто десять домов — это ли не варварство? То под видом борьбы с религией,

то под фанфары в честь нового метода — «орловской непрерывки», то просто так, без всяких видов, тихо, в ночи, ломают и сносят. Приходит новый председатель горисполкома, меняется главный архитектор... Как правило, это люди заезжие, присланные «на ловлю счастья...» Через несколько лет они куда-то уходят, исчезают, никто не в силах вспомнить фамилии их, летописи молчат об их делах. Помню, как радовалось сердце, когда услышал историю необыкновенной елки. Она выросла, безымянная и гордая, на том самом месте, где должен был лечь новый мост через Оку. Молодые архитекторы пощадили ель, запланировав спуск моста так, что бетон обтекал могучее дерево, как река, с обеих сторон. Убедили начальство, что сто́ит ради красоты пойти на внеплановые затраты. И пошли. Брестский мост раздваивался по берегу, уступая место гордому дереву. Не день и не два стучался я по вечерам в крашеные калитки — не может быть, чтобы никто не помнил, как выросла эта ель. И нашел хозяина. В сорок первом году, отправляясь на фронт, двадцатилетний парень, уверенный, что с войны не вернется, принес из лесу саженец и попросил жену ухаживать за ним. Он дошел до Берлина и вернулся, елка за четыре года подросла и окрепла. Хотя и трудно приживается это дерево в городе.

Квартиру хозяину ели дали неподалеку. Скоро мы с ним пили чай, рассматривали семейные фотографии: каждый год у елки снимали детей, в праздники ее, живую, наряжали игрушками. В новогоднем номере «Комсомолки» за 1976 год я подробно рассказал об этой встрече. Как-то ночью ель спилили. Кто? За что? Кабинеты горисполкома хранят имена лесорубов как военную тайну. Разрушители нашей красоты неподотчетны народу, законы о сохранности памятников буксуют на месте, потому что персональной ответственности за их соблюдение никто не несет. И волнуется город, узнав, что заповедная Пушкарная слобода по проекту должна стать частью объездной дороги. «Так ли это?» — спрашивают люди, звоня в редакцию. Кто же знает — так ли, не так. «Поживем — увидим», — уклончиво отвечает горисполком. Кто-то, например, решил устроить в Михаило-Архангельской церкви, в самом центре города, картинную галерею. Вырыли в церкви котлован для подвальных помещений. Взмолилась галерея: как же мы будем хранить живопись и графику в сыром здании, которое к тому же стоит на берегу реки в зоне затопления? Затем сменился начальник управления культуры. Подумали. Решили, что галерея права. Теперь церковь разрушается, трещины идут по цоколю. Нет денег, чтобы зарыть котлован. Ее низкий приземистый купол описан Лесковым и Леонидом Андреевым, мимо этой церкви поднимался вверх по Дворянским улицам Арсеньев из бунинского романа. А что, если рухнет церковь? Кто ответит? Молчание. Безответны наши легендарные места от Дворянского гнезда до Бежина луга. В этом деловом веке нет у них паспортов, сомнительны родословные. «Это вы какую Лизу Калитину защищаете? — слышны голоса. — Ту, которая в монастырь ушла? Да, ослабили антирелигиозную пропаганду».

Или о доме Зинаиды Райх («Вы помните, вы все, конечно, помните...»):

— Если мы будем оставлять дома всех женщин, которых любил Сергей Есенин...

Слова сказаны одним из председателей горисполкома (сменилось их немало) за несколько дней перед тем, как дом снесли. Нет теперь председателя Удалова, нет и дома, но ответственный секретарь Общества охраны памятников Иван Иванович Еремин как сидел на том заседании в президиуме, так и сейчас сидит. Время от времени он пишет статьи о памятниках разных эпох. Памятники разные, а статьи похожие. Все, по Ивану Ивановичу, решалось в нашей архитектуре как в сказке: захотелось купцу такому-то построить дом... Ну, например, купцу Серебрянникову. И зовет он архитектора Пухальского: поезжай, дескать, в Москву, обмерь и срисуй такой-то дом и построй точно такой же... Встречаясь с простодушным на вид Иваном Ивановичем, все никак не могу найти нужные слова, чтобы доходчиво объяснить, что художник-архитектор — Пухальский ли это, Мельников ли — был не такой простой человек, которого купец мог запросто подозвать указательным пальцем. Он, архитектор, был художником, и обмерять такой-то дом в Москве ему не было нужды. И у тех домов, что они построили в нашем маленьком городе, была своя художественная логика появления на свет божий. Замысел произведения искусства — именного ли, безымянного — невеже-

ству просто неинтересен. Да и спешит Иван Иванович на очередное заседание: решают, сносить ли единственную в нашей земле деревянную церковь в селе Волконском?

История эта долго пишется. Пока я вымарывал черновики, позвонили из музея:

— Слышали? Решили снести Волконскую церковь!

— Кто решил?

— Церковь решили разобрать в Волконском и собрать ее в Сабурове.

— Почему? Кто решил?

А если ее разберут в Волконском и тут же разворуют на дрова? Стóрожа на этот хлам явно не отыщется... Но в трубке уже короткие гудки.

Что такое деревянная церковь конца XVII века для наших мест? Это чудо, которое выжило, спаслось, уцелело от пожаров и набегов, случайностей и бомбежек. Что такое для нас, переживших Орловско-Курскую дугу, Пушкарная слобода, район Дворянского гнезда? Что такое церковь Михаила Архангела, которая была точкой наводки для самых разрушительных артиллерий? Что такое для нас ель, посаженная на развилке дорог простым солдатом, ель, которая могла бы расти еще триста лет, а значит (кто знает!), без нас, но благодаря нам могла отметить трехсотлетие победы над фашизмом?!

Почему же Общество охраны памятников (которое, кстати, создавал на Орловщине Михаил Михайлович Пришвин) доверило безвестному и безответственному Ивану Ивановичу, и вот уже двадцать лет доверяет, судьбу этих бесценных человеческих реликвий? Он сидел там, где решалось снести дом Марко Вовчок и Зинаиды Райх, дом Ермолова и еще десятки домов. И вот теперь на очереди единственная на Орловщине деревянная церковь. Я, моя жена, мои дети, женщина, что позвонила сегодня из музея, мои соседи, родственники мои и родственники моих друзей — мы все в свое время вступили в Общество охраны памятников. Почему же у нас ни разу за эти двадцать лет не спросили: доверяем ли мы Ивану Ивановичу охранять наши сокровища?

Но только я занес перо, чтобы напомнить о ветре перестройки, как зашелестела бумага на столе, и голос из-за спины тихо и внятно произнес:

— Всякому теперь кажется, что он мог бы наделать много доброго на месте и в должности другого.

— Это вы сказали, Евгений Константинович?

— Нет, Гоголь Николай Васильевич. «Избранные места из переписки с друзьями».

— Мы, кстати, возле картинной галереи. Сегодня здесь открытие выставки. Зайдем? (А что может ответить остроумный человек? — Заходи).

ПРЕКРАСНЫЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ

Картины, кажется, помолодели лет на сто. Некоторые только что отреставрированы и теперь дразнят глаз блеском свежего лака. Я привык видеть их без золоченых багетов, на столе или на старом мольберте. Год назад случайно прочел в газете — художнице Светлане Светличной присвоена квалификация реставратора первой категории, зашел поздравить... Боже, какой хаос предстал взору, какое унылое запустение: связки паркетных плиток и гроздья светильников, бочки с известью и речной песок в белом от бетона корыте. Все грудилось в центре зала, расползалось по комнатам. А в самой дальней и самой унылой сидела красавица Светлана, грустно поглядывая на грязную клеенку громадных размеров, натянутую на подрамник. Клеенка потом оказалась нежной, полной тумана картиной Елены Дмитриевны Поленовой: вон она голубеет на торцовой стене — «Видение Бориса и Глеба воину Пелгую». По легенде, это видение решило исход чудского Ледового побоища.

Казалось тогда, что я застал мир в первый день его творения, и Светличная в белом халате была самым совершенным, но, увы, единственным произведением творца. Поздравление могло показаться кощунственным в этой помпейской разрухе. Мы молча рассматривали холсты, доставая их из неудобных

деревянных пеналов. Боже, чего только не придумал и не свершил мир старинных мастеров, чтобы тешить взор и радовать сердце! Здесь не было Тицианов, но были Боровиковский и Гау, пейзажи Маковского и Егора Шрейдера. Мясоедов, оказалось, наш земляк, а картины Шрейдера почти все погибли в оккупированном Харькове. На лондонской выставке 1874 года получила именную медаль картина Ефима Волкова «Болото. Утки». И мы ее тоже достали и рассматривали: точеная живопись раннего осеннего дня напомнила мне рассветы в холодной нашей тундре. А еще пастели — нежные, теплые портреты неизвестных в розовом, голубом, белом. Сколько их, прекрасных неизвестных, улыбнулось мне в тот день из полутьмы веков! Некоторые картины были воспроизведены на афишах знаменитых выставок, одна путешествовала в те дни: уехала на гастроли с вернисажем за границу.

Когда-то картинной галерее в Орле отдали, скажем мягко, не очень удачное помещение: нижний этаж жилого дома. Соседство с жильцами над головой угрожает каждую минуту (особенно ночью) картинам, скульптурам и особенно нежной графике. Стоило, например, кому-то вверху не выключить воду в ванной, и самодельный дождь пролился на пастели двухвековой давности, на портрет Репниной и гравюры Чемесова, Зубова, Качалова и Герасимова. А здесь еще ремонт, который длился без малого два года: галерею вынудили вести его на весьма скромные средства.

Плохо говорят о скопидомах, которые покупают книги и никому не дают их читать. А ведь любой портрет какой-нибудь девочки в голубом, хранящийся только здесь, знаменит еще и тем, что существует в единственном экземпляре. Его нельзя снять с полки где-нибудь в другом месте или посмотреть на другой выставке: он уникален. И вот сейчас картины из бывших усадебных коллекций Романовых, Куракиных, Нарышкиных стали наконец достоянием народа. И вот в маленьком фойе — первые из остро желающих увидеть именно сегодня коллекцию орловских шедевров. В толпе очень много знакомых, очень. Улыбаемся друг другу. Без надежды подойти делаем руками всякие дружеские знаки. Среди просто знакомых есть люди, которых я люблю. Все вместе, если задуматься, они приняли участие и в моей судьбе. Да что участие — они приняли саму судьбу, повернули ее почти что вспять. И самое ценное, что никто из них конечно же даже не подозревает об этом. Милые мои музейные люди! Какие документы вы мне показали, какие дали приоткрыли, какие книги благодаря вам мне удалось прочитать. А эти картины? Чуть-чуть смещается в пространстве и времени сознание: мы поглядываем друг на друга и на холсты — то они, живые люди, кажутся мне совершенными моделями старинных мастеров, застывшими на белом полотне стены, то неизвестные на холстах вдруг поведут бровью, улыбнутся уголками губ.

Но я все-таки расскажу прежде о людях, потому что непривычно трудно, рассказывая о дорогих тебе местах, все повторять по-стариковски «не то, не то», толковать о несостоявшемся душевном празднике. Что толку в разговорах об искусстве, если за этими разговорами не стоят, вот так улыбаясь, милые нам люди?

Я несу тяжелую рукопись в потрепанном портфеле и улыбаюсь. И кажется мне, что откуда-то издалека, поправляя очки-велосипед, улыбается ответно Евгений Константинович.

Я сказал: музейные люди. Когда-то, очень давно, когда эти портреты были совсем молодыми, появились в столице люди, выделявшиеся среди прочих равных образованием, стремлением к новым знаниям, а главное — талантом понимать прошлое как вечно длящееся настоящее. Пушкин помянул их добрым словом в своей поэме. Чуть иронично, но ласково их называли «архивные юноши».

Время немало потрудилось, чтобы мужчин в архивах и музеях стало меньше. Или это музеев стало больше? Факт, что сейчас там работают исключительно женщины. Они приходят в музей, как правило, сразу после института — отличницы, книгочейки, которым недосуг свить надежное семейное гнездо. Поэтому с каждым годом все сильнее влюбляются они в писателя, жизнь которого поначалу просто собирались изучать. В каждом деле, конечно, есть свои подвижники, но рядом с книгой, документом, картиной, то есть рядом с историческими подлинниками, оказываются почему-то люди особого, героического склада. Бли-

зость ли к подлинникам, общение ли с ними воспитывает это особое племя людей? Откуда же тогда случайные и «фальшивые» историки и «веды», а их-то на этом пути тоже немало? Но пока — о людях-подлинниках.

Не очень сведущие в практической жизни, худенькие, бледнолицые девушки незаметно для иных поднимают свою обыденную, частную жизнь до уровня духовной. Их, правда, интересует только классика, они не притворяются, как иногда кажется обывателю, закрывая глаза в концертном зале, они, истинное слово, не унижаются, чтобы урвать или ухватить. С годами на них будто нисходит отраженный свет вечной энергии оригинала. Завороженный этим отблеском, однажды по делу проникнув в читальный зал местного архива, я прописал свою душу навсегда на этой необжитой и холодноватой площади, за столами этих маленьких залов.

Вот ты входишь, с тебя, как пыль, слетает должность, фамилия, отчество, ты протянул, как пропуск в вечность, белый квадратик «требования», и ты уж не тот, кто вошел сюда. Теперь ты — исследователь, брат истины, у которой нет двоюродных и троюродных — только родные. Всякий раз, когда творческая нужда диктует тебе адрес нового хранилища, как-то хорошо на душе и оттого, что обязательно встретишь на пути еще одного музейного человека. Гоголь сказал: «Клянусь, человек стоит того, чтобы его рассматривали с большим любопытством, нежели фабрику и развалину». Он называл таких людей «солью города». Можно предположить, что наличие таких людей в государственных запасниках народной памяти вызвано необходимостью. То есть сама природа как бы берется за то, чтобы посадить возле подлинников «своего» человека. В мире раритетов, где все до сих пор так ненадежно, где все или почти все зависит от добросовестности людей, их доброжелательности (доброкачественности, что ли), в этом мире только фанатизм музейного человека способен обеспечить пока беспрерывность плодотворного исторического познания.

Жизнь у этих людей нелегкая. Во-первых, они сами не очень-то радеют, чтобы как-то облегчить свою собственную жизнь, во-вторых, цари в мире книг и документов, они часто бессильны сдержать пыл администраторов от культуры. И тогда, художник в душе, музейный человек, как я сейчас,— не к месту, опять вспоминает Гоголя: «Выходит инструкция для художника, писанная вовсе не художником; является предписание, которого даже и понять нельзя, зачем оно предписано». И поскольку истинных художников дела с каждым годом остается все меньше, а предписаний все больше или столько же, то в сознании бедного моего музейного человека делается вдруг такой сумбур, что не грех, если покажется ему, будто не какой-то жалкий нос, а вся голова, заручившись важным статским чином, взялась вдруг ходить по городу с неизвестными целями. Я, например, понимаю, что в нынешнем сельском хозяйстве на Орловщине образовалась прореха, если нужно отрывать тысячи городских людей от работы, в которой они смыслят, чтобы занять их той, в которой они не смыслят. Дело это, думается, временное, всякий на земле должен делать свою работу. Но кто это выдумал, чтобы в разгар туристского сезона пятнадцать женщин (из которых только десять способны выехать в поле), продолжая обслуживать орду туристов со всего света, обработали бы еще и пять гектаров поля со свеклой?.. Триста тысяч приезжающих за год. Пять, а летом, значит, десять экскурсий в день — и на все лето половина музея выбита из привычной рабочей колеи.

И вот я думаю: «Это же необыкновенные люди, виртуозные специалисты своего музейного дела». Неужели город не может взять на свои широкие плечи эти пять гектаров земли со свеклой, чтобы их-то разгрузить? Но является предписание: к такому-то сроку столько-то гектаров... тонн... И они едут. Потому что где-то там, в неведомой табели о рангах, музейный человек отнесен в графу «обслуживание населения»... И той самой голове, что составляет предписание, невдомек, что обслуживают здесь не как в столовой — чтобы, значит, остались сыты и довольны, чтобы не растревожились и не расстроились. А гость?! Избалованный сферой (что это за форма такая: сфера обслуживания?), бегло осматривает комнаты и документы, чтобы задать постоянный каверзный вопрос о женах, любовницах, незаконных детях знаменитого, но давно умершего человека. Гостя обижать не принято, и на бестактный вопрос следует очень тактичный ответ: что-нибудь о браках церковных и гражданских, и что свершаются они, видимо, на небесах.

Есть что-то тоскливо-бездомное в этих неисчислимых туристских группах. Несет их, как осенние листья, ветер бесчисленных странствий, стаями разлетаются они по старинным паркам, шебуршат войлоком огромных музейных сандалет. Как хочется согреть этих людей, сказать им какие-то ласковые слова, чтобы не таким неуютным, а то и враждебным («видал, как жил») казался им прошлый мир. Чтобы они не чувствовали себя пришлыми в прошлом. Но их много. Очередной «Икарус» заряжен ими плотно, как рожок автомата. Пересыхает во рту от методичности, с какой эти красные автобусы подруливают к парку, дому, усадьбе. Попадая в такую группу туристом, я почему-то панически стесняюсь встретиться глазами с экскурсоводом. Не могу видеть, как самодовольно мы, туристы, требуем книгу отзывов, чтобы записать жестяные слова своей трафаретной благодарности. А рядом о н а — измученная, бледная, крутит дурацкую указку, улыбается. А глазами, сквозь нас, смотрит куда-то за окно, в парк, где так чудесно сейчас. Думает, должно быть, о том, кому отдала свое сердце. старый хозяин этой усадьбы, так чудесно писавший когда-то на природном русском языке. Для нее он, тонкий, умный, все понимающий, реальнее, чем вся наша группа, обутая в нелепые сандалии...

АРХИВЫ БЕЗ ЮНОШЕЙ

Музейное дело, как и всякое другое на этой земле, начинали мужчины. В последний год века оперный тенор Антон Николаев подарил городу коллекцию картин. Откликнулись на бескорыстный дар все более или менее просвещенные люди. Сохранилась книжица, опубликованная тогда же. Список пожертвований вели первые хранители Феро и Похвалинский. Вот уж воистину «с миру по нитке»: купцы, педагоги, дамы известные и дамы, пожелавшие остаться неизвестными, несли все, что считали интересным для будущих поколений,— картины и дагерротипы, старинный веер и «зуб некоего доисторического животного», книги, монеты, камни, шкатулки.

И к тому купцу, который захотел войти в историю с зубом доисторического животного, и к даме, пожелавшей остаться неизвестной, испытываю я сегодня чувство сыновней благодарности: они несли подлинники, несли с в о е — в с е м. В списке 300 с лишком фамилий — эпидемия доброхотства в маленьком провинциальном городе. Но в общем-то идеализировать отношение к музеям и памятникам оснований нет.

Было бы поспешным утверждать в противовес нынешнему отношению к памяти, что все тогда все понимали: были люди, которые понимали, были — которые нет. Утверждать, что психология этих отношений была решительно изменена революцией раз и навсегда,— тоже крайность. Откуда же тогда взялся в наше время «голова», который на городском совещании историков ляпнул о женщинах Есенина.

Но вот что изменилось действительно, так это государственное отношение к делу — навсегда и бесповоротно. Теперь народ имеет полное право не просить, а требовать уважительного отношения к истории. Одним из первых ленинских декретов был закон о национализации памятников прошлого, в том числе и тургеневской усадьбы. В самом конце 1917 года Валерий Брюсов, заведующий научными библиотеками Наркомпроса, назначил Михаила Португалова директором музея-библиотеки Ивана Сергеевича Тургенева. За безнадежное, казалось, дело — собрать разбросанные по всему свету книги — взялся редкостный для своего времени знаток творчества русских классиков. В библиотеке едва насчитывалось три тысячи книг. Михаил Вениаминович начал свою службу с того, что создал в городе Тургеневское общество. И первым, кого пригласил участвовать в нем, был будущий академик Николай Иосифович Конрад. Они вместе преподавали западноевропейскую литературу в Орловском пролетарском университете. Такое наступило время· одни камни разбрасывать и тут же — другие собирать.

1918 год. Орел на осадном положении. Первый военный комиссар республики Подвойский приехал в город, чтобы организовать его оборону. Немцы хозяйничают рядом, на Украине, край теперь называется Брянским пограничным военным районом. Первое воскресенье весны — 6 марта. На общем собрании Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов избирается комиссия по ох-

ране памятников искусства и художественных ценностей. Люди, держа в одной руке винтовку, прежде чем отправиться в бой, другой голосуют за самых преданных классическому искусству людей.

Думаю об этом с гордостью за них и с горечью — за нас. Перебираю фамилии современников-земляков, самых ревностных защитников культуры (старины), — ученых, писателей, художников, музыкантов. Нет этих фамилий ни в списке президиума Общества охраны памятников, ни в таком же списке Общества охраны природы. О том, как исключили из правления известного в городе писателя и краеведа Василия Михайловича Катанова, я уже рассказал. Исключили за любовь к памятникам, за то, что он лучше многих столоначальников понимает, что и как нужно охранять. Думаю с горечью и перебираю дорогие имена последних музейных мужчин. Десять лет назад хмельной и бурной весной умер на собрании Союза писателей бессменный директор музея Тургенева, литературовед, известный читающей России, Леонид Николаевич Афонин. Ушел на пенсию, почувствовав себя лишним человеком в созданном им же, возрожденном мире Спасского-Лутовинова, лучший знаток старинных русских усадеб Борис Викторович Богданов.

Полгода, наверное, в тесный библиотечный «предбанник» Тургеневского музея нельзя было войти: на стенах, на столах, на полу били в глаза цифрами белые бумажные простыни. С утра до вечера, сменяя друг друга, сотрудницы зачеркивали номера, будто в «Спортлото» играли. Это сдавал свое хозяйство Александр Иванович Понятовский — главный хранитель, собиратель, описатель, пропагандист и агитатор фондов Тургенева, а вкупе с ним и Фета, Тютчева, Лескова, Андреева, Грановского, Якушкина, братьев Киреевских... Никто, кроме бухгалтера, никогда не вдумывался, какую должность занимает этот человек с пьербезуховским прищуром беспомощно-добрых глаз. Знали, что громадную. Знали, что в мире писательских вещей и документов он самый главный и самый знающий, а на вопрос, кем же он работает, могли ответить: Понятовским. Сноха Лескова звала его Захватом Ивановичем. Но это была, пожалуй, по-лесковски чрезмерная шутка: ничего-то он никогда не захватывал. Со стороны так вообще казалось, что сокровища сами текли в тесную его кладовку, где висела на двери бесполезная сердитая табличка «Вход посторонним строго воспрещен». Входили запросто все, кто знал по-голубиному кроткий нрав этого грузного человека. Он отрывался от своей вечной пишущей машинки «ундервуд», лицо высвечивалось изнутри улыбкой, и, пока глаза твои обвыкали в темноте, он уже нес отечески-радостное «а-а!» перед твоим именем-отчеством и сам шел навстречу.

Юрий Казаков как-то, скитаясь по бунинским палестинам, накупил мирровых свечей. Они, подожженные, не горели, а благоухали, распространяя вокруг очень густой кондитерский запах. Одну им подаренную свечку я отнес Александру Ивановичу. Он долго тряс мою руку, как будто получил в подарок не мирровую смолку на палочке, а крупный бриллиант. Я стал даже подозревать, что Понятовский смеется.

— Какой же смех? Все-таки Бунин... Казаков, знаете ли, дорогой мой...

Мне потом рассказывали, что многое из того, что ему приносили, рухлядь всякую, он вечером выносил на помойку — брал, чтобы не обидеть, не оскорбить.

Фонды он собрал за тридцать лет уникальные: весь мир ему дарил (что там свечка!) рукописи бунинских стихов, черновики и чистовики Андреева, Фета, Апухтина, портреты и перья — вечные перья русской классической литературы. Ученые говорят, что редко какие литературные музеи имеют такие богатые писательские фонды.

Гром не грянул среди ясного неба, когда Понятовский положил на стол заявление с просьбой перевести его смотрителем в дом Грановского. Весь год перед этим в музей все чаще вызывали «неотложку»: Понятовский стал задыхаться от пыли документов, которые сам же и собрал в тесной своей каморке.

Он был художником своего дела, а теперь отрывает билеты, моет полы.

— Господи! Неужели ничего нельзя сделать, чтобы найти ему место достойнее? — возмущенно спрашивал меня ленинградский профессор.

— Штатное расписание, — мямлил я, — Александр Иванович сам настаивает на точном исполнении всех нелегких обязанностей музейного смотрителя.

«А почему бы и нет, — думал потом с досадой, — ведь он не виноват, что каморка фондов все тридцать лет была размером со спичечный коробок». — «Да, — возражал осторожный голос-двойник, — но какую же должность можно придумать для этого человека? Кем провести его в строгой бухгалтерской ведомости?!» — «Александром Ивановичем Понятовским», — возмущался во мне бунтарь.

Существование музеев, как сказал известный русский библиотекарь и философ Федоров, служит вернейшим доказательством, что «сыны еще есть, что сыновнее чувство не исчезло, что остается еще надежда на спасение на земле». Тень Федорова, чудится мне, часто стоит в изголовье людей, посвятивших себя работе в музеях, где за ничтожную плату всякий желающий может убедиться, что бессмертие или вечная память на земле принципиально возможны. Видимо, изучая чужую биографию, музейный человек осваивает жизнь человеческую как сложное органическое соединение настоящего с прошлым. Только этим объясняю для себя, почему именно здесь рождаются люди особой породы, на других людей не похожие...

Вспомнилось, сколько сил ушло у работников Спасского-Лутовинова, чтобы доказать, что тесовый ресторан прямо напротив подлинной тургеневской часовни — кощунство над памятью о Тургеневе, который терпеть не мог пьянства и еще до всяких указов о его искоренении, чуть ли не сразу после указа об освобождении крестьян, стал бороться с пьянством всеми доступными средствами. Очень остроумное решение, потому что указа о борьбе с пьянством еще не было, а старинный, запрещающий торговать водкой возле церквей, был. И добился-таки Иван Сергеевич: перенесли кабак от усадьбы на самый край села. Напрасно убеждали фельетонисты, остря перо, — современный кабак построили рядом со старинной церковью, а дом для работников музея там, где в старину стоял кабак. Ресторан стачали на загляденье: бревно к бревну, резьба по дереву, резные ставни. А дом для сотрудников, наскоро сложенный из бетонных плит, получился щелястым, холодным, воды в кранах вечно нет.

От Соловков до нашего Спасского-Лутовинова — везде условия жизни музейных работников неприглядные. Редко кого пускают в служебные комнаты музеев, но везде одно и то же: унылая комната, где прислониться негде, и столы, столы впритык друг к другу. Да, в музеях работают удивительные, редкие люди, но их должно быть больше. И жизнь таких людей, как Александр Иванович Понятовский, должна быть очень долгой и плодотворной жизнью, потому что такая жизнь сама по себе подвиг.

Музейные работники в нашем городе идут в праздничных колоннах на демонстрацию рядом с парикмахерами, сапожниками... Конечно, это мелочь — в каком месте колонны идти, но отражает эта мелочь, увы, взгляд будничный: для того, кто размечает порядок прохождения колонн, музейный человек проходит по ведомству обслуживания.

Обслуживать, то есть подстригать, кормить, обувать. могут в конце концов обыкновенные люди. Через всякие общие тетради и гроссбухи, которые пышно называем книгами отзывов, мы просим и требуем, чтобы они были мягче, сердечнее. И таких людей если не становится больше, то все-таки больше, чем злых и грубых. На месте музейной женщины обыкновенный человек, то есть вежливый, участливый и просто знающий свое дело, не справился бы и с десятой долей обязанностей, которые выполняет она. Потому что дело не в знании, а в умении перестрадать, перечувствовать, переосмыслить. И эта работа, тяжкий труд познания, не поддается учету, хотя конечный результат, как сейчас принято говорить, такого труда огромен: он виден и невооруженным глазом. Музейная женщина живет в маленькой комнатке, в семье, кроме нее, муж и взрослая теперь уже дочь. Книги поставить негде, работать по вечерам нельзя, а на работе тоже нельзя, потому что рабочее место одной сотрудницы Тургеневского музея — на сцене, за кулисами, не в переносном смысле, а в самом прямом: в актовом зальчике музея, за потрепанной ширмой, обшарпанный стол, книги — редкие, драгоценные — свалены на диване. Это — место. А время действия — наши дни Новый начальник управления культуры может и в будний день, на собрании, во всеуслышанье заявить:

— В будущей пятилетке квартир вашему коллективу не планируется.

И невдомек мне лично, как это можно планировать отсутствие жилья, тогда как в других организациях планирование начинается от обратного.

Уходят из музеев мужчины. И разве только из музеев? Жалуются режиссеры: мало пьес, в которых можно занять бесчисленный женский состав театра; в институте культуры, где готовят режиссеров самодеятельности и организаторов клубной работы, на курсе из тридцати человек — один юноша. Сын ходил в первый класс с особой гордостью· «первую учительницу» звали... Владимир Александрович. Это был, наверное, единственный мужчина — преподаватель начальных классов в городе; теперь ушел работать в техникум. В галерее один мужчина-экскурсовод. На все литературные музеи нашего города один Александр Иванович Понятовский. Еще не отступил, служит. Среди научных сотрудников других мужчин нет. Гвоздя забить некому: чтобы шкаф передвинуть, надо кого-нибудь нанимать Но дело даже не в гвозде. «Безотцовщина» в школе когда-то поразила Федора Абрамова. Выступая на телевидении незадолго перед смертью, он сокрушался: «Мы знаем, как страдает семья, когда в ней нет отца, хозяина. Но ведь и школа страдает. Раньше ведь этот вопрос не стоял, а сегодня, в какую школу ни зайдешь, почти сплошь одни женщины. Повторяю, ничего не хочу сказать плохого о женщине. Прекрасные учителя! Но не хватает мужского духа в школах».

Искусство и культура в целом невольно, может быть, теряют в прочтении женщинами свои коренные темы: мужества, силы, тему походного, воинского бытия как идеального образа жизни. Старое классическое искусство, истолкованное женщинами, теряет свою грубость и прямоту, а на первый план (в музейной экскурсии, в газетной статье, в научном исследовании) выходят такие качества героев, как рефлексия, любовь к детям, бытовые привязанности. Блок, слушая Ахматову, отметил: «Она пишет как бы перед мужчиной, а надо — как бы перед богом». Совершенно непонятно, например, как это Тургенев, образ которого нарисован многими поколениями женщин-истолковательниц, мог любить охоту, искренне хвастаться количеством подстреленной дичи. Беда, естественно, не в том, что среди профессиональных орловских писателей нет больше охотников (кстати, все они мужчины). Повинуясь негласному читательскому требованию, писатели перестали говорить о болезнях, о бедности, о смерти — а они есть в природе. Вот и лось — громадное животное, бессильно плачет в рассказе одного моего земляка: зашиб ногу, прилег на лужайке, грустит, умирая какой-то пасторальной или буколической смертью. Это в прозе, это для взрослых. В кукольный театр мне, охотнику-промысловику поневоле, и заходить стыдно: там изо дня в день зайцы и мишки, обнявшись, дружно едят капусту, а на волка так и смотреть тошно — уж таким обалдуем сделали этого умного в природе зверя сегодняшние «братья и сестры гримм» — ни в сказке сказать, ни пером описать. Слов нет, насилие воспевать грешно, но привычка принимать мир как сплошное поле чудес в стране дураков нашим детям тоже ни к чему. Герои детских сказок, написанных сегодня, не говорят, а пищат, пиликают, тикают. И все это такая неправда и чепуха, что хочется вскочить с места и крикнуть:

Добрый папаша,
К чему в обаянии
Бедного Ваню держать?
Вы уж позвольте
При лунном сиянии
Правду ему рассказать.

Пусть не всю правду, но только правду. Старая русская сказка не всегда и не только намеком учила. Там тоже действовали и говорили звери, но мужик превосходил медведя, и волка, и лису в природной хитрости, а сказка учила, не лукавя, непростым отношениям человека и природы. С ранних лет, отданные на душевное воспитание Хрюше и Каркуше, наши дети начинают верить чуть ли не до старости, что мир создан только для удовольствий, и все неприятности закончатся в конце концов демонстрацией мультфильма, где звери обнимают друг друга, а не кусают и, упаси боже, не едят слабого.

Трезвый подсчет с карандашом в руках, конечно, многое ставит на свои места. Ровно сто лет назад в родном нашем городе было всего три гимназии, а сейчас 36 школ. В одной только школе современной обучается полторы-две тысячи человек, а в трех гимназиях когда-то — от силы пятьсот. В Орле не было ни одной публичной библиотеки, а всего на Россию их было не больше десятка. Столько же было и университетов. Работал один губернский музей, а сейчас их, не считая народных, десять. И все-таки мужчины нашлись бы и на двадцать музеев. Помню, как отрывал себя от музея (или музей от себя) Леонид Николаевич Афонин: уходил на преподавательскую работу в институт. Директор крупнейшего в мире Тургеневского научного центра, кандидат наук, он получал тогда девяносто рублей зарплаты. А мужчина, конечно, при всех спорах о приоритете, остается кормильцем и содержателем семьи. Директор всемирно известного музея Пушкина в Михайловском потерял в юности руку, Авдеев в Мелихове — почти слеп. Так что этот единственный из всех возможных способ выражения таланта, проявления личности продиктован судьбой. Дай, конечно, бог, столько сделать в жизни, сколько сделал Гейченко, и так глубоко видеть, как Авдеев. Эти люди сейчас обласканы всеобщим вниманием, окружены почетом. Но как же трудно они начинали, и сколько мужества нужно было, чтобы преодолеть косность, настоять на своем, чтобы Мелихово и Михайловское стали тем, чем они стали сейчас,— оазисами культуры.

— Слышалось за спиной, — вспоминал Авдеев первые дни жизни Мелиховского музея, — барский дом восстанавливать не будем.

Это благодаря им, взвалившим на себя бремя первопроходства, ясно теперь каждому школьнику, что Чехов — не барин, и Пушкин — не барин, и Тургенев — не барин, и вся русская культура — не скуки ради поставлена как Спас на живой крови ее первых мучеников. Музеи учат не только истории, но и культуре исторического мышления. Радостно как-то был встречен в свое время афоризм одного из наших писателей. «Раньше в Тульской губернии жил один Лев Толстой, а сейчас там пятнадцать членов Союза писателей». Неправда, никогда Толстой не был один: то к Фету съездит, то Тургенева в гости позовет, то съедутся все вместе у Сухотиных. Культура не татарник и на голом месте не плодоносит.

Порой человеку, который приезжает в Спасское, кажется, что писатель, проклинавший крепостничество, жил сам чуть ли не в чертогах. Это потому, что из всех усадебных домов прошлого века в округе восстановлен только один — тургеневский, сравнить его зримо не с чем. Усадеб небогатых помещиков практически не осталось, а ведь именно такими, небогатыми помещиками, были родители Апухтина, Полонского, Тютчева, Бунина...

Некоторые идеи библиотекаря Федорова, причем самые, казалось бы, фантастические, стали реальностью наших дней. Недаром Федорова любят, знают и чтут современные космонавты. Земные его замыслы сбываются медленнее. Вот это, например: «Музей и с предметной стороны есть (совокупность лиц) само человечество в его книжном и вообще вещественном выражении, то есть музей есть собор живущих сынов с учеными во главе, собирающий произведения умерших людей, отцов». Причем собор с учеными во главе — это совсем не фантастика, именно так во времена Федорова и было: музеев мало, но все они с очень известными учеными во главе. Да и позже, вспомним опять Португалова — после революции, Афонина — после войны. А потом... Потом стало больше музеев, больше стало их посещать людей, собирательство превратилось в трудное дело, исследование собранного — в науку. Когда после войны, например, Любовь Егоровна Максимова пришла в Тургеневский музей — в научной бибилотеке было три тысячи книг. За сорок лет беспрерывного и неутомимого собирательства, переписки со всем светом, поездок по научным библиотекам страны удалось увеличить библиотеку в двадцать раз. Любовь Егоровна заведует сейчас редким фондом. Зарплата — сто тридцать рублей. Столько же или почти столько же можно получать в должности смотрителя, то есть почти ни за что не отвечая.

Ученые придут к руководству музеями, когда экспозиция, умно и толково сделанная, будет приравнена к диссертации, когда музейное дело наконец будет

государственно признано не менее ценным, чем преподавание в высшем учебном заведении. Когда директору клуба станут платить, как когда-то попу — с прихода, появятся на клубных отделениях института мужчины. А до тех пор женщина, которая волей-неволей сегодня и жнец, и швец, и на дуде игрец, будет тащить непосильный груз просвещения в одиночку. Ничего здесь не попишешь...

НЕИЗВЕСТНЫЕ В МАСКАХ

Несколькими страницами раньше я рассказал об открытии одной интересной выставки в картинной галерее города. Так вот, благодаря мужеству — другого слова я не подберу — «музейных» женщин эта выставка и получилась такой, какой ей и надлежало быть. Женщины сделали все, чтобы на этой выставке не было и, к нашей чести, не будет никогда картин, которые десять лет назад олицетворяли гордость города: их часто выставляли, о них писали в газетах и книгах отзывов.

Орловская государственная коллекция картин началась в последний год прошлого века, когда тенор Антон Николаев (родной брат венециановского ученика) подарил губернскому музею, только созданному, свое собрание русских произведений. Позже, после революции, к ним присоединились холсты, реквизированные в имениях. Здесь были не очень известные, но первоклассные работы Боровиковского и (как оказалось) Рокотова, Зарянко и Тропинина, Ге и Шишкина, Серова, Ле Дантю и Гау, Гончаровой и Елены Поленовой. Западноевропейская часть орловской коллекции исследована плохо, и здесь возможны всякие сюрпризы: совсем недавно реставратор Светлана Светличная поработала над ветхим полотном Бирштадта, и засветился каким-то фосфорическим золотом солнца мрачный вид на реку с бизонами на первом плане. Работ этого популярного сейчас в Америке мастера середины прошлого века в крупнейших русских собраниях, судя по каталогам, совсем нет. На оборотной стороне холста бумажный ярлычок: «Собрание Аничкова дворца».

Часть собрания так и осталась в краеведческом музее. Спрятаны в подвалах сокровища — народу не доступны и науке не известны. А другая часть, стало быть, перешла в 1957 году в Орловскую картинную галерею. Конечно, начать надо было с реставрации того, чем так нежданно завладели. Но начали не с этого: пригласили на открытие передвижную выставку из Русского музея. Так орловцы, открыв собственную галерею, своих картин не увидели. Были Перов и Брюллов, Репин и Шишкин — русская живопись как бы начиналась с них, а в подвалах пылился XVIII век... Стеснялись собственной провинциальности.

...Год назад, летом, перед самым отлетом на Север, стоял я в долгой очереди на улице Горького. Спешили москвичи по своим столичным делам, очередь возле выставочного зала росла. Полдень, за стеклянной дверью, задернутой белой шторочкой, колдовало Центральное телевидение. Женщина за спиной нервно щелкала замком сумки: достанет часы, вздохнет нарочито так и спрячет.

Могла бы уйти, но ждет, теряет время. Открываются наконец зашторенные двери, и сумрачная прохлада выставочного зала осязаемо ринулась навстречу. На стенах — сто восемь старинных пастелей: нежные, голубоватых тонов, влажные глаза печальных женщин. Незнакомые цвета военных мундиров, дети, усатый красавец Боклевский (вот он какой, первый иллюстратор Гоголя!). Незнакомки, неизвестные... сколько их, прекрасных неизвестных. Здесь восемь пастелей... из собрания Орловской галереи. Как их не выставили в день открытия галереи, так и пролежали они тридцать лет в запасниках... пока наконец какой-то рассеянный жилец в квартире наверху забыл выключить воду в ванной. За ночь пастели так размокли, что даже на обертки бы не годились.

Восемь шедевров XVIII века... На фотографиях, разложенных на столиках в Московском выставочном зале, в качестве наглядного пособия показано, в каком виде поступили работы во Всесоюзный реставрационный центр имени Грабаря. «Неизвестная с крестиком» — вместо лица сплошной синяк, над голо-

вой — утрата — в виде грязного солнца. «Портрет Панина» Репниной — пергамент восемнадцатого века похож на детские каракули. Портреты работы Барду — без них коллекция музеев страны была бы неполной. А ведь и Барду, как говорят фотографии, практически был утрачен. Наши, орловские, работы не теряются даже среди самых ярких и громких имен. А ведь они были потеряны, и, если б не чудная работа реставраторов, встреча с ними никогда бы уже больше не состоялась.

Моя знакомая с сумочкой что-то пишет в «книгу отзывов». Не выдержал — заглянул: благодарит «за такую дефицитную выставку». Листаю странички, заполненные раньше:

«Становится страшно при мысли, что такие сокровища могли бы совсем погибнуть. Ветеран Великой Отечественной войны Васильчиков».

«Выставка пастельного портрета — истинное событие в жизни Москвы. Хотелось бы, чтобы вся коллекция попутешествовала по городам страны — Ленинград, Киев, Рязань, Калуга, Орел... Пусть поживет это собрание подольше...»

«Ух, до чего хорошо!» — начинается еще один отзыв. И заканчивается: «Неужели все это развезут по запасникам — и не останется ни каталогов, ни открыток? Блеснули — и снова в пыль забвения?»

Сегодня, через тридцать лет, эти работы в Орловскую картинную галерею попали, малая их часть выставлена наконец для обозрения и любования. Тридцать лет — три поколения детей (если мерить поколения школьными классами) выросло, так и не увидев этих неброских, но значительных картонов, холстов, пергаментов. Сколько людей могли бы любоваться, глядя на них,— приди они в детстве ли, в отрочестве, когда душа открыта прекрасному... и сколько их не придет сегодня, потому что некогда, недосуг, не до того — поздно. Но тогда, тридцать лет назад, казалось, что живопись начинается с «Бурлаков на Волге», с Перова и Айвазовского.

Имена, имена, имена... Сенсации — вот чего хотели сотрудники картинной галереи во главе с ее первым директором Игорем Ароновичем Круглым. «Имена» не замедлили появиться. Через три года галерея принимает у дирекции Художественных фондов Министерства культуры РСФСР двадцать пять шедевров. Больше ста тысяч рублей за один день потрачено. Работы немедленно выставляются, о них пишут. Здесь и «Лунная ночь» Саврасова, и «Охота с борзыми» Петра Соколова, и пейзаж Клевера, и два шута — с трубой и рожком — А. Матвеева. Деньги, правда, старые, реформа денежная только грядет. «Царевна Софья в заточении» Александра Литовченко, «Савояр» Василия Перова («брат» того «Савояра», что украшает зал Третьяковской галереи), «Розы» Константина Коровина...

Заключения все того же ВХНРЦ датированы в большинстве своем 1983 годом. Но еще в 1970 году о том, что большинство закупленных работ — фальшивки, авторитетно заявила экспертиза Государственной Третьяковской галереи. Акты экспертизы надежно спрятали в стол — и Министерство культуры РСФСР и тогдашние работники галереи. Причем и покупка и разоблачение одинаково солидно документированы: акты закупки подписаны реальными фамилиями экспертов. Против названий многих картин стоят имена владельцев. Кто, например, этот неизвестный в Орле М. М. Музалевский, у которого в разные годы закуплены фальшивые «Работяга» Степанова и «Ветреный день» Левитана? Как поживает некий А. В. Хомяков, который продал нам, провинциалам, «Шута с рожком», «Шута с трубой» и якобы знаменитого брата «Савояра»? Взыщутся ли с него десятки тысяч рублей, которые он получил за фальшивки? А кто эти неизвестные, продавшие «Вид Кампаньи» Александра Иванова и «Явление Христа Марии Магдалине», выданное за его же работу? 600... 800... 900... смотрю я на цену... «Считать заведомой фальсификацией», «Не может иметь музейного значения» — это в графе заключения экспертизы.

При славном директорстве И. А. Круглого * фальшивки закупались партия-

* Теперь он — заведующий отделом советской графики Всесоюзного музейного объединения «Третьяковская галерея».

ми: та, о которой я рассказал, самая крупная. Затем, через год, еще шесть работ, еще через год — две, еще через год — две. Но и после того, как он ушел, заслон не срабатывал: в 1966 году закуплено шесть фальшивых «шедевров». Последними (если они и впрямь последние) в 1970 году закуплены две сомнительные работы Юона.

В тот день, когда я с карандашом в руках подсчитывал убытки, нанесенные культуре города по вине неизвестных, выступал в Останкинском зале академик Лихачев. Он правильно сказал, что виновные в разрушении памятников должны нести не только моральную ответственность, но и юридическую. Но я улыбнулся, когда под одобрение зала Дмитрий Сергеевич сказал:

— Если человек украдет одну акварель, его будут судить, а если разрушит памятник, охраняемый государством, нет...

Милый Дмитрий Сергеевич, некого судить, даже если напрочь смыты водой восемь акварелей XVIII века. Никто никого не судит, даже если закуплено больше тридцати фальшивых полотен. Вот и сегодня, в день торжественного открытия выставки русских картин, никто не сказал собравшимся: «Товарищи! Простите, виноваты, что почти тридцать лет не показывали вам то, чем вы владеете. Передайте своим детям, которые выросли на фальшивках, что есть в нашем городе подлинные шедевры искусства, те, что предки передали в дар поколениям, а деды отстояли в боях и пожарах...». Нет, звучат: «Весомый вклад... Крупная победа... Успех...».

Русские картины на стенах... Среди них немало изумительных работ. А главное, что среди них нет больше фальшивок — только подлинники. А западные томятся по-прежнему в пеналах запасника — ждут своего часа. А час наступит не скоро, не раньше чем через пять лет: обещают открыть новое здание. Значит, через десять лет, то есть в самом конце века. Вырастут мои дети, и ваши, и дети наших детей вырастут... Нет, не очень торжественно на душе. В тесном коридорчике галереи, прижатые друг к другу, стоим мы и ждем, когда закончатся речи.

В РИТМЕ «КАМАРИНСКОЙ»

Окруженный бронзовыми фигурками своих персонажей, будто пытается привстать по-стариковски тяжелый Лесков. Так устроен памятник, что сидит писатель в центре старого города, на бойком месте, спиной к Михайлоархангельской церкви, которая должна помнить его еще не бронзовым, а живым; взглядом он устремлен в гимназию, из которой радостно и самочинно бежал когда-то.

Я сижу на скамейке у памятника, завороженный ночным ледоходом. Мощная фигура, освещенная снизу прожекторами, видится со спины. За нами потрескивают, будто переговариваясь, тяжелые невидимые льдины. Силуэты Левши и соборян плавают в густом молочном тумане, будто блуждают, потеряв дорогу в пространстве и перепутав времена. Опершись о слегу креста, понурила голову неразгаданная леди Макбет — зеленая патина, как-то даже серебрясь, струится по плечам. Я представил вдруг, слушая перестук льдин, как хохотали бы преподаватели, скажи им в свое время, что здесь, между гимназией и храмом, поставят когда-нибудь памятник ученику, который дважды оставлен был в третьем классе. Я сижу в его тени, повторяя, как гимназист, классические строки, сказанные им мимоходом.

«Орел воспоил...» — в те времена эти слова могли приниматься буквально: водопровод в городе был торжественно открыт только в начале нашего века. Старожилы-то помнят роднички вдоль берега, по-хозяйски огороженные, с кружкой на камешке — для прохожего. Теперь их укрыла каменная набережная. Как только схлынет полая вода, выйдут на берег рано утром пушкарские женщины, станут полоскать в чистой реке белье, гулко пришлепывая его липовыми вальками. Услышат ли этот влажный перестук мои внуки? Или валек, храня тепло многих поколений женских рук, будет на старости лет, как орден, носить музейную сердитую табличку «руками не трогать»?

Я мысленно населяю крепость, лежавшую когда-то в этой низине как на ладошке посреди двух рек, статными людьми в белых неподпоясанных рубахах. Они рубят, пилят, строгают. И все вокруг деревянное: дома, церкви, иконы, мостовые, лавки и полати, вся утварь обиходная — братья и сестры того липового валька. Люди рубят дерево и не знают, что все построенное ими сгорит: Баклай Мурза пойдет ли от Днепра, крымский ли хан Давлет Гирей нагрянет, поляки ли, Лжедмитрий. А они не ведают и строят.

Сколько же раз на своем коротком веку полыхал и возрождался из пепла этот город при дороге? Топоры постукивают, барабаны их перебивают, топчется нетерпеливый мужик, готовый пуститься в пляс, и босой пяткой вдруг забьет «Камаринскую». А люди строят — топоры постукивают: гореть, гореть городу — от хана, от Баклая, от Лжедмитрия. И стучат в ритме «Камаринской» стальные топоры, и брусчатка перестукивается, и перезванивается медь. Вот восьмилетний Миша Глинка, бежавший с семьей от нашествия французов в Орел из столицы, силится отличить трезвон каждой орловской церкви, подражая ему на медных тазах. Да, знаменитая «Камаринская» внушена Глинке нашими крестьянами. А Мусоргский в «Сцене под Кромами» цитирует песни наших мужиков, нашим же собирателем записанные.

Если бы не он, бородатый чудак, дворянин, что водрузил на плечи короб, став безродным офеней-разносчиком... Если бы не он, думаю я, пристукивая ногой, если бы не он... А свадебный обряд Купавы с Мизгирем:

То не пава-свет
По двору ходит...

Мать Римского-Корсакова родом из тех самых малоархангельских наших краев, откуда Павел Иванович Якушкин под окрики околоточных вывез короб драгоценных песен. Балакирев и Танеев черпали из этого песенного родника, Рахманинов называл себя «печально суходольным музыкантом».

Эх, становой! Удивил тебя Якушкин:

«...Из Москвы за песнями? Как, такой-сякой! Пословица говорит: в Москву за песнями, а ты из Москвы за песнями приехал!» Становой своих песен ценить не мог. Зато Якушкин знал, куда шел.

10 апреля 1861 года разговаривал он, стоя вот на том же самом месте, где сижу теперь я и любуюсь подле Лескова ходом невидимого вечером льда.

— Так и тогда доходили до греха? — спрашивал Якушкин, а старик ему отвечал, видимо, поглаживая бороду:

...— Как не доходить — доходило! А жили веселее, скромнее жили, по-божию, оттого и пили куда меньше».

Прекрасно издан том сочинений П. И. Якушкина в 1986 году издательством «Современник»: красивый, недорогой, а главное — полный...

И рассказывает старик Якушкину, что город наш знаменит был перед другими тем, что стоял здесь — один на всех — единственный трактир. И народ туда заходить стыдился. Собирались в певческих — там и орган, и рожки, и дудки, и песни, конечно, на всякий лад. Узнает отец, что сын в трактире побывал, отдерет... Да что отец! Невесту парень не найдет, все отворачиваются: «трактирщик идет». Зато в певческих...

Хотелось бы поведать о сегодняшних наших певческих, да не могу: как повернули тогда на трактиры, так и не свернули с выбранного пути. Только к Московской Олимпиаде — через Орел прошла эстафета греческого факела — выстроили три громадных притынных кабака, а певческой ни одной. Неужто пропиты голоса на родине знаменитых тургеневских певцов? Нет, конечно. Песни есть, приезжают к нам их записывать и сами кое-что записываем на память. И коллективов фольклорных, судя по отчетам, — тьма. Время от времени слышишь или читаешь: хор профсоюзов с успехом выступил в Дании; в Австралию, там, вылетел ансамбль песни и пляски профтехобразования.

На спектакли общенедоступного, как теперь шутят, художественного театра легче мне попасть, чем застать на месте тот или иной народный коллектив. На областной смотр художественной самодеятельности, проходивший в громадном дворце, я не смог проникнуть: дворец тот оцепила милиция. Зал был битком забит участниками художественной самодеятельности, которые отчитыва-

лись перед комиссией. По великим праздникам выступают на улицах народные коллективы. Ну да это только слово такое — выступают: кто же там разберет в толпе, на площади, что они поют? Зато во все остальные дни года свободные залы отданы толпе пестро одетой молодежи, погоняемой жокеем-затейником. В Доме ли пионеров, во Дворце ли металлургов, в драматическом театре, на фронтоне которого благородный профиль Тургенева: диско, диско, диско... А в кабаках, то бишь в ресторанах, визгливо и громко кричат, подражая дискокумирам, самодельные, на наших водах вспоенные ВИА.

На эти танцы с холодным названием «диско» нападают вообще-то много и охотно. Хочется не осуждать, а понять, чем они вызваны. Скорее всего, не тлетворным все-таки влиянием Запада. Он здесь и при чем и ни при чем. Все танцы, кроме, пожалуй, корогода, пришли на Русь с Запада. Сменялись направления музыки и ритмы, но атмосфера танцевальных вечеров оставалась по-прежнему гнетуще агрессивной. Когда видишь такое скопление молодых людей, то понимаешь, что они хотят веселиться. Но когда наблюдаешь, как беспомощно водят они плечами, перетаптываясь на месте, толкая друг друга, вяло и некстати повторяя какие-то странные движения, понимаешь, что это, конечно, не влияние Запада. Люди, собравшиеся вместе, чтобы повеселиться, веселью-то не обучены. Здесь не танцуют, а мнутся, трутся, толкутся. И когда взрослые, облачившись в сутаны времен «Стоглава», с трибуны начинают обличать и клеймить их, глупое это перетаптывание вдруг начинает обретать некую идеологическую основу. А по-моему, велика честь объявлять это неприглядное зрелище нашим идеологическим врагом номер, там, два, или три. Народ молодой имеет право и должен двигаться, прыгать, играть танцы. И то, что он не умеет этого делать, — есть преступное и тлетворное влияние взрослых, которые на редких семейных праздниках уже забыли, когда на виду у детей приглашали свою жену на танец.

Помните знаменитое место в «Войне и мире», когда старый князь отплясывает «Купора», а домашние восторженно глядят изо всех дверей? Вот как надо обличать!..

ДОМ БЕЗ ТВОРЧЕСТВА

Дом народного творчества в Орле теперь называется научно-методическим центром народного творчества. Но как раньше, так и теперь, не поют, не пляшут в том доме. В центре том бумажки: ими шелестят девушки, которым самое бы время петь и плясать. Они получают эти самые бумажки свыше и отсылают ниже.

Фольклор записывают в деревнях у старых женщин, которые и пели и играли танцы в молодости под эти самые озорные слова. Потом самодеятельные композиторы перекладывают ноты для хора, но на концерте мы увидим и услышим совсем не то, что когда-то веселило народ. Мы знаем, как пелась эта песня, но понятия не имеем, как она игралась. В центре города, где на двух этажах перебирают бумажки девушки, нет сцены или площадки, где бы, сменяя друг друга, могли показывать народу свое искусство подлинные искусники. Зато «диско» — во все вечера и во всех свободных залах. Можно отдать «диско» один зал, но дайте возможность послушать те самые хоры, которые где-то там в Дании, на Кубе или на Мальте срывают очередные бурные аплодисменты.

Когда-то меня поразила Новоафонская пещера — утроба, в которой поминаешь Данте, старинные наши легенды о пропастях земных. В самом красивом зале, под неземными отблесками сталактитов, три раза в неделю (под цветомузыку, разумеется) собирается местная молодежь на диско-вечера. Да побойтесь вечности! Что же, ничего лучше выдумать уже нельзя, как погасить свет и включить красные фонари? Принято, значит, постановление, кем-то одобрено, и дружно решили: «Танцуем диско!» И пошло-поехало. В Орле нет такой пещеры. Но в центре города — прекрасное здание драматического театра, храм Мельпомены, как выражались в старину. Спектакли теперь даются в этом храме «в нагрузку»: покупаешь билет на танцы и платишь за спектакль, который смотреть все равно никто не идет.

Сто и двести человек приходят на такое шоу — десять проходят в зрительный зал и резвятся, не обращая внимания на сцену. Остальные в буфете ожидают, когда закончится этот театральный балаган. У кассы молодые люди говорят: «Два билета на дискотеку». Дискотека имени Ивана Сергеевича Тургенева — как вам это понравится, а?

Наши клубы превратились просто-таки в чертоги — таких дворцов не было у аристократической знати прошлых столетий, стадионы превзошли своей помпезной громадой античные сооружения, которыми по праву столько тысячелетий гордился просвещенный мир. Наверное, качественно росла и культура, ради которой выстроили эти златокованые терема. Но ее рост как-то не поспевал за стремительным темпом зодчих. Здания строились как бы «на вырост», и народной культуре стало в них неуютно, а может быть, и страшно, как ребенку, оставшемуся на весь день в громадной и чужой квартире. Оно и правильно: дворец все-таки не жилое, а, так сказать, служебное помещение, предназначенное для пышных приемов и торжественных церемоний. И потому, сколько бы ни лепили дворцов, самой удобной музыкальной школой остается дом, построенный в 1877 году на деньги Орловского музыкального общества. Одна из двух художественных школ ютится в особнячке, построенном театральным деятелем прошлого Петром Петровичем Потемкиным. Другая — и сказать стыдно — вот уже несколько лет обитает в трехкомнатной квартире жилого дома. А рядом, облицованный мрамором, сверкает на солнце Дворец культуры, где сиро как-то ютятся меж просторных залов комнатки для кружковой работы. Стыдно сказать, но кружки технического творчества пришлось по требованию врачей закрыть, потому что работали они в подвальных помещениях шикарного дворца. Дети рабочих лишены возможности заниматься техническим творчеством во дворце, построенном на деньги их родителей, неуютно им в трехкомнатной художественной школе, тесно в музыкальной, похожей в дни занятий на пенал первоклассника.

Сорок лет, затихая на время, идут разговоры о создании профессионального городского симфонического оркестра. Появляются музыканты-энтузиасты, закончившие консерваторию, пытаются чуть ли не на самодеятельных началах создать такой оркестр и — через год разъезжаются. Удивительно ли, что родина одного из самых пронзительных композиторов прошлого века Василия Калинникова, за сорок лет не воспитала для себя не только ни одного симфонического композитора, но и мало-мальски заметных исполнителей классической музыки? Удивительно ли, что в тесном зальчике местной филармонии с каждым годом все меньше и меньше слушателей на гастрольных концертах знаменитых пианистов и скрипачей, виолончелистов и мастеров вокального пения? Не удивительно. На открытии картинной галереи, разглядывая прекрасный портрет одного из Новосильцевых, я вспомнил прочитанную где-то и застрявшую в памяти картинку: юный Калинников тайком бегает слушать рояль — единственный на всю округу рояль. Вижу мальчика бедно одетого, который прячется в кустах и слушает, как свершается где-то на ярко освещенной веранде таинство рождения сказочных звуков. Сын вот этого самого Новосильцева, что изображен на портрете, удивленно сказал мальчишке, уезжавшему учиться музыке в столицу:

— Зря стремишься. Чайковского из тебя не получится.

Чайковского не получилось, а Калинников вышел!

Кажется мне, что первые звуки облетевшей весь мир симфонии, те самые «ре-ми-ре-до-ре»,— звучащее воспоминание о детской сказке: бедный мальчик в росных зарослях холодной сирени, чужая веранда, за стеклами которой скользит, как золотая рыбка, прекрасная неизвестная в белом. Сейчас она стукнет крышкой рояля, и взовьются звуки, и поплывут над садом...

Я слушал Первую симфонию в Москве, на тридцать седьмом году жизни, прежде долго созваниваясь с друзьями, которые проделали сложную работу, узнавая, кто, где и когда будет в Москве исполнять Калинникова...

Я вспомнил наш орловский магазин «Мелодия», где стадом стоят фортепьяно разных видов и названий. Спросил у продавца, сколько их в магазине.

— Сто сорок.

— А сколько же продаете в месяц?

— Одно. В сентябре — два.

Непопулярный инструмент? Да, в нашем городе, к сожалению, да.

Первое, что говорят сегодня детям, это традиционное, увы: пускай из вас не выйдет музыкантов, художников. Говорится так не одному поколению орловских ребятишек. И действительно не выходит из них выдающихся музыкантов, художников, исполнителей. Но почему же, хочется крикнуть, непременно из них не выйдет и не выходит художников своего дела? Ведь количество талантов на тысячу душ населения, уверяют генетики, постоянно во все времена. Куда уехал рожденный на нашей земле новый Калинников? Чем занимается, рожденный Мясоедовым, передвижник наших лет? Тютчевы, Бунин, Фет послевоенных поколений, под какими фамилиями скрылись вы и куда? Нет школы, утеряна традиция высокого искусства, которому у нас как бы противопоставлено другое — народное искусство. Что оно такое — народное? То, что вспоено в любительских кружках, то, что самодеятельно, то, что на бесчисленных конкурсах завоевывает призы и грамоты, являясь (положа руку на сердце) пародией настоящего искусства? Почему народное — если оно действительно искусство — вот уже много десятилетий подряд существует в унизительных, если вдуматься, условиях постоянно действующего конкурса. Смотр районный, областной, всероссийский, место первое, второе, третье... Как на ипподроме оценивается в очках и баллах наша безотчетная любовь к хоровому пению, неясная тоска старинных напевов и причитаний. Я еще не видел, чтобы коллектив или человек, любящий песню — фольклорную ли, новую ли,— вышел, собрался да и запел для души, для себя, для немногих своих близких. Помните чудесную сцену, где в Притынном кабаке собрались люди разных званий и, подперев головы, слушают состязание двух певцов? «Он пел,— сказано про одного,— все слушали его с большим вниманием. Он, видимо, чувствовал, что имеет дело с людьми сведущими, и потому, как говорится, просто лез из кожи. Действительно, в наших краях знают толк в пении...»

И про второго: «Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас, но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым, страстным участьем. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль».

И про слушающих: «У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы; глухие, сдержанные рыданья внезапно поразили меня... Я оглянулся — жена целовальника плакала, припав грудью к окну... Николай Иваныч потупился, Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот; серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шепотом покачивая головой... Мы все стояли как оцепенелые...».

Сейчас они обнимутся, соперники, и один скажет: «Ты... твоя... ты выиграл» — и бросится вон из комнаты...

Я прерву тургеневских «Певцов», чтобы спросить себя: куда подевались и наше умение так петь, и наша потребность так слушать?

Наскоро сколоченный, быстро обученный, ярко выраженный коллектив... да — поет, да — завоевывает призы и грамоты, делит места. Я слушал, мы слушали, иногда аплодировали, но сердце-то, сердце не плачет. А значит, и не радуется, замирая всякий раз, когда случается редкая встреча с подлинным искусством.

Когда-то я нашел и переписал для себя начало статьи Горбова о народной культуре. Если не процитировать, то этим словам долго еще не видеть света. Листочек, исписанный торопливым карандашом, оборван на той самой ноте, которая, кажется, подхватывает внезапно прерванную песню безвестного старинного певца.

«2 декабря 1963 года. Сейчас широко поощряется всякая бездарность, всякая кустарщина от искусства, что на приспособленческом... языке называется художественной самодеятельностью. Ведь надо же показать, какой у нас высокоталантливый народ! И горе тому, кто осмелится утверждать обратное; кто заявит во всеуслышанье бездарность всегда бездарность, даже

если она выступает на подмостках так называемого народного театра или народного хора, если она кропает стишки в заводскую стенгазету, малюет плохие картинки или, скажем, разрисовывает деревянные ложки. Талант — дело высокое, исключительное, и огульно ставить его на одну доску с художественной самодеятельностью — это значит совершать преступление перед культурой».

Представляю усталое лицо, вооруженное круглыми очками, и как он, поплевав на пальцы, останавливает карандаш, отбрасывает в сторону: все равно, мол, не пойдет. А это очень гордые и точные слова человека, не заискивающего перед народом, потому что и он, автор тонких лирических повестей,— народ, а значит, и боль его за судьбу народной культуры — тоже народная боль. Сколько ошибок можно было избежать, будь эти слова произнесены вовремя. Еще люди в нашем городе любили ходить в театр, еще не так оглушительно визжали ВИА в ресторанах, еще верили, что вот-вот откроется большой концертный зал.

ТЕАТР ОДНОГО ЗРИТЕЛЯ

Когда я сижу в театральном кресле на новом спектакле сам-пят, а народ давно перестал приходить в этот зал, я с тоской думаю, что в эту минуту мне бы хотелось быть вместе с народом. Когда режиссер, он же драматург, Леонид Моисеев на этой сцене разыгрывает драму, в которой доблестный директор совхоза чуть ли не ценой собственной жизни добивается повышения качества яиц только потому, что их приказали теперь нести на экспорт, я думаю, что автор издевается и надо мной, и над моим народом: мы разве не имеем права есть свежие или там богатые белками и желтками яйца? Пьеса называется «Правда сердца», но там — неправда. И много другой неправды, своей и чужой, нес на сцену большого нашего театра бывший художественный руководитель Леонид Моисеев.

Если я перескажу подряд все сальные намеки и фривольные ситуации, которыми напичканы представления, поставленные за семь лет работы Моисеева, кому-то, может быть, покажется, что народ валом должен валить на эту порнографию. Нет, говорю с гордостью, не такой наш народ, не ходит он на спектакли, напичканные пошлостью. Совсем недавно рукой этого режиссера сокрушительно подправлена «Поднятая целина», превращенная на сцене в похождения Лушки, сдобренная сальными жестами и монологами Щукаря. После рецензий в газете и резких выступлений критиков режиссер перекрестил «детище»: ныне это не «Поднятая целина», а «Макар Нагульнов»,— и посвятил он его ни много ни мало XXVII съезду партии. В один из дней работы съезда отменили спектакль «Макар Нагульнов»: пришло семь зрителей. Я не знаю, радоваться или печалиться мне, сознавая, что в моем родном городе такой тонкий и чувствующий неправду зритель?

Не люблю, Евгений Константинович, людей, которые говорят «народ», набрав в грудь воздуха. Я против того, чтобы народ и его искусство толковались только в фольклорном смысле. Я — народ, и соседка слева Марья Александровна — народ, и муж ее, колченогий мой товарищ, и соседка Анна Михайловна, которой я дважды в неделю вызываю «скорую», и соседи снизу — Тамарка да Сашка — все мы одного племени-семени. И на конференции, где «Слово о полку Игореве» разбирают — на трибуне, в президиуме, в зале,— все народ, народ. Разница между нами есть, конечно. Утром народ толпился, обступая холодные колонны бывшей таможни — пришли слушать Дмитрия Сергеевича Лихачева; и, услышав, потекут по своим делам люди. Его знает мир, любит — это народная любовь. Кого-то знают, но не любят. Кого-то любят, но не знают. А для соседей снизу есть народное возмездие: слева Анна Михайловна, справа — Марья Александровна, а они — внизу просто Сашка и Тамарка; им по сорок лет, пропили-прогуляли свои отчества.

Вот идем мы с вами мимо областной филармонии, народ стоит за билетами: под щитом — «Ведущий передачи «Вокруг смеха» Александр Иванов». Людей на этот вечер придет, может быть, столько, сколько было их на коротком выступлении академика Лихачева. Но главное начнется завтра, когда будут рассказывать, сколько заплачено за билет и что за эти деньги получено. Вот где

будет смех, вот когда зазвучит острое фольклорное словцо по адресу ведущего, который разъезжает по городам, чтобы людей посмешить. Пройдет время, и возле той же филармонии объявится другой щит: «Владимир Мигуля, композитор, участник передачи «Утренняя почта».

Что же это за звание такое: «участник передачи», «ведущий передачи»? За что же такие цены на билеты, как будто «Ла Скала» приехал?

Подойдешь к такому щиту и стоишь, тупо уставясь. Кажется, будто провинциальность к нам из столицы экспортируют: за что же это? У нас и своей еще хватает: театр совсем никуда, нет своего симфонического оркестра, галерея только одна и с одним залом русского искусства. А здесь еще эта напасть вокруг «Утренней почты». Нет, так не всегда было. Книги теперь да редкая память стариков хранят золотые воспоминания о тех временах, когда на орловской сцене что ни сезон — то звезда, а то и созвездие. Щепкин здесь играл, Эрнесто Росси, спорили в совершенстве Савина и Стрепетова, гордились мы уроженцами этих мест — сценической фамилией Садовских и Гликерией Федотовой, Рощин-Инсаров играл у нас целую зиму. Все это были театральные антрепризы, одна сменяла другую, а счастье видеть Щепкина переходило от Курска к Орлу и — далее. Конечно, антрепризы состояли не сплошь из Комиссаржевских — плохая антреприза смогла бы продержаться сезон, от силы два. Но не семь же сезонов подряд, как сейчас. И не могла она задолжать 250 тысяч рублей, никто б ей этих денег в безвозвратный долг не дал. А нынешний театр должен, и еще ему дадут. До каких же пор?

Город и театр давно разошлись, но, боясь огласки, живут врозь, не требуя официального развода. В осьмнадцатом веке деревянный театр графа Каменского вмещал 500 зрителей. Это означает, что вмещал на каждый спектакль. Сегодня во всех трех театрах города, может быть, за две недели наберется столько зрителей, сколько их приходило на крепостной спектакль в 1815 году. А город стал в десятки раз больше. Печальную летопись искусства нашего края неподкупно, как Нестор, ведет сегодня одно только статистическое управление. Я листал их тяжелые гроссбухи, пытаясь проследить динамику культуры за десять лет, в быстром течении которых мы под бумажные фанфары «поднимали» Нечерноземье*. С каждым годом зрителей в зале театра все меньше и меньше. Соответственно все больше и больше выездов в область и за ее пределы. Народ нужен театру для выполнения финансового плана — на проездные, суточные, квартирные и прочие расходы, связанные с командировками; областной драматический театр (имя Тургенева рядом с названием этого учреждения звучит то насмешкой, то прямым издевательством) израсходовал за прошлый год больше, чем выручил от стационарных спектаклей. Поколения родителей никогда не испытали того, ради чего возник и существует истинный театр: они не пережили священного трепета. Таких встреч с искусством может быть немного в жизни одного человека. Но один раз в любой человеческой жизни она, такая встреча, все-таки должна состояться.

Как хорошо говорили основатели первого в мире детского театра на заре его жизни: «...театр должен окончательно убить в ребенке бациллу равнодушия к жизни... Он должен вызвать в детской душе трепет, и горение, и тягу к солнечной жизни». Не убивает, не вызывает. Жаль, потому что издавна Орел славился тем, что был здесь не просто зритель, а публика — братство людей, одержимых единой потребностью здесь, в зале, полнее постичь текущую жизнь, людей убежденных и убеждающихся на каждом настоящем спектакле, что театр — это искусство реальности во всех ее многообразных значениях. Увлекаемые душевным движением выдуманных сценических героев, наши сердца бьются тогда в унисон, не стесняясь друг друга, не только внимая, но исповедуясь соборно. Убить бациллу равнодушия можно единственным способом: превратить ее в вакцину. Прививка трепетного отношения к миру — вот что такое один настоящий спектакль театра.

Искусство должно внести в нашу жизнь нечто такое, чего другим путем

* За десять лет колхозных клубов становилось все меньше и меньше: в 1974 году их было по области 95, а в 1984 году — 5; профсоюзных клубов было 77, а стало — 50; киноустановок было в 1974 году 770, а стало — 574. В немалом городе Мценске, в исконных тургеневских местах, за десять лет стало книг в библиотеках не больше, а меньше.

достичь невозможно. Поэтому право на моральную дотацию имеет только такой театр, который всеми доступными ему средствами призывает сограждан к творчеству. Радостное столпотворение воцаряется возле театральной кассы всякий раз, когда на гастроли приезжает театр из другого города. Вот когда выползает на свет божий старинная орловская публика: старушки с темными вуалями на крошечных шляпках, их пожилые одинокие дочери, глядящие на мир немножко укоризненно, подчеркнуто небрежные студенты, девушки в бледно-голубых бриджах и балахонах, красивые не тем, чем они красуются, а своей молодостью; стесняющиеся друг друга молодые семейные пары и снисходительно глядящие на родителей подростки. Провинциальный театр редко интересен тем, что идет на сцене. Вряд ли то, что привезли им из другого города сегодня, будет намного совершеннее того, что они презрели вчера у себя. Но какое трепетное и уважительное ожидание в лицах и движениях, сколько нерастраченного желания сочувствовать и сопереживать! Когда три или четыре раза кряду орловская публика просит калининградских артистов повторить для них «Царя Федора Иоанновича», когда в оперном театре или на балетном спектакле воцаряется вопросительная тишина — не рано ли бить в ладони? — а затем, расплескивая аплодисменты, люди встают и благодарно вызывают и вызывают на сцену актеров, режиссера, художника, когда лица тех, кто на сцене, счастливо и близоруко улыбаются в зал... мне хочется выйти и крикнуть:

— Давайте никогда не расставаться! Пойдемте на Тургеневский бережок, веселой толпой пересечем площадь, и нами расцветет старинный курган Дворянского гнезда. Давайте возьмемся за руки, будем петь, дурачиться, познакомимся друг с другом, чтобы тут же забыть или перепутать имена, станем читать друг другу стихи, написанные когда-то нашим Фетом, нашим Апухтиным, нашим Тургеневым. Они для нас все это писали, тревожно, жадно вглядываясь в пространство, стремились представить какими мы будем, люди следующего века, захотим ли понимать те чувства, тех людей. И мы понимаем, чувствуем, нас много, все мы разные, и жизнь у каждого из нас только одна. Кого-то, может статься, завтра уже не будет на этом свете, но сегодня мы — братья и сестры, мы — люди одного поколения, одной страны! Мы из одного города!

...Я стою вместе со всеми и аплодирую даже не тому, что было сегодня на сцене, а тому, что только будет завтра. Аплодирую, уверенный, что люди, пережившие со мной этот сегодняшний вечер, станут завтра чуточку лучше, чем были вчера, что все мы вместе поняли что-то такое, чего три часа назад не понимали. Каждый из нас видел свой спектакль, разные одежды мысленно примеривал, по-своему поправлял героев или домысливал их сценические жизни. Мне жаль тех, кого не было вместе с нами: зря станут спрашивать — того, что произошло сегодня с нами, все равно не перескажешь. Жаль все-таки, что вот так едино и легко, а главное, все вместе, мы встречаемся редко, очень редко, чересчур редко. Кто в этом виноват? Конечно, как всегда, семья, конечно, школа. Они, семья и школа, во всех бедах всегда виноваты. Но я мечтаю о таком мудром и прозорливом судии, который однажды в частном определении добавит: виноваты в не меньшей, а может быть, и в большей степени театры, библиотеки, городские кинотеатры, забывшие, что они не для плана поставлены, а для души, виноваты музеи, виновато городское начальство, которое так и не поставило в центре города концертного зала, виноват директор филармонии, который не думает день и ночь над тем, как наконец создать собственный симфонический оркестр...

Поверьте, мне нелегко так говорить, и праздная моя мечта о будущем, скорее всего нереальном, общем празднике больно царапает душу.

«Человек, не прочитавший «Одиссею»,— сказал мне как-то на экзамене преподаватель,— чем-то незримо отличается от человека, который ее прочитал».

Я был глуп и, за ночь одолев все двадцать четыре песни, вдохновенно переведенные моим земляком Василием Андреевичем Жуковским, заглянул в зеркало. Вид мой зримо стал хуже, чем был вчера. Но когда я пришел сдавать экзамен, вооруженный знанием Гомера, преподаватель чем-то незримо отличался от того, каким я видел его неделю назад...

Человек, не видевший спектаклей Московского Художественного театра, не читавший Шекспира, Пушкина, Достоевского, не слышавший Мусоргского и

Рахманинова, не видевший Болдина, Спасского, Ясной Поляны, незримо отличается от человека, который все это видел, слышал, читал. Кто не горевал и не сокрушался над утренней красотой горемычной Данаи, немножко отличается от того, кто над ее судьбой радовался и страдал. Список прекрасных мест, картин, произведений вы продолжите сами. А я хочу сказать следующее. Человек, не посмотревший, не переживший, не перечувствовавший, не плакавший над вымыслом, блеском и красотой всего, что мы с вами перечислили, отличается зримо. И такого человека можно смело обозвать провинциалом.

Не буду указывать пальцем, Евгений Константинович, но педагог, никогда не бывающий на художественных выставках, писатель, не заглядывающий в музеи, и даже поэт, который ни разу в жизни не побывал в театре, врачи, не понимающие прекрасного и прекрасно без него обходящиеся,— это все не отвлеченная реальность и для меня: предстают лица, возникают фамилии. Никого не хочу обвинить, потому что думаю тревожно и устало о тех, кто делает из моих соотечественников провинциалов. Нет, существует провинция — вопреки уверениям. Но есть люди, которым удобно, чтобы мы оставались провинциалами.

ВМЕСТО ПРИГЛАШЕНИЯ

Трудно сознаваться в неисповедимом. Уйду, не прощаясь, на крутой берег Дворянского гнезда. Еще жив пока домик, известный тем, что здесь жила Лиза Калитина, которой никогда не было на свете. Этим именем клялись влюбленные. Отзвуки этой клятвы отозвались в известных стихах. Дописывая далеко-далеко отсюда роман о собственной юности, седой Бунин вспомнил деревянный скрипучий мостик, которого теперь уже нет, и огни ночных окон, которые все так же освещают дорогу новым поколениям влюбленных. Будем верны традиции — погрустим на Дворянском гнезде. Здесь подают друг другу руку прошлое и будущее, правда и вымысел. Когда я прихожу сюда один, видится мне все одно и то же. В белой ротонде над самым обрывом, склонившись над концертным роялем, человек играет очень красивую музыку. Может быть, это вальс, не дававший покоя Тургеневу. А внизу и рядом, и на площадке перед ротондой стоят люди, внимая тихой увертюре. Это какой-то большой праздник, явка на который обязательна для каждого. Кажется мне, что это традиционный карнавал, посвященный памяти Михаила Михайловича Бахтина, ученого и фантазера, который провел на этом берегу свои детские годы. Растет музыка, и пестрые толпы народа разом придут в движение, раздастся смех, и люди, одетые в костюмы разных веков и народов, тронутся в путь, заполняя узкие улочки старинного города. На этом карнавале оживут и заговорят разом герои всех произведений, написанных здесь: Баргамот наконец-то сможет получить прощение у бедного Гераськи, и Кузовкин обнимется со своими обидчиками; возвратится из монастыря хозяйка дома, Лиза, станет искать глазами старика Лемма; подкатит в черной коляске запыленный охотник, и Левша подойдет к нему, чтобы полюбопытствовать: до сих пор ли чистят ружья кирпичом в этой удивительной стране? Здесь не будет знакомых и незнакомых, старых и малых, бедных и богатых, праздник — это короткая счастливая пора, когда каждый имеет право снова стать ребенком. Я буду бродить в этой легкой толпе, узнавая и не узнавая тех, кто скрылся под масками. Я буду среди своих, признавая земляков по той краткой и точной речи, которая еще звучит в наших краях. Настает время прислушаться к голосам, которые вчера еще казались бесполезными, к словам точным и нежным, которые мы, стесняясь показаться несовременными, знаем, помним, но не произносим. Не будем в этот день беречь про запас самое ценное, что оставлено нам, — родниковые наши природные слова, нашу мягкую, чуть-чуть взволнованную речь, наш язык, которому, как верному другу, сказал Тургенев: «...не будь тебя, как не впасть в отчаяние...» В этих емких и непокорных словах, в их медленном среднерусском течении старое уживается с новым. Как семена, зреют в них забытые природный жест, ум, сметливость моего народа, его природная грация и та особая живая русская памятливость на добрые дела.

Я пойду на Дворянское гнездо вечером, один. Здесь мы и расстанемся.



Михаил **НЕБОГАТОВ**

Времени река...

О России

Откуда начинается Россия?
Одни поэты пишут: от села,
От дедовской околицы.
Другие:
От заводской заставы, мол, пошла.
Не знаю я, найду ль единоверца,
Но верю в убеждение свое:
Россия начинается от сердца,
С рождения влюбленного в нее.

Русский поклон

Случилось то в селе далеком,
Куда я, праздный отпускник,
Попал однажды ненароком —
Искал попутный грузовик.
Был полдень. Время золотое —
Сады в черемушном дыму.
Шагаю тихо. Кто я, что я —
Здесь неизвестно никому.
И удивился я, не скрою,
Когда степенный встречный дед
Вдруг снял картуз передо мною,
Как мой знакомец с давних лет.
Иду. Старушка мне навстречу:
И вновь —
почтительный поклон.
Мол, кто б ты ни был, человече,
Живи и здравствуй, в мир
влюблен.
И вроде больше стало света,
И зацвели сады пышней
От задушевного привета
Проживших долгий век людей.
Запомнив их простые лица,
Я шел и сам себя стыдил:
«Не ты ли первым поклониться
Обоим им обязан был?»
Тут не приличие, не мода,
А чуткость вместе с добротой —
Душа российского народа,
Его характер золотой.

В магазине

— Ты почему без очереди, дед?
— Я инвалид войны. Имею
право.
А тот, в броню бездушия одет:
— Поразвелось вас!
Прете! Слева, справа! —
И в очереди шум — кто за кого.
В лице у инвалида лишь усталость.
Все силы отдал фронту —
Ничего
Для спора и отпора не осталось.

Неверная

Она любовь другим дарила.
Был муж на фронте — так далек.
— Война все спишет! — говорила
В ответ на чей-нибудь упрек.
И доставала
Спирт и сало
Ему, любовнику тех лет...
Война-то, может, и списала
Измену ту, а вдовы — нет.

Родные проселки

Привык я к блеску площадей,
К асфальту этому, к трамваю,
И все же в сутолоке дней
Иных дорог не забываю.
Большая радость — пронести
Сквозь все заботы и тревоги
Любовь к отцовскому пути,
К простой проселочной дороге.
Один ее знакомый вид
С тысячелетним прахом-пылью
Так много сердцу говорит,
Такою русской веет былью...
Она ползет среди полей
То в черноземе, то в суглинке.
Темнеют трещины на ней,
Как на родном лице морщинки.
Не знали деды и отцы
Про мостовые и панели...
Зимой звенели бубенцы,
А кандалы весь год звенели...
В глухое время, в дни невзгод
С мечтой о светлых кущах рая
Гудел печально крестный ход,
Хмельному попику внимая.
Ступали лапти в эту пыль
И кривобокие обутки.
Стучал здесь посох и костыль,
И плач звучал, и прибаутки.
Как шрам глубокий —
колея...
Тут, по репейнику густому,
Тень партизанского ружья
Скользнула в знойную истому.
Здесь был проселкам поворот,
И мы просторы увидали.
Отсюда ввысь
И вдаль, вперед
Пошли все наши магистрали.

Время

Как быстротечна времени река!
Как безгранична — нет конца ей,
края!
Часы, и дни, и годы, и века
Уносит та река, в себя вбирая...
Твое письмо получит адресат,
А уж оно — посланье из былого.
Три дня, а то и десять дней назад
Ложилось на листок за словом
слово.
В них весть о чем-то, что уже
прошло,
И настроенье то, что миновало.
Был ясный день или снежком
мело,
Когда писал ты, —
Все прошедшим стало...
Читает добрый друг твое письмо,
И невдомек ему в минуты эти,
Что время с ним беседует само
О том,
Как мимолетно все на свете...

* * *

О чем-то мне подумалось когда-то,
И, если мысль заветною была,
Она со мной до самого заката
Останется, по-прежнему светла.
Среди других привычной и
желанной
Всю жизнь она идет со мной
вперед,
Хоть, может, интерес свой
первозданный
Давно уж потеряла. А живет...
Иное — чувства. Чаще их утрата.

Не все из них проносим сквозь
года.
Всю душу всколыхнувшие когда-то,
Сегодня вдруг исчезли без следа.
Пускай ты весь изводишься
от жажды
Вчерашних бурь, волнений
и тревог,
Но чувства, пережитые однажды,
Не знают к нам из прошлого дорог.
Еще вчера, и горячи, и колки,
Они тебя тревожили всего,
А нынче — как холодные осколки,
Что вынуты из сердца твоего...

* * *

Нет мысли, думы, чувства ли такого,
Чтоб не сумело выразить их слово.
Но иногда в задумчивой тиши
Молчание — как громкий крик души.
Вот дом. Крыльцо.
Окно с поблекшей рамой...
В последний раз я виделся тут с мамой.
Уже моя в сединах голова...
Ах, как мертвы, никчемны все слова!..

Встреча

Где машин монотонные звуки
И в витринах от солнца огни,
Через многие годы разлуки
Повстречались случайно они.
— Здравствуй!
— Здравствуй!
И радость плеснулась,
Засветилась в глазах огоньком.
Что-то давнее в сердце
проснулось,
Позабыли, что люди кругом.
Нет, никто бы не мог помешать им,
Только каждый вдруг вспомнил
семью
И лишь долгим и теплым пожатьем
Тихо выразил нежность свою.
— Как живешь?
— Да уж, видишь, седая...
Помаленьку живу, ничего.
«Для меня ты всегда молодая!» —
Прочитала во взгляде его.
И тотчас же ответила взглядом:
«Помню, помню далекие дни!..»
Словно парень и девушка —
рядом
Как-то робко стояли они.
Их толкали, и птицы галдели,
И визжали вблизи тормоза.
А они все стояли, глядели,
Все глядели друг другу в глаза.
И была эта радость печальной,
Потому что, душою сродни,
Благодарные встрече случайной,
Вновь надолго прощались они.

* * *

Есть видимость цветения,
А поглядишь на свет:
Красивое растение —
Обычный пустоцвет.
Есть видимость поэзии,
Но острый вкус, как нож,
Разрежет строчки резвые —
И в них проступит ложь.
Есть зло, добру подобное,
Но время лоск сотрет —
Увидишь только злобное,
Когда придет черед.
И есть добро, похожее
На зло. Но жизнь и там
Проявит все хорошее,
Расставит по местам.
Советов поучительных
Не дам. Не обессудь.
Я сам ищу мучительно,
Где видимость, где суть.



Сергей АЛЕКСЕЕВ

РОЙ

РОМАН

14

ЧАСОВ в восемь, когда откричали в Стремянке самые сонливые петухи, на заварзинский забор взлетела одинокая курица и, вздыбив перья на загривке, вдруг заорала по-петушиному. Настоящего кукареканья не вышло: два колена еще вытянула кое-как, на третьем же сорвалась, захрипела и, умолкнув с широко раскрытым клювом, покосилась в небо красным от натуги глазом.

Катя Белошвейка торопливо прошла в калитку и швырнула в курицу комом земли.

— Кыш! Кыш, тварь ты эдакая!

Курочка невозмутимо осталась на заборе, и над Стремянкой разнесся еще один ее вопль.

— Поглядите на нее, а? — возмутилась Катя, подыскивая, чем бы кинуть еще.— Есть кто живой? Вы что, не слышите?

Тимофей натянул брюки, рубашку и, сонно щурясь, вышел на крыльцо. Утро было теплое и мягкое, как конские губы, берущие хлеб с ладони.

— Здравствуй, Катерина. Ты чего так рано кричишь?

— Вы что, спите до сих пор? Не слышите? Курица-то совсем излукавилась, петухом орет!

— Пускай орет! — засмеялся Тимофей. — Ты к Ионе? Так он на пасеке остался...

— Господи! — возмутилась Катя.— Не к добру это, Тимофей! Говорят, в какую сторону кричит, оттуда и беды ждать, а то и вовсе покойника! Лови и руби ее!

Тимофей помотал головой, огляделся в поисках топора, но вместо него увидел опорки резиновых сапог, обулся и торопливо зашаркал к сортиру. В этот момент курица выгнула шею и сипло прокукарекала.

— Чудеса природы! — восхищенно сказал Тимофей.— А ты еще не кукарекаешь, Катерина? Хотя, да...

— Руби, говорю! — оборвала она.— Ишь на ваш дом кричит!

— Я вот ей покричу! — пригрозил Тимофей. — Ты лови, а я за топором!

Катя спугнула-таки курицу с забора и, расставив руки, загнала в угол, крепко взяла за крылья. Курица, закатив глаза, поуркивала и не вырывалась. Тимофей принес топор, зарубил последнюю в хозяйстве курицу и бросил в ведро, подставленное Катей.

— Где отец? — спросила она. — Не приезжал?

Тимофей вытер руки о штаны, и веселость его разом спала.

Окончание. Начало в №№ 9, 10 за 1986 год.

— Он же Алешку ищет. Старец наш куда-то утопал...

— Да я все знаю! — прервала его Катя.— Отец ночью был у нас, к дяде Саше Глазырину приезжал, чтоб в милицию сообщить. Где он сейчас?

Тимофей пожал плечами и сел на ступеньку крыльца.

— Он и сюда ночью заезжал, когда мы с пасеки приехали с Серегой. Говорит, сидите пока дома, я проеду до реки, может, на пароме...

— Ну и бестолочи же вы! Вся семейка такая: Ванька дома — Гришки нет, Гришка дома — Ваньки нет... Дядя Саша уже нашел вашего старца!

— Где? — удивился Тимофей.

— В Яранке! — Катерина подобрала складчатый подол и села рядом с Тимофеем.— У Ощепкина... Под утро уже пришел! А теперь Василий Тимофеич куда-то пропал. Я всю Стремянку объехала, на пароме была...

— Приедет, — Тимофей достал сигареты, продул мундштук.—Куда денется... Может, на пасеку укатил?

— У меня подозрение,— сказала Катерина,— что он за реку поехал. Паром на той стороне стоит...

— А Петруха что говорит?

— Петруха со вчерашнего еще не просох... Вы что там с ним вчера делали? С отцом-то? Он приехал сам не свой, глянула — испугалась.

— Да большак вчера... — начал было Тимофей.— Потом вроде ничего, как Серегина собака покусала...

— Ничего,— буркнула Катерина.— Оно и видно — ничего... Нет, похоже, его Петруха с толку сбил, и он за реку поехал. Сейчас Сергей с пасеки вернется — точно узнаем.

— Серега дома, спит, — сказал Тимофей.

— Сходи, глянь, — кивнула на дверь Катерина. — Серега давным-давно по селу ездит. Только не знаю, кого ищет: отца или собаку...

— Я думал, он у себя, спит,— протянул Тимофей.— Зачем отцу на ту сторону? Чего он поедет? Все равно бы Алешка за это время не успел дойти до парома. Удивляюсь, как он в Яранку-то притопал...

— Конечно, вы же все, братцы, с луны упали. Живете — ни сном ни духом... Алешка-то слепнет последнее время, а ему кажется, что в Стремянке темно становится. Почему он с фонарем ходит?

— Да, почему?

— Темно ему здесь, вот и ходит.— Катерина прислушалась.— И собирается вообще уходить отсюда. Вы, наверное, там его напугали, обидели, он и пошел! А отец догонять... Петруха на пароме молотит что-то, будто Алешку ночью видел. Что он видел, когда Алешка в Яранке! В другой стороне!

— Ладно, хоть старец нашелся, — сказал Тимофей. — А батя поездит да вернется.

— Нет, мужики, так не пойдет! — отрезала Катерина.— Если отца на пасеке нет, поезжайте с Серегой за реку, до поста ГАИ. Узнаете, проезжал — нет. Что-то на душе неспокойно, предчувствие какое-то...

Тимофей засмеялся, приобнял Катю.

— Ну и сношка у меня будет! Ты же нас в одном доме затуркаешь! Я же переезжать надумал!

— Кто? Сношка? — переспросила она с вызовом.— Сейчас, разбежалась! Спотыкаюсь прямо...

— Если большак возьмется — не уйдешь,— серьезно сказал Тимофей.— Вчера посмотрел на него... Какой-то он стал... За горло возьмет.

— А вы тоже сидели, заступиться не могли! Пока собака не разняла... Обидели вы отца. И Алешку... Сыночки приехали, называется, разогнали всех, раззорили...

— Скоро все тут соберемся, и все уладится,— Тимофей встал.— Поеду домой, Валентину обрадую.

— А отца искать?

— Пусть Сергей съездит один,— Тимофей замялся.— Понимаешь, боюсь... Вдруг передумаю? Пока еду по реке — заболит сердце и останусь. Если решил, надо сразу... А Вале скажу — не отступишь, она баба такая... Завяжу глаза и поеду!

— Что же с курицей делать? — спросила Катерина.— Жалко, пропадет... Ой, плохо у меня на душе. Чувствую, не кончится это добром... Может, сварить? А то ведь соберетесь, съедетесь наконец и есть запросите... А ты когда назад-то, Тима?

— Завтра! — Тимофей пошел собираться.— Ты мне вечерком позвони. Ну, про отца скажешь... А мы завтра с Валентиной будем!

Тимофей нацепил кобуру, вышел на улицу и остановился у колодца. Он опустил бадью, достал воды и стал пить, лязгая зубами по железу.

Зубы ломило от холода, а сверху уже крепко припекало солнце. День разгуливался ведреный, глубоко чистый и прозрачный, как вода в бадье, и ничто не предвещало ненастья...

Сергей нашел отца где-то на середине пути между Стремянкой и городом. «Волга» стояла на обочине, открытые нараспашку дверцы выглядели, как подбитые крылья. Сам отец сидел на гравийной бровке с ведром и шлангом. Кончился бензин...

Они вернулись в Стремянку, однако отец, не заезжая домой, погнал в сторону Яранки. Весть, что старец нашелся, словно не обрадовала его. Точнее сказать, лишь один камень свалила с души.

— Он ведь ко мне теперь не вернется,— сказал отец.— Куда ему? В дом престарелых?

И словно в воду смотрел. Когда приехали в Яранку, старец с кержаком Ощепкиным сидели на скамейке возле калитки, между ними стоял зажженный фонарь.

— Сыскная приехала,— сказал старец, указывая на машины клюкой.— Всем гнездом ищут теперь, лешаки! Верно, думают, я вернусь и жить у них буду. А я к ним не пойду. Они сами в своем гнезде разобраться не могут, что я буду в ногах путаться? И к внукам не пойду.

Все это он говорил в присутствии Заварзиных, но так, будто их рядом не существовало. Ощепкин кивал головой и теребил бороду, мудрый и спокойный, как сфинкс.

— Ведь о чем говорят-то? О чем спорят? — продолжал старец.— В ранешное время со стыда сгореть можно! А отчего все? Отчего эдак колобродят да тычутся, ровно слепые котята? Темнеет в Стремянке! Станешь говорить, дак не верят, думают, из ума выжил. В потемках где ж разобраться? Где ж им найти друг дружку ощупью-то? Кого ни схватишь — все чужой.

— Так-так,— степенно кивал Ощепкин.— Если ранешное время вспомнить, так и тогда тыкались. Как ни придешь — вечно бузят, спорятся...

— Ты, Мефодий, не путай! Не путай! Коммуна была, дак не тыкались. Народ сообща жил, одним духом. Вон как тайгу-то корчевали! И подумать страшно... Нынче что не корчевать — техники-то полно... Сообща жили, сообща. Золотое времечко, коммуна-то!

— Так-так,— опять кивал кержак.— Всю жизнь в суете прожили. Помню, церкву-то поставили, крест подняли и ходят, смотрят. А орут — мать ты моя! Одному кажется — криво, другому — прямо. Чуть за грудки друг дружку не берут. И ведь все правы были! Все, как один. Токо беда-то в том, что с разных сторон смотрели. Я потом ходил вокруг церквы, глядел. И так и эдак глядел. Мои-то еще заподозрили, мол, не

к попам ли я подался. Все правы были. С одной стороны смотришь — прямо, с другой — криво. Это кто где стоит и кто откуда смотрит. А крест-то прямо стоит!

— Хороший ты мужик, Мефодий, да тоже слепошарый, — сказал старец. — Всю жизнь по тайге жил да молился. И свету белого так и не посмотрел. Религия — дурман, разве не слыхал? Бога-то нету!

— Так-так, — заведенно бормотал кержак.— Хорошо пожили, хорошо помолились. Теперь вот где так помолишься? Все керосином залили, все пожгли, потоптали. А молиться надо в чистом месте, чтоб дурману не было... Так-так...

С горем пополам удалось-таки сговорить Алешку ехать в Стремянку. Он позволил усадить себя в машину и довезти до магазина, возле которого толпился народ,— ждали открытия.

— А мне ведь в магазин надо! — заявил старец.— Люди-то стоят.

— Пускай стоят, мы домой поедем, — Заварзин тронул машину, но Алешка начал дергать дверцу, намереваясь выскочить на ходу.

— С народом хочу говорить! — кричал он.— Пустите меня, пустите!

Василий Тимофеевич едва успел защелкнуть фиксатор замка и прибавил скорости.

— К народу пустите! — не унимался Алешка.— К народу!

Сергей Петрович Вежин почти все время жил на своей пасеке, лишь изредка наезжая в Стремянку — за продуктами и попроведовать жену. Жена его все еще работала в школе, хотя каждый год собиралась уходить. Квартира у Вежиных была учительская, казенная, поэтому Сергей Петрович построил большой дом на пасеке. Место он выбрал не такое страшное, как у других: среди по-весеннему черной гари ярко зеленел сохранившийся сосновый борок по гребню увала. Деревья, когда-то сжатые черной тайгой, тянулись вверх, будто худосочная трава, но когда шелкопряд оголил кедрачи, а пожары смахнули сухостой, сосны начали толстеть, набирать мощь и стояли теперь, как коренастые, крепкие мужики в высоких шапках. В этом борке и стоял дом Вежина. Кроме того, вся пасека была обсажена несколькими рядами желтой акации, среди которой торчали высокие метелки верб.

Сергей приехал к бывшему учителю под вечер, но не захватил его. Жена, Алевтина Николаевна, объяснила, что он скоро вернется, и не отпустила гостя. Встретила ласково, попыталась усадить за стол, но когда Сергей наотрез отказался, принесла горячий сбитень и стала потчевать. Он узнавал в ней свою учительницу — она преподавала от природоведения до биологии — и одновременно приглядывался как к малознакомому человеку. Алевтина Николаевна больше расспрашивала почему-то о семье и сама же перебивала, не давала ответить. И хорошо. Иначе бы пришлось говорить какие-то дежурные фразы, а попросту врать. Не огорчать же ее с ходу, не вываливать же на нее все свои заботы и неудачи. Слушая Алевтину Николаевну, он вдруг понял, что в ней было незнакомым,—говорливость. Какая-то суетливая, захлебывающаяся говорливость, будто у человека, который очень долго был один и тяготился молчанием.

Сергей потом вообще замолчал и только слушал, и пока они таким образом беседовали, приехал Вежин. Алевтина Николаевна опять захлопотала возле стола, но мужики вышли на улицу, подальше от суеты. Сергей неожиданно для себя разволновался — теперь надо было самому говорить, ведь за этим и приехал, но не знал, как начать, с чего. И пока он лихорадочно думал, каким образом поведать бывшему учителю, что он не оправдал его надежд, что он в науке никчемный человек и зря, выходит, забор городили, Сергей Петрович водил его по пасеке, что-то показывал и говорил сам. Говорил то, что уже сказал на

пароме, снова увлекся, рисовал перспективы стремянских гарей, если на них образовать не один — несколько пчеловодческих совхозов.

И теперь Сергей был благодарен ему, так как не надо вообще начинать этого трудного разговора, может, пронесет, как в школе,— зазвенит звонок, и его не успеют спросить. Он слушал Вежина и наконец вспомнил, с чего хотел начать. Со своего похода в российскую Стремянку. Как в полном одиночестве прожил ночь на красной, вспаханной земле, как бродил по безликому, замшелому кладбищу и бегал за призрачной мельницей.

Но сейчас и не нужно было рассказывать, тем более с таким дальним подходом — от российской Стремянки. Поэтому, выбрав паузу, Сергей сказал, что думает бросить университет, город и перебраться в Стремянку. Но то будет не побег, а естественное возвращение, поскольку, он и не должен был уезжать, и теперь лишь исправляет ошибку. Он ждал, что Вежин станет отговаривать, а может, ругать, сердиться, однако бывший учитель стал говорить, что желание Сергея только подтверждает его выводы. Дескать, люди издревле занимались бортничеством, почитали пчелу и жили рядом с ней. И многое переняли для себя из жизни пчелиной семьи. Есть у пчел замечательный инстинкт — возвращение на старое место. Куда бы пчелу ни занесло, она обязательно прилетит к своему улью. И если снять его с места и отнести куда-нибудь в сторону или спрятать, то возвратившиеся пчелы привьются к колышкам, на которых стоял улей, и будут сидеть там сутками. У человека есть точно такой же инстинкт, потому его всегда т я н е т к месту, где он родился или долгое время жил в детстве. Для человека неестественно бродяжничество. Стремянка прижилась в Сибири не потому, что здесь нашла достаток. Потому что приехала сюда роем, семьей, и продержалась здесь до сегодняшнего дня только по этой причине. Отрываться от своей семьи — гибель. Но человек научился наступать на горло себе и своему инстинкту ради каких-то высших интересов. И, живя этими интересами на чужбине, он выхолащивает свою жизнь. Человек не может быть цельной личностью, если потерял эту великую тягу к старому месту.

— Но меня не тянет сюда,— сказал Сергей.— Просто некуда деваться... А здесь отец.

Вежин рассмеялся и тут же загорелся познакомить Сергея с парнем, которому тоже когда-то некуда было деваться. А теперь вот приехал в Стремянку и намертво прирос к этой земле.

От пасеки Сергея Петровича была еще одна дорога, не наезженная как следует, в ухабах, петлях и объездах. Часа полтора Сергей ехал за бывшим учителем, и ему казалось, что они беспорядочно кружатся в пространстве гарей и шелкопрядников. Наконец они выехали к пасеке, обнесенной двойным рядом колючей проволоки. Сергей с опаской глянул на заходящее солнце, но Вежин, угадав его мысли, показал на заросшие травой колеи проселка, который вел прямо в Стремянку.

Изба Виктора Ревякина, — а скорее, не изба — эдакий старинный русский теремок с резными наличниками, с гульбищем под окнами, с высоким, на две стороны, крыльцом,— напоминала сказочный домик. И если бы не колючая проволока, то можно было подумать, что все это снится либо живет здесь какой-нибудь старичок, досужий на выдумку и чудачество. Похоже, строительство еще продолжалось. Деревянная резьба не успела потемнеть на солнце, и лишь кое-где вытопилась смола, кругом лежали щепки, обрезки бревен и досок. Однако вместо старичка вышел молодой парень в рубахе под старинным пояском, и когда Вежин торжественно представил хозяина, назвав Виктором Васильевичем, а затем, сославшись на дела, откланялся, тот радушно пригласил Сергея в избу, разговаривал, как со старым знакомым, без церемоний и натянутости. Пока гость оглядывал стены, тоже украшенные барельеф-

но вырезанными досками узоров, богатырями на конях, всевозможными бородатыми масками, Виктор Васильевич выставил на стол деревянное блюдо с хлебом, вареную целиком картошку и горшок со сбитнем. Сергей хотел сказать, что не нужно никаких хлопот, но заметил в углу, на полке, искусно вырезанную из цельного куска дерева пятиглавую церковь. Стены, все пристройки, приделы, купола с крестами и даже оконные решетки — все было неотделимо, без явных и тайных стыков. Он потрогал искусственно состаренную древесину.

— Если интересно, можешь заглянуть внутрь,— сказал между делом Виктор Васильевич.— Открой дверь. Да ноги не забудь вытереть— в храм входишь.

Сергей открыл дверцу, посмотрел и в самом деле словно вошел в церковь: деревянные полы, притвор, а дальше — зал с расписанными колоннами, иконостас, резные «златые врата». И даже люстра со свечками. Иконы были написаны маслом — несколько ювелирно точных мазков — и полное ощущение образа, если смотреть издалека.

— Удивительно,— не сдержался Сергей.— Сколько работы... Неужели без единого шва?

— Пол вставлен, ты посмотри,— бросил хозяин.— Месяц сидел зимой. Летом некогда заниматься, пасека... И медведь тут меня тревожит... Давно хотел познакомиться с тобой, Вежин рассказывал...

— Ювелирная работа...

— Да, ничего вышла церковка,— проронил он.— Самому не верится... Но это же копия! Хорошо сделанная копия... Наш век — век копиистов. Подражатели мы, обезьяны...

Виктор Васильевич расхаживал босым по чистым, отскобленным половицам. Ступни ног его были узкие, длинные и сухие—верный признак человека, выросшего в квартирно-дачных условиях. Не бегал он босым по лесам, по камням и пашням...

— Кстати, ты когда собрался переезжать в Стремянку? — вдруг спросил он и, не дав ответить, добавил: — Когда переберешься, я тебе еще кое-что покажу... Но все это — увы! — не искусство! Мы же растеряли, растрясли свое искусство, на чужое бросились... А вот мастер, который в натуре эту церковку поставил, с одним топором,— вот он творил искусство. Нам не дано, мы нынче — беспросветная серость.

— Я бы не сказал,— улыбнулся Сергей.— Сделать такую копию...

— Ты погоди, не перебивай,— Виктор Васильевич пригласил к столу.— Слушай и не проводи никаких параллелей... Появляется на свете гений — не важно, с топором, с кистью или пером,— творит чудо, создает целую школу, тянет за собой несколько поколений. Но кому он нужен, гений, кроме своих учеников? Никому. Потому что рядом расцветает буйная серость. И как только она не реанимирует свою мертвечину! Какое только искусственное дыхание ей не делает — и в рот, и в нос, и... И процветает! И гений ей не нужен!.. У меня есть одна знакомая, между прочим, писательница. Женщина уже в возрасте. Вот она так все объясняла: горы состоят из вершин, хребтов и впадин. Гении — это вершины, а мы — все остальное: взгорки, бугры, овраги и пропасти в том числе. Поэтому мы имеем полное право на существование, иначе не будет гор. Не могут же горы состоять из одних пиков? Абсурд!.. Не плохо, да? Главное, базу подвести под себя, и живи на здоровье. Она так и делала: выпускала свою серую продукцию, поддерживала всех серых и пальцем не шевельнула, чтобы хоть на склон забраться. Устраивали бугры в долине... Ладно, это не важно. Что дальше? Гений уходит, и тогда вся серость начинает кричать о нем на каждом углу. И сама вроде приобщается к гениальному. Опять неплохо... Но к концу века накапливается новая энергия гениальности. Происходит взрыв! Он рождает нового гения, и все повторяется сначала. Но в наше время обольщаться не приходится, хотя мы и живем в конце старого века. Так сказать, на пороге взрыва... Взрыва не будет. Улавливаешь мысль?

— Пока нет,— замялся Сергей.— Вернее, понимаю, но...

— Тогда слушай дальше,— прервал хозяин.— Объясню популярнее... Возьмем пчелиную семью. Пока цветут цветы, пока у пчел есть взяток — они не роятся. Природа мудра. Они работают. Они засеянную детку* выбрасывают и ячейки забивают медом. Для них важнее труд, пища. Но вот отцвели в саду цветочки, взятка нет, и тут начинается роение. Бунт начинается в семье, разделение! Матку новую выкормили! Матку, понимаешь? Сами ее выкормили!

— Странно, а у моего отца пасека какая-то, — снова замялся Сергей. — Они в любое время роятся. Он уж замучился, жаловался...

— Это исключение, которое подтверждает правило,— заметил Виктор Васильевич. — Так вот, наш век на исходе, а мы роиться не собираемся. Взрыва не будет! Нам свою матку не выкормить. Молочка у нас нет, фермента! Растеряли мы его, на копии обменяли.

— А может, в природе есть взяток?

— То-то и оно, что есть! — оживился хозяин. — Столько его, что еще несколько веков не вычерпать! Нам его подсовывают, искусственно! А мы детку вместе с матками долой, и давай набивать соты пищей! Сообразил? Только мед-то этот — опасный. Падевый! С ним зимовать нельзя, передохнем! Знаешь, что такое падевый мед?

— Знаю, слыхал...

— Так вот хватит нам падевый мед собирать и детку выкидывать. Так мы никогда не разроимся... Нет, будем делать вид, что роимся. Вылетать, кружиться, изображать, но все это — театр. Лететь не за кем, матки нет!.. Я в Третьяковку хожу, как в храм, в Эрмитаж, в Русский музей. А по современным выставкам бегаю, потому что смотреть не на что, все уже в оригиналах видел. Ну скажи, кто станет строгать копии с современной архитектуры? — Он походил по избе, резко обернулся, словно на окрик, и продолжал неожиданно тихо: — Услышу жалейку — мне плакать хочется, как хорошо. Голос какой! Человеческий... А взять все эти рок-ансамбли? Помешались ведь! Хуже обезьян стали! Даже на своем языке вроде и петь стесняемся! Что в этой музыке? Один и тот же ритм на разные лады. Вроде тоже просто, как жалейка. Но за этим упрощением — пусто! Жалейка — деревяшка, кусок бересты — и поет! А здесь сложнейшая аппаратура, десятки этих, — он изобразил гитариста,— пузочесов, блеск, свет, гром — и ничего за этим! Чувств-то нет, потому что музыка — для тела. И архитектура для тела, и живопись теперь, и кино... Все для удобства тела, а когда телу хорошо, на кой ляд роиться? Понял теперь, согласен?

Сергей и понял, и был согласен. Только то, что рассказывал этот парень, живущий почему-то на пасеке среди гарей и шелкопрядников, звучало неожиданно, потому что звучало *здесь*.

— Но почему вы на пасеке? — уцепился Сергей.— Отгородились?

Виктор Васильевич не обиделся: он засмеялся и сел рядом, обнял Сергея.

— С кем ни заговоришь — первый вопрос... И Вежин спрашивал... Могу даже сказать, что ты сейчас думаешь, но вслух не говоришь. Парень приехал подзаработать, а чтобы это не выглядело простой шабашкой — толкает современные идеи. Верно?.. Можешь не отвечать. Ты так и подумал. Мол, сидит в глухомани, разглагольствует о культуре, но кто его здесь услышит? Медведь?.. Нет, все резонно, ты прав.

Он встал, озабоченно выглянул в окно и, извинившись, куда-то вышел. И скоро под потолком медленно раскалилась нить лампочки — на улице темнело.

— Да будет свет! — сказал Виктор Васильевич, вернувшись.— Кстати, у твоего отца старец живет...

— Знаю, знаю, — упредил Сергей.— Я уже подумал о нем.

— Интересный старец! Над ним смеются, считают, из ума выжил,

* *Детка* — местное название детвы, личинок пчел.

но мне нравится он... Страдание за свой народ. А ну найди нынче такого чудака, который бы в монахи пошел за народ?

— Да, — грустно усмехнулся Сергей.— Сегодня только к народу рвался... А народ в очереди стоял, в магазин. Правда, чужих много...

— Забыл добавить,— спохватился хозяин.— Ты еще подумал, что я — пессимист и ни во что больше не верю... Знаешь, мне люди в Стремянке нравятся. Буянистый народ, бесшабашный, энергию девать некуда. Ну, еще и с жиру бесятся... А надо дело делать. Мы много чего понимаем, но ничего не делаем... Вот ты, к примеру. Что ты сделал в своей жизни? Диссертацию защитил? А кому она нужна, кроме тебя? Науку сдвинул?.. Ничего ты не сдвинул. А сам сдвинешься там, это точно.

— Вы меня хотите в чем-то убедить? — спросил Сергей.

— Да ты сам уже убедился. Теперь не тяни, переезжай в Стремянку. Возьмешь у отца пчел на развод и ставь пасеку. Я тебе место подыщу где-нибудь поближе. Будем жить на природе, возле пчел.

— Я как-то возле людей больше привык,— засмеялся Сергей.— Да и с пчелами никогда не работал.

— Научишься! — бросил Виктор Васильевич.— Дело не хитрое. Будешь заниматься своей наукой и пчелами. Во-первых, у тебя будут деньги, а значит, и руки себе развяжешь.

— А вы тут, чтобы развязать себе руки?

Ревякин смерил Сергея взглядом, усмехнулся:

— Ты не задирайся... Ты сам подумай, как наши молодые ученые сейчас работают? А художники? Одной рукой пишут, другой штаны придерживают, чтобы не спадали. По ночам, на кухнях да в туалетах. Ну а если тебе обе руки освободить?.. Нельзя заниматься настоящей наукой и быть зависимым от оклада, от администрации. От той же кандидатской, которую ты обязан защищать... Иначе никуда тебя не пустят. Ну скажи, на фига тебе было сочинять и защищать копию? Когда ты мог просто заниматься наукой! Вспомни великих ученых, мыслителей. Они при институтах не работали. Иначе бы ничего не сделали. Но у них были деньги, состояние, они не были зависимы. В технике — да, там нужен коллективный труд. Но мыслители и художники всегда работали в одиночку. Да, я не скрываю: хочу заработать, чтобы быть свободным. Но кроме того, я живу здесь в контакте с природой. Ты посмотри на свою Стремянку! Муравейник! А поднимись выше и посмотри. Ведь нормальному человеку в этой суете и подумать некогда, по инерции люди живут. Инфаркты, рак, сифилис! Какое там творчество? Воруют друг у друга идеи, сюжеты... А эти все кланы? Куда ни сунься — свой круг, своя среда обитания. Внедрился чужак — забодали. Что тебе объяснять, сам все видел. Надо уходить от суеты. И путь один — к природе. Граф Толстой знал, куда звать.

Сергей молчал.

— Я тебя не тороплю,— сказал Виктор Васильевич.— Этого сразу не объять ни умом, ни сердцем. С этим нужно сжиться, чтобы поверить.

— Вы никогда не занимались каратэ? — спросил Сергей.— Или йогой, дзен-буддизмом?

Виктор Васильевич рассмеялся.

— Это наши идеологические антиподы!

— Ваши? Значит, вас уже несколько или... много?

— Есть люди, которые разделяют эти идеи,— уклончиво ответил хозяин.— В частности Сергей Петрович Вежин, твой учитель... Ты оставайся у меня. Время — полночь, дорога незнакомая. А я тебе кое-что еще расскажу.

— Ладно, — пообещал Сергей и встал.— Я воздухом подышу.

— Только к проволоке не подходи,— вслед предупредил хозяин.— Я уже ток пропустил...

Сергей прикрыл за собой дверь и долго стоял, осмысливая эту его

последнюю фразу. Потом спустился с крыльца и тыльной стороной ладони тронул проволоку. Удар был коротким и сильным, так что отбило руку. Тогда он осторожно отворил калитку, придержал ее, чтобы не хлопнула, и сел в машину. Ему казалось, что стартер визжит очень громко, а свет фар и в Стремянке видно. На какой-то миг он совершенно серьезно ощутил, что чего-то боится, чего-то ждет — выстрела сзади или окрика. Он выключил фары и, оглянувшись, поехал по колеям незнакомой дороги. После яркого света, он вообще ослеп в темноте, залетел в какую-то яму, наскочил на пень и, преодолев этот детский страх, все-таки зажег подфарники. В их бледноватом свете колючая проволока на ограждении казалась толщиной в канат, и тень от нее расчерчивала землю, как тетрадный лист...

15

Перед защитой кандидатской, когда уже все было готово, Сергей вдруг не на шутку засомневался. Он перечитывал диссертацию, доклад и начинал бубнить, что его обязательно зарубят, смахнут головенку если не на защите, то в ВАКе. Рецензенты уверяли, что все будет в порядке, даже кое-что пойдет на «ура», приятели говорили, мол, дурак, давай быстрее на защиту, пока не перешибли тему, пока не разворовали и не выщипали козырные мысли и факты, но сомнения мучили еще больше. Он уже и вычитать только что отпечатанную диссертацию не мог, взгляд останавливался на ее заглавии, на строчках, которые шли после слова «тема».

А тема была интересная, острая и свежая — «Самореализация личности в произведениях русской классической литературы». Все было построено на грани, на стыке литературоведения и философии, и звучало очень современно, так как все науки в последнее время бросились искать новое именно на этих гранях и стыках. Взгляд натыкался на самую тему и дальше не шел, дальше все казалось пустым и никчемным, потому что, окажись сейчас на его месте Коля Гребнев,— он все бы сделал иначе. Именно перед защитой Сергею чаще всего вспоминался этот бесшабашный парень Коля Гребнев, неожиданно появившийся и так же исчезнувший три года назад.

После университета Сергей два года ждал аспирантуру. Уже была и тема — та самая, «самореализация личности...», был научный руководитель Иван Поликарпович, профессор из бывших шахтеров. То ли от прежней работы в забое, то ли под грузом кафедральных забот ходил он всегда сгорбленным, так что его мощные руки как бы болтались впереди туловища. К Ивану Поликарповичу относились уважительно, хотя многие недолюбливали его, считали грубым и мужиковатым, однако признавали за ним силу — он везде грудью защищал свою кафедру, мог обидеть сам, но не давал в обиду своих ни декану, ни ректору. С чьей-то нелегкой руки и студенты, и преподаватели за глаза называли его Девой — Иван Поликарпович в пятьдесят лет все еще ходил в холостяках.

Очередь в аспирантуру устроена была примерно по тому же принципу, как и магазинная или на паромную переправу. Ее нужно было прежде выстоять и попутно сдать кандидатский минимум. Сергей выстоял ее до конца, однако перед самым его зачислением Дева вдруг привел Колю Гребнева. Он закончил университет года четыре назад и, говорят, сидел где-то в деревне и учил ребятишек в школе.

— Сначала Коля поучится, потом ты, Заварзин,— сказал Дева.— Ты еще год поболтайся и приходи.

Это было неожиданностью для всей кафедры. Очередь считалась священной, и даже сам Дева не мог в нее вмешаться. На кафедре возник тихий ропот, который сам Иван Поликарпович и погасил, согласовав зачисление Коли Гребнева с деканом и ректором. Эту новость Сергей встретил довольно спокойно. Обидно, конечно, столько ждал, но раз

Дева говорит, значит, так нужно. К тому же он знал Колю Гребнева уже месяца два только никак не думал, что он ему когда-нибудь перейдет дорогу. Когда еще Сергей с Ирмой жили в аспирантском общежитии, кооператив лишь строился, там-то он и познакомился с Гребневым. Не познакомиться с ним было невозможно: Коля сам ходил по комнатам и предлагал всем дружбу. Так что буквально через неделю его знало все общежитие, хотя мало кто имел представление, откуда он, зачем здесь и в какой комнате живет.

Узнав от Девы о своей предстоящей судьбе на целый год вперед, Сергей пошел было искать Колю Гребнева, но передумал. Скорее всего, Коля и сам не знал, что переходит кому-то дорогу, и кому именно. Судя по его характеру, он и мысли не допускал, что может кому-то помешать, наоборот, он везде был желанным гостем. Бог весть какую энергию излучал он, однако с его приходом всегда становилось как-то хорошо, даже настроение приподнималось, будто в ожидании, что сейчас обязательно произойдет что-то необычное. Сергей вернулся домой и рассказал Ирме о парадоксах, происходящих в этом тесном мире, и о том, что ему еще год придется сидеть в Обществе охраны памятников, собирать взносы или попросту болтаться без дела. Ирма сначала даже не поверила, потому что еще вчера с зачислением в аспирантуру был полный порядок. А поверив, умчалась куда-то до позднего вечера. Сергей уже смирился с мыслью об отсрочке аспирантуры, попытался задержать ее, однако Ирма и слушать не захотела. Пришла она усталая и, кажется, расстроенная.

— Ирма, ты не бегай и не хлопочи,— сказал он.— К чему теперь шум? Коля Гребнев уже зачислен. А Дева на меня рассердится.

— Ты пойми, этот Дева своих тянет,— объяснила Ирма.— У него тактика такая: подержит на периферии, а потом тянет. По-твоему, это справедливо?

— Коля — хороший парень...

— Таких хороших, знаешь, сколько? Не бойся, никакого шума не будет. И Дева даже не пикнет.

— Но как я с профессором потом разговаривать-то буду? — возразил Сергей.— Если взял Гребнева, значит, необходимость была... Как я в глаза-то ему посмотрю? А Коле? Мы ведь живем под одной крышей!

— Сережа, ты как мальчик, честное слово,— возмутилась она.— Тебя локтями толкают, а ты...

— Что же, и мне толкаться?

— Пока я за тебя толкаюсь, — засмеялась Ирма, но глаза оставались усталыми.— Мне приходится стоять за тебя... Ты посмотри на этого Колю и поучись.

Ночью он проснулся от жажды. В пересохшем рту язык двигался, как сухой газетный ком. Он встал попить и увидел пачку с сахаром, откуда Коля Гребнев брал кусочки. И вдруг ощутил неожиданный приступ злости. В самом деле, явился откуда-то тип, ходит по общежитию, как по своей комнате, и ему все позволено. Рубаху постирать — пожалуйста, есть захотел — сразу несколько тарелок с супом несут, в аспирантуру без очереди можно. Понятно, такой обаятельный деятель кого хочешь очарует, но ведь существует живая очередь, где люди годами ждут этого места!

Он напился и присел на кровать. Ирма проснулась.

— Спи, Сережа,— сказала она.— Все будет нормально.

— Ты у меня всемогущая, что ли? — засмеялся он и обнял жену.— Где ты была? У кого?

— Мы же не одни с тобой на земном шаре. Есть много хороших людей, которые всегда нам помогут. Ложись и спи.

Через два дня Сергею передали, чтобы явился на кафедру к Деве. Иван Поликарпович встретил его, как всегда, разве что хмуроват был

сильнее, чем обычно. Про Колю Гребнева он ничего не говорил, даже не помянул, словно его и не существовало и словно не существовало прежнего их разговора про год отсрочки. Дева сказал, что Сергей зачислен, что ему надо готовить первый план занятий, и лишь перед его уходом неожиданно проворчал:

— А ты силен, силен, Заварзин. В забой бы тебя... Ладно, поглядим, сколько на-гора дашь.

Ощущение вины пришло много позже. А тогда зачисление казалось неожиданным сюрпризом, везением. Коля Гребнев с неделю не попадался ему на глаза, может, вообще исчез. Однако уехал он как полагается, попрощавшись со всем общежитием. Только никто из жильцов не понял, что он прощается. К Заварзиным он зашел, как всегда, веселый, засунул в рот баранку, сел на кровать, покачался на ней, прихлопнул подушку:

— Старик, я у тебя дреману часок, а? В брачном ложе?

И улегся, не дожидаясь разрешения. Сергей сидел за столом над первым своим аспирантским планом и не знал, что ответить ему, что сказать,— той ночной злости уже не было. Но Коля тут же вскочил, поднял в салюте кулак и ушел, прихватив кусок сахару.

О нем в общежитии тут же и забыли. И не таких чудаков видели эти стены. Помнил один только Иван Поликарпович. Каждый раз, когда Сергей приходил отчитываться, Дева слушал его, набычив красную шею, затем вскидывал посеченное угольной крошкой лицо и, если был доволен, бормотал:

— Силен, силен, Заварзин. Ничего не скажешь, силен...

Синие точки на его щеках при этом проступали сильнее, складываясь в какой-то замысловатый татуированный рисунок. Они вдвоем только знали, к чему это относится...

И эти его слова каждый раз приобретали иной смысл. Он вроде и хвалил и корил ими, а еще при этом будто угадывал за Сергеем какую-то силу, против которой даже он, Дева, ничего не мог сделать. Когда он прочитал последнюю редакцию диссертации, то для разговора неожиданно пригласил к себе домой—сослался на болезнь. Сергей бывал у него и раньше. Профессор жил в деревянном особняке, построенном когда-то своими руками на окраине города. Со всех сторон на него уже наступали многоэтажные коробки, и, похоже, дни деревенского пятистенка были сочтены.

Дева был здоров, но чем-то обеспокоен. Он торопливо расстелил скатерть на круглом старинном столе, принес вазочки, чайник, чашки и в последнюю очередь диссертацию.

— Заварзин, а ты откуда родом будешь? — вдруг спросил он.

— Как сказать,— замялся Сергей.— Из нашей области...

— Значит, деревенский... А как деревня называется?

— Стремянка...

— Вон как! — засмеялся Дева.— Не слыхал... Стремянка... Почему так названа, не знаешь?

Сергей с пятого на десятое рассказал ему о вятских переселенцах и о том, что где-то в России есть еще одна Стремянка, откуда и пришло название села.

— Так ты что же, вятский? По твоему говору я бы не сказал... У тебя говор правильный, московский какой-то. Неужели в деревне на диалекте не говорят?

— Говорят, — подтвердил Сергей.— И я говорю, когда дома... Автоматически.

— Это хорошо,— похвалил Дева и вздохнул.— А в городе стесняешься? Только не ври. Переучивался?

Сергей не успел ответить, потому что на улице завыла собака и профессор стремительно выбежал из комнаты. Кроме книг и собирательства старинных вещей крестьянского быта (в кабинете у него стоял

ткацкий стан, на котором, говорят, Дева ткал себе приданое — холщовые полотенца с узорами), профессор любил собак, почему и не хотел переселяться из своего дома в каменный. Он вернулся через несколько минут и с порога спросил:

— Значит, вятский. Значит, это ваши, вятские, корову на баню затаскивали?

Сибирские старожилы посмеивались над вятскими переселенцами, считали их народом бестолковым и непрактичным. Наверное, была в этом доля правды, если судить по истории Стремянки, однако то, о чем говорил Дева, считалось обидной и несправедливой небылицей. Крыш на банях вятские не ставили, а засыпали потолок толстым слоем земли. В этом был свой практический смысл: бани горели намного реже, и если загорались, то мужики вышибали матицу и обвалившаяся земля глушила огонь внутри. На этих земляных потолках, подогреваемых паром, до глубокой осени зеленела густая трава. Так вот старожилы сочинили побасенку, будто вятские настолько бестолковые, что не хватало ума скосить ту траву и бросить корове. Будто они по осени выходили всей избой и затягивали корову на баню, чтобы она попаслась там.

— Ерунда,— смущаясь, сказал Сергей.— Вранье...

— Я тоже так думаю,— подхватил Дева. — Вятский — народ хватский, семеро одного не боятся. А один на один — все котомки отдадим.

— Тоже вранье,— бросил Сергей.

— Скорее всего,— неопределенно сказал профессор и хлопнул по диссертации.— Так вот, вятич ты мой. Опус ты сочинил дерьмовый. Все на месте, все правильно, а все равно дерьмо. Другому бы я посоветовал еще год-другой покряхтеть. Но ты защитишься. И ВАК пройдешь. Да... Семеро одного не боятся. А вот один на один... Нет в этом опусе чего-то такого... Вятского диалекта, что ли. Московский он какой-то... Мой тебе совет: когда будешь сочинять докторскую, попробуй думать по-вятски. Наплюй, что тебе говорят, и думай по-своему.

Он снова забеспокоился и вышел на улицу, хотя собака на сей раз молчала. Около получаса Сергей ходил возле книжных полок, машинально брал какие-то фолианты дореволюционного издания, листал и думал. Оценка — дерьмо — вовсе не смущала. У Девы их всего было две — дерьмо и уголек. Точно так же он оценивал людей, собак, книги и погоду. Настораживало другое: профессор постоянно намекал ему на связи, на чье-то покровительство и заступничество. Видимо, не забыл и не мог простить ему Коли Гребнева, отчисленного из аспирантуры, как позже выяснилось, за пустяк — не сданный экзамен кандидатского минимума по иностранному. Обычно за это не отчисляли, а лишь обязывали досдать в короткий срок. Причина-то была известная — Коля залез без очереди, занял чужое место. Да, Сергею вернули незаконно отнятое, но ведь из-за этого кто-то пострадал! И теперь на кафедре, пока жив Дева, будет считаться, что пострадал-то Коля Гребнев. Будь Сергей прав сто раз, а помнить и жалеть станут его. Коля должен был появиться через год, но не появился и через два, и вот уже через три... Что написал Сергей, теперь известно всем, а что мог написать Коля Гребнев?

Профессор вернулся как ни в чем не бывало, сел к столу. Только синяя угольная рябь на его лице почему-то теперь бросалась в глаза.

— Но во всем этом дерьме, — он снова похлопал переплет диссертации,— я нашел один уголек. Вот он и греет. И меня греет и все остальное. Только он еще не вылежался, буроватый еще, золы от него много. Он у тебя здесь, как корова на бане. Ты понял?

— Понял,— сказал Сергей, хотя ничего не понял.

— Я сначала думал, ты его где-то украл,— продолжал Дева со знакомой откровенностью.— Спер под шумок или... подарили тебе его, что ли, за красивые глаза. Но если ты вятский, да еще из деревни Стре-

мянки, то не похоже... На угольке этом такой диалект, такой блеск чувствуется. Плохо, что ты до настоящего не добрался... Ты хоть понимаешь, о чем я говорю?

— Не понимаю,— признался Сергей.

— Это хорошо,— профессор выглянул в окно, однако тут же задернул штору.— Значит, свой уголек, не чужой... Самореализация личности через страдания. Это ты верно, это наш, русский уголек. Все мордой об лавку... Хоть в русской классике, хоть в русской жизни. Сегодняшнюю имею в виду... А у тебя самого как с самореализацией? Ну, ты защитишься, получишь доцента. А как же твоя концепция? Когда страдать-то?—И тут же замахал руками, снял все свои вопросы. — Все-все, мне некогда! Забирай опус и топай. Привет жене, детям если есть. На защите моей помощи не жди. У тебя над каждым плечом по ангелу висит.

Сергей опустил диссертацию в портфель и пошел к порогу.

— Нет, погоди! — Дева поймал его за рукав.— Погоди, вятский, парень хватский... Хочешь, щенка подарю? Тебе можно собаку доверить? Щенок породистый, чистокровный дог. Правда, слепой еще, из соски кормить надо...

— Хочу! — засмеялся Сергей, но ощутил, как веселость на лице каменеет и превращается в маску. Заломило в скулах...

Татуированное углем лицо Девы перекашивала какая-то невидимая судорога, один угол грубо слепленных губ опустился книзу, мелко дергалось синеватое веко.

— Собака у меня ощенилась,— тихо проговорил он.— Неделю как... А двадцать минут назад пропала. Четыре уголька... Но куда я с ними? Возьми! Вырастишь, и будет тебе верный друг.

Щенок выбрал его сам. Он выполз из гнезда, ткнулся Сергею в ноги, запищал, ощущая рядом сильное и взрослое существо. В придачу Дева дал бутылочку с соской и наставление по воспитанию собаки.

Дома Сергей сделал гнездо в углу коридора, дня два терпеливо возился с ним, однако щенок не грел душу. Дева сказал верно: из этого живого комочка еще следовало в ы р а с т и т ь друга. А душе его нужно было что-то сейчас, немедленно. Ирма глядела на мужа как на капризного ребенка, которому трудно угодить, да и неизвестно, возможно ли вообще. Похоже, она решила, что Сергей переработался и у него началась неврастения. Она сказала, что сейчас необходимо просто хорошенько встряхнуть организм — лучшее средство от сомнений и комплексов.

— Я тебя за месяц на ноги поставлю! — заявила она и уговорила пойти в какую-то полуподпольную секцию борьбы каратэ. Руководил ею маленький, хлипкий с виду паренек Миша. Сергей слышал о нем и однажды даже видел его в Доме ученых. Говорили, будто он учился где-то на востоке у японца, имеет черный пояс — высший класс каратэ, владеет йогой и способен останавливать свое сердце. Ирма объяснила, что в Мишину школу ходят люди достойные, так что компания для Сергея вполне подходящая. И почему-то еще о Мише все говорили шепотом, с оглядкой.

Ирма привела его в какой-то полуподвал, переговорила через дверь, и их впустили. На полу маленькой комнатки, подвернув под себя ноги, сидел сам Миша в белом кимоно. А за стеной слышался топот, крики и движение многих разгоряченных тел. Сергей посмотрел на мальчика-сенсея и заметил в чуть раскосых глазах какую-то глубокую, скрытую силу и спокойствие. Миша с кем-то разговаривал, но юное лицо оставалось непроницаемым, даже когда он улыбался. В Стремянке про такого сказали бы, что он мужик — себе на уме.

Миша сразу же предупредил, что школа существует на полулегальном положении, что ее все-таки скоро узаконят и что он берет к

себе людей только интеллектуального, гуманитарного труда, поскольку каратэ и йогу рассматривает как философию и не преследует никаких спортивных целей. Он только помогает своим ученикам достичь духовного совершенства через совершенство физическое. В каратэ, сказал он, нужно думать. В каратэ, сказал он, нужно всецело повиноваться. В каратэ, сказал он, не нужно сомневаться. Было немного странно и даже смешно смотреть на этого юношу в белом кимоно, излагающего такие заповеди голосом мужа или, скорее, старца. Сергей принял все эти установки к сведению, обрядился в такое же белое кимоно и босым вошел в зал.

Первое, что его поразило и неприятно отдалось в сознании, было повиновение. Когда мальчик-сенсей появился в зале, ученики пали перед ним на колени и, вытянув руки, выстелились на полу. А среди учеников Сергей заметил седые головы, интеллигентные, но искаженные гримасой подобострастия лица. После этого началась разминка по особой системе упражнений. Люди бегали по кругу, вскидывая ноги и выбрасывая руки; сенсей же сидел с вывернутыми внутрь ногами посередине и изредка что-то выкрикивал на японском языке. Сергей застеснялся, не смея встать в этот круг. Вспомнилось, как его дразнили в школе, называли селедкой, когда он виснем висел на перекладине. И чем дольше он стоял, прилипнув к стене, тем сильнее понимал, что еще несколько минут, и он вообще уйдет отсюда. Но разминка закончилась, и Миша шепнул ему голосом неожиданно злым и суровым:

— В круг! Быстро в круг! В этом зале не стоят!

— Мне неудобно,— замялся Сергей.— Я ничего не умею. Смеяться будут.

— Вас здесь никто не видит,— был ответ. — В круг!

Пересилив себя, он встал в круг и начал, подражая окружающим, неуклюже махать руками и ногами. Никто не смеялся, и никто не обращал внимания, словно его тут и не было. Сергей пригляделся к одному, к другому — в кимоно все казались на одно лицо — неожиданно узнал одного из приятелей Ирмы, который не раз бывал у них дома. Он не мог вспомнить ни его имени, ни фамилии, и пока вспоминал, старался встать, передвинуться к нему поближе, в надежде, что тот узнает его. Однако знакомый ничего не замечал и увлеченно работал руками. Сергей дернул его за рукав кимоно и едва успел отскочить: ступня ноги пронеслась перед самым лицом. Он вспомнил, что приятель Ирмы работает ассистентом режиссера в ТЮЗе, и, улучив момент, сказал ему:

— Привет, режиссер!

Он не ответил, хотя наверняка видел и слышал. Он самозабвенно молотил неестественно выгнутыми ногами воздух и делал страшными выпуклые, красноватые глаза. Сергей вышел из круга и понял, что здесь вообще никто никого не замечает. За исключением Миши, который бросил в сторону Сергея короткий, словно удар в каратэ, и какой-то глубоко-черный взгляд.

Это было второе, что поразило его, хотя ощущения были знакомыми: одинаково одетые люди не замечали друг друга. По отношению к новичку это было гуманно, но в высшей степени неестественно по-человечески. А третьим толчком негодующего удивления стало жестокое наказание, когда ученик лет пятидесяти позвал Мишу по имени и что-то спросил. Сенсей вместо ответа крикнул короткую фразу на японском, и ученик, встав на кулаки, начал отжиматься. Сергей стоял и считал — двадцать, тридцать, сорок... С ученика катил градом пот, кимоно прилипло к лопаткам, искаженное мукой лицо напоминало о страданиях распятого Христа. Оказывается, в зале позволялось говорить только на японском, а кто не знал его (а не знал его никто, в том числе, как выяснилось, и сам Миша), должен был молчать. Зал для каратиста был священным...

Сергей досчитал до пятидесяти, и когда наказанный встал на ноги и снова вписался в круг, прошел сквозь толпу потных людей в белом и скрылся в раздевалке. Миша подошел к нему, когда Сергей уже собирался выйти из подвала. На миг показалось, что он сейчас ударит, и Сергей инстинктивно приподнял портфель, защищая грудь. Однако сенсей пробуравил его черным взглядом и разжал руки, сцепленные и натянутые как пружина возле живота.

— Вы ничего не поняли,— заговорил он, шагая взад-вперед девичьими шажками.— В каратэ без этого невозможно, не будет воли и самоорганизации. Нужно перестроить мировосприятие, нужно уйти от привычных условностей. Из каратэ нельзя принимать лишь то, что нравится. Это цельная философия. Это особая философия познания духа через тело. Ее нужно принимать целиком, либо...

— Либо не принимать вообще,— продолжил Сергей.— Наверное, я мелкий человек, пустой и мелкий... Если не могу принять такой философии.

— Это вы разбирайтесь сами,—отрезал Миша. — В любом случае вы обязаны хранить тайну места тренировки.

Сергей пообещал, вышел на улицу. В машине скулил Джим. Тогда он был еще щенком, эдаким гадким утенком, но уже в то время в нем прочно сидела какая-то тоска. Еще до курса науки, где вбивалось понятие «свой — чужой» и воспитывалась преданность хозяину, оставалось месяцев пять. А он, будто предчувствуя это, скулил и выл совсем не по-щенячьи. Сергей приласкал его, завернул в старый свитер, хотя было лето (может быть, потому, что хотелось самому завернуться вот так же и забиться в теплый уголок), и поехал домой.

Ирма сразу все поняла и расстроилась. Ей нужно было срочно уезжать на гастроли в Горький, уже и чемодан стоял собранным, и билет в кармане лежал, но тут ее поездка срывалась.

— Я не могу тебя оставить в таком состоянии! — заявила она.— Тем более накануне защиты. Ты скажи, что тебе надо. Я все сделаю.

— Ты уже сделала все, что могла,— сказал он.— Теперь я сам. Хватит. А то у меня такое чувство, будто за ручку ведут, будто и в самом деле над каждым плечом по ангелу.

— Твой ангел — это я, — засмеялась Ирма, превращая разговор в игру, однако он не поддержал.

— Скажи мне, ангел, как тебе удалось тогда вернуть место в аспирантуре? Ведь за Колю Гребнева был сам Дева.

— Пусть тебя это не волнует,— веселилась она.— Я добилась справедливости, только и всего.

— Но как? Кто смог надавить на Деву?

— Твой Дева, допустим, не пуп земли. Нечего ему своих тянуть...

— Пока не скажешь — не отстану,— упрямо заявил он, чувствуя, что в любую минуту может взорваться.— И защищаться не пойду. Понимаешь, мне стыдно Деве в глаза смотреть. Не могу... Он все время подозревает в чем-то меня, недоговаривает. А иногда, кажется, боится...

— И хорошо, что боится,— угадывая настроение мужа, серьезно сказала Ирма.— Его надо держать в напряжении. Все очень просто, Сережа. Я пошла на переговорный пункт и дозвонилась до отца, а он помог... Что же ты думаешь, если мы тебя в семью взяли, так бросим на произвол судьбы?

В то время Сергею еще было приятно, когда она говорила — мы тебя в семью взяли. Она частенько повторяла эту фразу, и он не слышал в ней ничего для себя зазорного или унизительного. Наоборот, напоминание о семье означало тогда его причастность к знаниям, к науке и настоящей культуре: казалось, именно это олицетворяет профессорская семья Ирмы, именно этот дух жил в доме ее родителей.

Он дал слово жене, что перестанет «комплексовать», проводил ее в аэропорт и стал готовиться к защите. Сомнения, конечно, не рас-

сеялись, однако после заседания кафедры появилась уверенность. Диссертацию оценили очень высоко, говорили о свежести темы, о глубоко научном подходе и значительности материала. А потом и вовсе по университету пошли слухи, что ожидается очень интересная защита, что диссертация тянет на докторскую; Сергея поздравляли знакомые с других факультетов, дескать, слыхали, ты какую-то жилу откопал на стыке двух наук, теперь давай жми, пока на волне.

Где-то в глубине души, по коренной крестьянской натуре, он никак не мог принять на веру все услышанное. Казалось, говорили не о нем, а о каком-то постороннем человеке, которому много чего дается, у которого светлый ум и крепкая рука. Сам же он, испугавшись этих разговоров, зажимал рот и втягивал голову в плечи, словно ожидая удара. При этом хотелось крикнуть — дураки! Вы что хвалите-то? Я там такого нагородил, такого!.. А если что и вышло, так случайно, я этого и не хотел. Однако, приходя домой, он заново перечитывал диссертацию и действительно находил много интересных мыслей, даже еще не оцененных как следует, не замеченных и не понятых рецензентами. И про себя начинал спорить с Девой, который вообще увидел только одну толковую мысль о самореализации личности через страдания.

Защищался он в зале, битком набитом людьми с разных факультетов, среди которых были даже преподаватели и аспиранты педагогического института. Все-таки он внутренне готовился к борьбе, хотя бы с оппонентами — как ни говори, защита,— но все прошло замечательно, если не считать одного выступления. Доцент с кафедры философии неожиданно заявил, что диссертация еще сырая, что в ней много погрешностей с точки зрения идеологии, много спорных моментов в основной части и что у автора еще полностью не сложилась концепция. Сергей приготовился ответить, однако следующий выступающий полностью опроверг доводы доцента. Тут же было предложено кое-что подправить и издать диссертацию как монографию.

Дева, кроме официального представления работы своего ученика, ничего больше не сказал. Он пересел в глубь зала, так что Сергей не мог разглядеть его лица, хотя часто смотрел в его сторону. После защиты профессор поймал Сергея в коридоре, поздравил, спросил о щенке, посоветовал, чем лучше кормить, и отказался пойти на банкет, сославшись на то, что его псарня целый день без хозяина.

— Смотри, кормить не забывай,— еще раз напомнил он.— Живая душа все-таки...

После банкета, уже ночью, Сергей вернулся домой и нашел в двери телеграмму от тестя, который поздравлял с защитой. Сначала он не обратил на нее внимания, пока телеграмма второй раз не попала на глаза. Текст был прост, смысл ясен, однако насторожило само поздравление. Дело в том, что Сергей никому не сообщал о дне защиты и тесть не мог знать срока. Но даже если бы каким-то образом узнал, то почему так скоро поздравил? Телеграмма принята в шесть вечера, когда лишь кончилась процедура защиты, значит отправлена была много раньше. Сергей попытался разобраться в цифрах перед текстом, но, так и не разобравшись, позвонил на телеграф. Оказалось, что поздравление послано не позже двух часов дня — в тот момент, когда заседание ученого совета только началось...

В ушах еще стоял гул голосов на банкете, обрывки тостов, поздравлений. Банкеты уже были запрещены, поэтому собрались полулегально, в основном друзья, близкие знакомые, товарищи с факультета, рецензенты, оппоненты. Тут же почему-то оказались люди из пединститута и тот доцент-философ, хотя Сергей не помнил, приглашал его или нет. Теперь это было не важно, гуляйте себе на здоровье! Все равно сборище после первой рюмки разбилось по кучкам, по возрастам и интересам. Однако доцент и здесь не выдержал: когда расходились и разъезжались на такси по домам, он поймал Сергея, дурачась, отта-

щил к стене, подальше от людей и сказал на сей раз прямо в лицо:

— Самореализация у тебя на уровне! Только диссер — недоносок. Выкидыш, да! Но скажи ты мне — жизнеспособный!

И эти его слова, в суете забытые, сейчас стучали в мозгу вместе с разгоряченной кровью. Можно было успокоить себя: мало ли завистников? Как говорил отец: встал на ноги — есть друзья и есть враги. Но перед глазами маячила телеграмма от тестя, от ангела-хранителя, который ничуть не сомневался в успешной защите.

Сергей взял Джима вместе с коробкой и подстилкой, снес в машину, затем запер дверь и сел за руль. Он ни разу не ездил выпившим, но сейчас решил, что случай особый, к тому же ночь на дворе и улицы пусты. Он и побаивался ехать, и одновременно испытывал желание, чтобы его остановило ГАИ, чтоб завелась какая-нибудь канитель, неприятность — отобрали права, оштрафовали — хоть так быть наказанным! Как назло (или на счастье) его не остановили, зато неподалеку от цели он остановился сам, вдруг сообразив, что уже поздно и Дева наверняка спит, а они не в таких отношениях, чтобы врываться в дом по ночам. «Если света в окнах нет — вернусь,— решил он и тут же загадал: — А если есть — то все обойдется, все будет хорошо».

В двух крайних окнах дома Девы горел свет, а одно окно было открыто и затянуто марлей, чтобы не налетали ночные бабочки. Сергей оставил машину возле стройки и осторожно подошел к открытому окну. Палисадник перед домом уже сломали, на его месте лежали железобетонные перекрытия. Сквозь марлю хорошо было видно, что делается в доме: Дева связывал книги. Работал неторопливо, иногда открывал какой-нибудь том, листал, вчитывался, и сероватое лицо его светлело. Минут двадцать Сергей торчал перед окном и все не решался постучать. Казалось, шевельнись, и он вздрогнет, испугается, застигнутый врасплох. Следовало как-то осторожно привлечь внимание, чтобы не нарушить его спокойного состояния. Сергей вернулся к машине, запустил мотор и подъехал к дому с включенными подфарниками. И в тот же миг под навесом крыльца вспыхнул свет. Сергей хотел постучаться, но услышал неторопливую речь Девы:

— Заходи, заходи, именинник...

Он вошел в прихожую, заставленную связками книг, и сел на табурет. Дева, стоя спиной к нему, резал шпагат.

— Это ты под окном был? — вдруг спросил он, не оборачиваясь.

— Я, — не сразу признался Сергей.

— Ну как, на гулянке обошлось без ЧП? Все тихо? Завтра на кафедру телегу не прикатят?

Сергей молчал так, что Дева обернулся.

— Если не считать этого,— Сергей подал ему телеграмму.

Дева долго читал ее, тер ладонью рябые щеки, наконец отложил и снова взялся за шпагат.

— Я не просил его, — вымолвил Сергей.— У нас даже разговора не было!.. Я сам хотел, понимаете? Сам, без него!

— Плохо хотел! — с горячностью сказал Дева и отбросил нож.— Самому надо было сначала идти! А тебя вели, как бычка на веревочке!.. Сам...

— Я тестя не просил! — отрезал Сергей, возбуждаясь.— И когда в аспирантуру зачисляли, и сейчас.

— Ах ты, святая простота,— Дева всплеснул руками.— Ах ты, наивный паренечек... Где только глаза твои были? Голова где была?.. Или когда надо, ты слепнешь? Глохнешь? И провалы в памяти, когда надо?

— Но если я бездарь, если я в науке нуль, за каким чертом он меня тащит? Он же профессор! Известный человек!.. Потому, что я зять его?

Дева смерил Сергея взглядом:

— На комплимент напросился... Нет, ты не бездарь. Иначе бы и в зятья не попал. Дураков и впрямь тяжело тащить, однако и дураков тащат. А тебя-то что... Подсаживай только, с полу на печь, с печи на полати... Потом и ты станешь кого-нибудь подсаживать. Куда денешься? Рыльце-то в пушку... Божья помощь называется! Так с божьей помощью и сыты, и пьяны, и нос в табаке. А наука все стерпит. Тем более литературоведенье...

Сергей молчал, закусил губу. Перед глазами стояла тугая связка томов Достоевского, накрепко опутанная суровым шпагатом. Книги были потертые, изработавшиеся, так что слетела краска с корешков и тисненое имя автора казалось написано углем. Дева свои лекции у первокурсников начинал с рассказа, как он парнишкой рвал уголь в шахтах Кузнецкого бассейна, как ходил на четвереньках по лавам с крепежным лесом на горбу и как потом, выбив из носа куски спекшейся угольной пыли, читал при свете горняцкого фонаря пронесенные в забой книги. Глядя на иссеченное лицо Девы, первокурсники ждали какой-нибудь героической истории, а он им два часа кряду объяснял, что такое штреки, квершлаги и спуски, как закладывать взрывчатку в шахтах, опасных по газу и пыли, и как оттирать кирпичом распаренные в ду́ше мозоли на коленях и локтях, чтобы потом не трескались и не болели. Он наверняка знал, что над этими его лекциями посмеиваются, считают их чудачеством стареющего человека военной поры, однако, несмотря ни на что, гордился шахтерством и утверждал, что все научные работы он задумывал под землей на глубине пятьсот метров, а в науку ворвался с отбойным молотком.

Уж не эти ли книги носил Дева в забой?..

Сергей пошевелился и глубоко, с неожиданным всхлипом, вздохнул, будто наревевшийся ребенок.

— Что теперь делать? — тихо спросил он.

Дева безразлично пожал плечами, хотя взгляд был напряжен и задумчив.

— Тебя вон поздравили, на докторскую благословили... А ты хотел совета спросить?

— Хотел... Хотел спросить вообще, как дальше...

— Ну, выбор небольшой у тебя,— усмехнулся Дева.— Либо жди, когда еще подсадят, либо... тащи корову на баню, по-вятски. Как ты там вывел формулу-то? Самореализация через страдания?

— Может, не посылать документы в ВАК?

— Ишь ты! Это все картина! — опять усмехнулся Дева.— Глядите, я какой!.. Уголек надо добывать... Ложись-ка спать, утро вечера...

— Я домой поеду! — заторопился Сергей.

— Отберут права — что станешь делать?.. Как соску ведь отберут... — он захлопнул створки окна, звякнул шпингалетом.— И вообще, гляжу на тебя — ты как этот... Ездишь, бегаешь, носишься. Фигаро, а не аспирант... У тебя что, аккумулятор потек? Знаешь, когда в забое аккумулятор потечет — на месте не устоишь. Он ведь на спине висит, а щелочь ниже спины течет...

Дева раскинул диван и начал стелить постель.

— А меня выселяют отсюда, — вдруг пожаловался он.— Сказали, завтра бульдозер придет... На шестой этаж поеду... Глядел уж с балкона — люди ма-аленькие ходят.

...Он не мог уснуть до восхода, как ни старался, как ни пялился в растрескавшийся потолок и ни жмурился от разгорающегося света за окнами. Укладываясь на старинный, с зеркалами по спинке, диван, Сергей невольно вспомнил девичье загадыванье: на новом месте — приснись жених невесте. Мать любила повторять его, когда ложилась спать в гостях или у чужих людей, и всегда при этом подсмеивалась над отцом.

— А как мне загадывать? — спросил как-то отец.

— Тебе, значит — невеста жениху!

— Так не складно же.

— Не складно, зато ладно, — засмеялась мать.— Ты своих невест уже отсмотрел.

Вспомнив это, Сергей тут же вспомнил, как они первый раз с Ирмой ездили в Новосибирск, в ее родительский дом. Показалось даже, что и диван, на котором он спал, чем-то похож на этот: вроде и зеркала были, и какой-то витиеватый узор между ними. И точно так же, перед сном, он повторил несколько раз про себя нескладное загадывание...

Отцу нравилось иногда прихвастнуть перед матерью, что он хоть и был гармонистом, но гулял всего лишь с одной девкой — с матерью, и других никогда не знал. И что из-за нее дрался с Иваном Малышевым и пришел в Стремянку с разорванной гармонью. Мать отмахивалась — дескать, ври-ври, знаю, сколько девок у тебя было, однако ей становилось так приятно, что блестели глаза и рдели щеки. Сергей про себя тоже гордился, что дружил с одной только Ирмой, и тоже иногда подчеркивал это перед ней. И дело было вовсе не в какой-то особой верности или традиции. Два первых года в университете он вообще обходил девушек стороной, не появлялся на черной лестнице, где стояли парочки, потому что вдруг обнаружился вятский диалект. Теперь это смешно вспоминать, но в ту пору язык делал его жизнь молчаливой и суровой. С Ирмой он познакомился в ночной электричке, когда был уже на третьем курсе и когда помаленьку осваивал «московскую» речь. Однако все равно сидел напротив нее полтора часа, молча переглядывался с ней и едва решился проводить.

Жизнь в городе у него началась с тихого мотовства, когда он за неделю вступительных экзаменов проел на мороженом четырнадцать рублей — сумму по тем временам не малую. Спас его тогда Мишка Солякин, дав взаймы три рубля на билет,— а то бы и до дома не доехал. Потом он без оглядки проматывал все свободное время, когда не вылезал из научной библиотеки. И в любви было то же самое безжалостное и стремительное мотовство, словно ее накопилось столько, что можно растрачивать, как перед концом света. Потом она говорила, что с детства ее учили, как вести себя с парнем, по каким словам и признакам определять, серьезные ли у него намеренья, и еще многому из того, что Ирме не пригодилось. Говорила и смеялась над собой, что он, вятский лапоть, взял ее без всякой науки, по-крестьянски, и она счастлива от этого (в то время она бредила образами из стихов Есенина). На четвертом курсе Сергей сделал ей предложение, после чего они и отправились в Новосибирск, показаться родителям.

Приехали наугад, без предупреждения, и оказались в пустой квартире. Будущие тесть с тещей улетели в Ленинград к родственникам. Сергей, переступив порог их квартиры, попросту ошалел: на стенах — от прихожей и до самой дальней комнаты — висели картины в золоченых рамах, сквозь темное стекло старинных книжных шкафов чуть просвечивались переплеты изданий прошлого века, новые книги заполняли огромные стеллажи от пола до потолка в круглой комнате-кабинете. Мебель, которую Сергей видел только в краеведческом музее, стояла здесь привычно и неотъемлемо, как ухваты за печью в стремянской избе. Но больше всего поразила коллекция картин и бронзового литья. Статуэтки, подсвечники, канделябры, вазы, сплетенные из бронзовых листьев, виноградных лоз и гроздьев, птицы и львы-пепельницы, парящие орлы и ангелы — все это стояло на шкафах, полках и даже на крышке рояля.

Ирме вначале было интересно показывать достопримечательности своего дома. Она водила Сергея по комнатам с высокими потолками — квартира была в солидном здании, построенном в сталинское время,— показывала полотна Айвазовского, Поленова, Корина, каких-то неиз-

вестных крепостных художников, писавших портреты своих барынь, акварели и графические миниатюры. Илья Борисович был известен как собиратель живописи, Сергей не раз слышал об этом от Ирмы, но и представить не мог, насколько его коллекция значительна.

— Вот здесь я родилась и выросла,— говорила Ирма задумчиво.— И в детстве почему-то боялась этих картин и бронзы, особенно в сумерках...

Потом ей надоело водить экскурсию, и она пыталась вытянуть Сергея на лодочную станцию, где у нее был знакомый лодочник, чтобы покататься по реке, но Сергей будто прилип к дому. Глаза уже не разбегались, хотелось теперь все пощупать руками. Тогда, в первый приезд, ему казалось, что в этом профессорском доме все пропитано знанием, что в воздухе комнат витает дух высокой и настоящей культуры; ее свет будто исходил от картин, от бронзы, отлитой руками безвестных русских мастеров. Даже темная от времени мебель, казалось, светится, потому что не выстрогана, а как бы слеплена из дерева или тоже отлита.

Рассматривая бронзу, что была в шкафах, Сергей нашел там предмет совершенно неожиданный — сапожную лапу, исклеванную гвоздями и наверняка сработанную в какой-нибудь деревенской кузне.

— Лапа зачем-то здесь,— сказал он, не зная, положить ли ее на место или выставить. Однако Ирма сказала положить, поскольку лапа принадлежала ее деду, когда-то известному в городе сапожнику, который шил модельную женскую обувь.

На следующий день Ирма вдруг забеспокоилась:

— Езжай, а я подожду родителей и сама с ними поговорю. Иначе все испортим.

Он уехал, но и без него оказалось все испорченным: родители Ирмы были против брака. И слышать не хотели о каком-то стремянском парне, грозились немедленно забрать дочь в Новосибирск, чтобы не наделала глупостей. Это известие сначала оглушило Сергея, но потом разозлило.

— Да пошли твои!.. — ярился он.— Сами проживем, без них, не маленькие. Если что — уедем в Стремянку.

На его решительные возгласы Ирма отмалчивалась, но однажды заявила, что не может отрываться от своей семьи, у них так не принято и правило это священно. Начались долгие телефонные переговоры, поездки Ирмы в Новосибирск на каждый выходной — лед тронулся лишь через полгода. Ирма повезла Сергея на смотрины, убедив, что все это теперь — чистая формальность, причуда щепетильных стариков, которых хлебом не корми — дай только соблюсти обряд.

Второй раз Сергей появился в профессорском доме, когда тот был наполнен людьми — родственниками и друзьями семьи, чьих имен и запомнить-то сразу было нельзя. Они казались Сергею все на одно лицо, потому что говорили одинаково учтиво, смотрели без любопытства, как на старого знакомого, и почти ничего не спрашивали. Выделялись разве что дед Ирмы — сутулый, обрюзгший старичок в безрукавке, сам профессор, глава семейства, да молодой пьяный парень Дима. Наверное, из стеснения перед женихом, все внимание родни было приковано к этому Диме.

— Дима,— говорили ему.— Тебе совсем нельзя пить. Ты совсем не умеешь пить.

Дима только морщился, блеснув взглядом, уходил на лестницу курить.

Скорее всего, от обилия народа в квартире картины, книги и бронза отошли как бы на задний план, по крайней мере, не бросались так в глаза, как в первый приезд. Улучив минуту, Сергей глядел на полотна, вновь ощущая излучаемый ими свет, но каждый раз кто-нибудь мешал, появляясь рядом. Чаще всего дед, лапа которого хранилась в

шкафу с литьем, или сумрачный странный Дима. Потом они долго разговаривали с будущим тестем в его кабинете, и профессор показался Сергею мягким и добрым человеком: даже не верилось, что он когда-то был против его брака с Ирмой. Заметив интерес к живописи, Илья Борисович сообщил, что устраивает выставку своего собрания в городской картинной галерее, и даже показал афишу. И пожаловался, как ему несколько лет пришлось пробивать это дело, потому что в народе любовь к искусству постепенно утрачивается и остается очень мало настоящих ценителей живописи и особенно литья. Так что приходится собирать бронзу и хранить в частных коллекциях, чтобы не погиб окончательно этот замечательный вид народного творчества.

Ночью Ирма пробралась к Сергею в комнату и сказала, что он всем понравился, особенно маме, которая заметила в нем талант и большой интеллект. Они, обнявшись, тихонько смеялись над ее мамой, которую Сергей за весь вечер видел раза два и лица не запомнил, и над ее словами о таланте с интеллектом. Тогда еще вся эта чопорность и обрядность казалась лишней, смешной и ненастоящей. Только почему-то дедушке не поглянулся будущий зять, но его за старостью уже не принимали всерьез.

Тогда же, ночью, они договорились съездить в Стремянку, показаться Сергеевой родне, однако началась кутерьма с подготовкой к свадьбе, с поиском частной квартиры, поскольку жить было негде. Так что Василий Тимофеевич увидел невесту лишь на свадьбе. К тому же, Сергей стеснялся везти Ирму в деревню, в старую избу с русской печью и полатями, да она и не настаивала.

Эти первые две поездки в Новосибирск запомнились так ярко не только из-за своей важности — все-таки решалась судьба! — а больше потому, что дни в профессорском доме были наполнены тогда ощущением новизны. Казалось, что он входил в какой-то особый мир, где люди живут не виданной им еще духовной жизнью, где и в помине нет почерневших изб, дымных бань, печальных слякотных полей и грязных проселков.

...Он уснул лишь на восходе, когда стены в доме Девы забагровели, будто от далекого пожара. Засыпая, он глядел на ткацкий стан, еще не разобранный для перевозки на новую квартиру. Впрочем, Дева, скорее всего, и не собирался затаскивать его на шестой этаж: навряд ли найдется столько места в панельной железобетонной клетке. По крайней мере, основа уже была снята с нитченок и лежала на полу серым комом, а чтобы сделать новую, требовался простор.

С кросен свисал кусок узорного полотна, который из серого постепенно превращался в красный от лучей невидимого пока восходящего солнца...

16

Коммуна продержалась в Стремянке дольше всех в области, если не во всей Сибири. Кругом уже организовали колхозы и начали строить еще одну новую жизнь, а вятские переселенцы все цеплялись за старую, к которой приросли, держали общий стол и посылали Алешку Забелина хлопотать за коммуну. Несколько раз в Стремянку приезжали уполномоченные агитаторы, и тогда коммунарская столовая гудела, как растревоженный улей. Приезжие объясняли, что такое колхоз, рассказывали о преимуществах новой жизни, и мужики будто соглашались, но едва агитаторы отъезжали за поскотину, как все переиначивалось.

— По едокам — справедливей! — кричали коммунары.— Когда земля не родит, надо по едокам делить! Не хотим колхоза! Не пойдем!

В то время как раз Алешка затеял корчевать тайгу. Мужики, как в столыпинское время, ходили чумазые от гари на пожогах, какие-то нервные и лихие. Первый раз Алешка вернулся из района ни с чем. Ему дали срок для организации колхоза, вернее, для перевода комму-

ны в новое русло, и обещали спросить строго. Он не успокоился, да и мужики подогрели:

— Езжай в область! Найди правду! Ты ведь когда-то до самого министра доходил!

Василий Заварзин был тогда еще мальчишкой, но потом очень хорошо помнил то время. Стремянковцы простили Алешке даже закрытую и чуть ли не сожженную церковь: они словно боялись оторваться от него либо потерять. Неизвестно кто придет, а этот свой, вятский, хоть тоже не подарок. Алешка по настоянию коммунаров отправился в область и оттуда уже не вернулся. В Стремянке с месяц жили в полном неведении, даже уполномоченные не приезжали. Судили всяко. Одни говорили, что Алешка отправился дальше, в Москву, не найдя правды в области, другие подозревали, что он попросту сбежал. А пока коммунарили, жгли и корчевали распроклятущую тайгу.

Ясность внес неожиданно появившийся в Стремянке Егорка Сенников, единственный оставшийся из семейства мельника-хуторянина. Было ему тогда лет восемнадцать. После смерти родителей Егорку приютили Заварзины, потом, когда образовалась коммуна, он жил при ней и считался коммунарским сыном. Однако в двадцать восьмом году Егорка подался в город, на завод, и теперь вот явился, как некогда Алешка Забелин,— в кожаной куртке и с наганом на боку. Приехал он вместе с уполномоченным, который представил его как двадцатипятитысячника, направленного в Стремянку для организации колхоза. Коммунары сгребли в кулаки просмоленные на корчевке бороды: значит, не добился ничего Алешка, не отстоял коммуну.

— Алешке крышка! — сказал Егорка.— За подрыв колхозного движения он арестован, и в ближайшие десять лет вы его не увидите. А мы с вами, дорогие земляки, будем строить новое, колхозное общество.

Первый раз за последнее время в коммунарской столовой повисла тишина. Коммунары переписались в колхоз и тут же избрали Егорку председателем. Только Алешкин брат не пожелал выходить из коммуны, а поскольку она уже закрылась, то он стал жить единоличным хозяйством. Остальные стремянковцы жалели Алешку, бабы на собрании всплакнули, а дома уж поревели всласть. Больше, конечно, не из-за Алешки — из-за неведомой новой жизни. Однако колхозная жизнь, как потом оказалось, мало чем отличалась от коммунарской. Разве что Егорка закрыл столовую, раздав чашки-ложки по хозяевам, а в помещении сделал скотный двор. Больно уж подходящее помещение было, просторное и длинное. Его разгородили на клетушки и поставили коров. Да еще почему-то вдруг угас у стремянских пыл корчевать тайгу, мужики ходили как сонные, запинались о валежник и больше дымили самокрутками, словно дыму не хватало на пожогах сырого леса. «Что ни пень — то трудодень», — шутили бывшие коммунары, выглядывая, как бы не появился на корчевке новый председатель. А земля и при колхозе не стала родить. Но Егорка — то ли в крови у него была предприимчивость, доставшаяся по наследству, то ли, хоть и молодой, знал толк в хозяйстве — обхитрил ее. Корчевку новых земель прикрыл, добился разрешения сеять чуть ли не на всей пашне лен и затеял строительство льнозавода.

— Я вас, вятские лапти, в сапоги обую! — выступал он на собраниях.— Я вам кино покажу! На тракторах пахать будете!

И правда, хоть не обул в сапоги — еще перед войной на пыльных дорогах можно было заметить клетчатые лапотные следы,— но на какое-то время приподнял — извлек Стремянку из нужды. Льнозавод построили, только очесы из выращенного льна были никудышными, разве что на мешки годились да на веревки. Тогда Егорка на зиму стал организовывать артель для витья веревок. Дело пошло. Стремянские веревки начали цениться во всем районе, возами возили, в очереди стояли. Приезжали заказчики издалека, просили смолевые канаты толщиной в руку, другим требовался шнур, бечевка, шпагат,— Егорка

только успевал договора заключать. Начиная с осени, как только подходил лен, вся Стремянка, включая стариков и ребятишек, пряла где только можно: в избе, на повети, в коровнике между дойками, на льнозаводе и даже в церкви. Мужики сначала посмеивались, занимаясь бабским делом, однако втянулись, пообвыклись, намозолили себе пальцы и пряли жильник так, что трескоток по селу стоял. А хватились смолить канаты — смолы нет. Егорка срочно задумал свой смолозавод, а попутно и дегтярню.

В тот веревочный период Стремянка напоминала клубок, эдакую бухту каната, круто скрученного и просмоленного,— пахло пенькой и смолой. Вездесущий этот запах на несколько лет пропитал все—от рук до детских зыбок. Он был привычен, как хлебный дух, и так же приятен. Достатка и вольготной жизни не скрутили себе стремянские колхозники, все же ходили сытыми, при надежном деле, хотя земля попрежнему родила скудно. Такая жизнь, как суровая нить в пальцах умелой пряхи, могла бы тянуться бесконечно, оставаясь всегда одинаково прочной, без узлов и задоринок, но все-таки посконной или льняной. Егорка приплел к ней смолокурню, подсочку, бондарку, где работали четверо мужиков, и совсем уж худородный промысел — заготавливать черенки к вилам и лопатам, но нить все равно не стала ни шелковой, ни, тем более, золотой. Мужики, кряхтя от натуги, карабкались по канату вверх, к благополучию — по крайней мере, создавалось такое впечатление, казалось, еще чуть, и зашелковеет жизнь,— однако канат этот тянулся к земле, и в нее же, бедную, упирался. И хоть ты скрутись в самую крепкую веревку, хоть узлом завяжись, а коль выхолостилась она, коль не дано ей рожать — она не родит.

Конец этой жизни пришел скоро. Перед войной где-то в области построили и запустили канатный завод, и Стремянка обеднела в один год. Теперь льнозавод лишь трепал лен и продавал полуфабрикат, который стоил копейки, и жизнь веревочная показалась слаще, чем та, давняя хлебная. В это же время, несмотря на заверения Егорки, в Стремянке появился Алешка Забелин. Пришел он не только белый от седины, но еще и грамотный пуще прежнего. Где успел всего набраться? Где всего наслушался? Он говорил про фашизм, про то, что на Русь опять надвигается война и впереди великие испытания и что сейчас надо не лен сеять, не кострой дышать, а бросить землю и валить лес. Вот где стремянское богатство! Вот где золото! Он, Алешка, восемь лет в лесу работал и знает, что это такое. А если еще поставить свою пилораму, резать шпалу и тес—цены не будет этому делу. А колхоз надо закрывать к чертовой матери, и Егорку этого гнать поганой метлой, пока он Стремянку с веревкой на шее не пустил. Колхозники шикали на него, помня, за что Алешка валил лес, озирались, но слушали. А Забелина от этого заносило, как санки враскат.

— Хватит из земли жилы тянуть! — кричал он. — И свои хватит рвать! Износилась земля-матушка, недолговечная она в Сибири! Егорка ваш на большое дело не годится! Ему только из вас веревки вить!

Егорка Сенников обиделся и сообщил куда следует, что Алешка продолжает разваливать колхозное движение. Но про него забыли — началась война...

Именно в войну открылся леспромхоз. И когда забрали на фронт последнего годного по возрасту и здорового мужика, а в Стремянку на лесосеки пошли женщины из соседних колхозов, Алешку Забелина назначили директором. Шаром покати — некого больше: то бестолковый, то слишком старый, а то все ничего, но грамотешки не хватает. Егорку же Сенникова в самом начале войны взяли в область, на должность, и скоро вернули в район большим начальником. И Алешка словно помолодел, словно началась у него еще одна жизнь, ни ему, ни кому другому не ведомая. Сроду он женщин не замечал, потому, видно, холостяком проходил, если не считать француженки, оставшейся в Лотарингии (в которую мало кто верил). Разговаривать станет, так бабы

уже от скуки чуть не умирали. Вроде и мужчина видный, и при должности был, когда коммунарили, но при этом будто холодный. А какую русскую женщину потянет к эдакому-то? Ради любопытства, и то не надолго... Тут же у Алешки будто петушиный гребень вырос. Где бы ни был — в конторе, на улице, на плотбище или лесосеке,— только и слышно: бабоньки, милые мои, красавицы писаные! Да я вас всех перецелую, переобнимаю, только вы уж не подведите, дайте план! А у самого глаза светятся и седая шевелюра дыбом стоит. И женщины-то его словно наконец разглядели. Может, оттого, что глядеть больше не на кого было? Стремянка каждую зиму опять начала жить коммуной. Бывшую столовую, где одно время держали скот, а в веревочный период вили канаты, очистили от хламья, настроили печей, нар и заселили привлеченными на лесоповал колхозницами. И вот эти бабенки, едва научившиеся держать в руках лучок да топор, парнишки-подлетыши давали по два, случалось, и три плана. В Стремянку и окрестные колхозы похоронка шла за похоронкой, война выщипывала мужиков, как маховые перья из крыльев; этим бабам и ребятишкам реветь бы, не просыхая от слез, вдовам и сиротам голову бы потерять — войне-то проклятой и конца не видно! Они же лишь сбивались плотнее в кучу, поревут ночью шепотком, а наутро поют.

Едва война пошла на убыль и с фронта начали приходить раненые мужики, Алешку сняли. Впрочем, он и не противился, не возмущался, вдруг постарев. Директором поставили Петра Вежина, и когда кончилась война, леспромхоз неожиданно закрыли. Егорка в то время был уже в области начальником по сельскому хозяйству. Он приехал в Стремянку, привез с собой уполномоченного, который должен был заново организовать колхоз и выбрать председателя. Колхоз организовали, председателя выбрали и снова стали сеять лен...

К этому времени Алешка совсем постарел, годами вышел к пенсии, но оказалось, что пенсия ему не положена, так как коммунарское дело ему не засчитали в стаж, восемь лет северного лесоповала тоже, а с двух военных лет директорства причитались копейки. Алешка плюнул и пошел зарабатывать себе пенсию — сторожить вновь открытый колхозный льнозавод.

17

Уже по снегу медведь ушел из своего заповедного места в противоположный край территории, поближе к брошенной людьми деревне, и несколько дней бродил вокруг, подыскивая безопасный угол для берлоги. Можно было залечь в подполе любой избы — жилой дух человека здесь давно выветрился, а старик, живущий на краю деревни, казался безвредным, ибо из него тоже почти выветрился запах человека...

Однако в первую же ночь, войдя в деревню со стороны заросших травой и малинником огородов, медведь почувствовал неожиданно присутствие многих людей. Остро пахло машинами, железом, солляркой и пепелищами, особенно вонявшими от мокрого, талого снега. Этот запах был привычным и совсем не ощущался на гарях, но здесь вызывал тревогу и настороженность. Почти возле каждого дома стояло по три-четыре трактора. Оранжевые исполины не пугали его, когда ревели и двигались, но замершие они таили в себе опасность, словно враги, притворившиеся мертвыми. Медведь обошел деревню огородами, всполошил собаку у старика и свернул на гари, заросшие молодняком.

На краю шелкопрядников он разыскал сваленный ветром кедр и стал рыть яму, углубляясь под ствол и выворотень. Ложиться в сырую, свежую берлогу, тем более мелкую, отрытую наспех, было рискованно, однако время подгоняло — вот-вот упадет зима. Он нагреб в яму смерзшихся со снегом листьев, дня два сушил их своим телом и наконец пошел искать глину. Последний раз он кормился неделю назад, теперь же готовил свое нутро к спячке — пил только воду, чтобы промыть киш-

ки и забить потом проход глиняной пробкой. Он лазил по ручьям, по речным обрывам и оврагам, нюхал землю, разгребал ее лапой и брел дальше. Предчувствие опасной зимовки — недостаток жира и сырая, холодная берлога — толкало его найти такую глину, которая бы не спеклась и не превратилась в камень до весны, ибо попросту не хватит сил выбить ее. И тогда — смерть... Ложиться без пробки было вдвойне опасно: в нагретую телом зверя берлогу сползались всевозможные черви, личинки и жучки, проникали в кишечник, желудок, разъедали его, плодились и снова разъедали, превращая нутро в лохмотья, в гниль, и зимний сон переходил в смерть.

Недалеко от деревни, в свежеотрытой людьми огромной яме он отыскал нужную глину, нажрался и лег в берлогу. На следующий же день ударил мороз, пар от дыхания сохнущей влажной земли столбом поднялся из-под кедрового ствола, будто там затопили печь. Куржак медленно затягивал широкий лаз, сохраняя тепло, но паровой столб выказывал логово, и упаси медвежий бог проходить теперь мимо собаке или человеку!

...На сей раз его подняли не собаки и люди с ружьями: несколько дней подряд трактора совсем рядом утюжили заснеженную землю, сталкивая недогоревшие стволы и вывернутые с корнями пни в гигантские деревянные горы. Жирная, покрытая снегом земля почти не промерзла и парила, как горячий каравай, если сорвать с него корку. Медведь очнулся и долго лежал, прислушиваясь к лопотанью машин. Ныла старая рана в лопатке и новая отдавала тупой болью в груди. Когда трактора начали сталкивать валежник на опушку шелкопрядников, прямо к берлоге, дрогнула и поползла над головой деревянная кедровая крыша, он стремительным комом выкатился из берлоги и, увязая в глубоком снегу, бросился в глубь сухостойников. Трактора на миг остановились, закричали люди, однако в следующий момент оранжевый бульдозер, вскинув клыки на уровень радиатора, с тупым упрямством пошел по следу. Медведь уходил крупным махом, иногда с головой зарываясь в снег, но машина не отставала, круша гусеницами сухой, стреляющий на морозе ельник. Медведь шел зигзагами, стараясь оторваться и сбить противника со следа, как он делал это, уходя от собак, однако трактор уверенно и неумолимо ломился по медвежьей борозде, повторяя все ее повороты. И настигал! С каждым прыжком зверь терял силы, а дышащий жаром исполин все ближе подносил заиндевевшие на холоде белые клыки...

Медведь не выдержал, когда впереди оказался крутой бок увала. Он встал на задние лапы, обернулся к противнику и заорал, перекрикивая рев машины, сделал несколько угрожающих шагов вперед. Противник не испугался, даже не дрогнул, не сделал попытки остановиться и, взметывая гусеницами пылящий снег, пошел прямо на зверя...

За стеклом хорошо различалось смеющееся человеческое лицо.

И медведь сдался. Поскуливая, он встал на четыре лапы и стал буравить снег, поднимаясь на увал. Более сильный хищник, появившись на его земле, теперь сгонял хозяина, отвоевывал себе жизненное пространство. Он сдался, а потому следовало спасать только свою жизнь. Территория уже не принадлежала ему.

Он взобрался на увал и там снова пошел махом, но трактор уже настигал. Уже несколько раз он спасался тем, что делал резкие скачки в сторону и уворачивался от клыков. Машина проскакивала мимо, и пока делала поворот, он на мгновение замирал, переводя дух, и косил на противника кровяным глазом. В очередной раз, избежав клыков, он замер надолго...

Склоненная к земле, сухая и крепкая, будто рогатина, ель скребнула сучьями по капоту и, пробив лобовое стекло, вонзилась в кабину трактора. В следующий миг она напружинилась, согнулась в дугу и лопнула с треском ружейного выстрела.

Машина больше не поворачивала. Она пошла прямо, сминая шелкопрядник, снесла несколько толстых сухостойных кедров, протолкала

их впереди себя, нагребая снежную гору, попробовала еще взгромоздиться на нее и заглохла.

Зверь, не подходя к поверженному противнику, справился с одышкой и побрел в противоположную сторону, в недра своей территории, отбитой из последних сил. И только уйдя на значительное расстояние, он окончательно пришел в себя и ощутил сильнейший приступ голода: во время схватки где-то вылетела пробка.

Была еще только ранняя весна, и лишь на солнцепеках пригревало и подтапливало сыпучий и зернистый снег: пора, когда и человеку бывает голодно. Пустой желудок манил его за добычей поближе к деревне, однако предчувствие гнало прочь со своей земли, куда-нибудь на чужую территорию, пока спит ее хозяин, и где его не ждут. Если бы он задавил собаку, как бывало в шальную, бесприютную зиму, то не тронулся бы с места, но после победы над противником, за которым стоял человек, немедленно последует мщение.

За несколько дней беспрерывного движения он ушел далеко от шелкопрядников, где были живые перелески и широкие поля, изрезанные временными зимними дорогами, — возили солому. По утрам уже настывал крепкий наст, но все-таки не держал тяжелую тушу, и пока зверь выбрел к полям, на его изрезанных лапах и животе почти не осталось шерсти. Он зализывал раны, ощущая запах и вкус собственной крови, свирепел от голода. К тому же куча соломы, куда он забрался на дневку, шуршала от мышей. Медведь начал было охотиться за ними, разрывал солому до земли, бил лапой, хватал пастью, норовя зажать мышь, но та всегда выскальзывала и пряталась. Едва он стихал, как мыши, осмелев, снова начинали шебуршить со всех сторон и даже под ним. Бросив это бесполезное занятие, он высунулся из копны и заметил сначала лису, семенящую к его убежищу. Он замер, изготовился к прыжку, однако увидел трех лошадей, медленно идущих по зимним дорогам. Лошади были еще далеко, на горизонте. Они неспешно брели по тракторным колеям, собирая клочки упавшей соломы, жевали долго, по-стариковски, с тоской озираясь по сторонам.

Медведь поджидал добычу, не шелохнувшись, забыв о лисе. А та преспокойно бежала к копне и могла испортить всю охоту. Кроме того, опыт подсказывал: если есть лошадь, значит, где-то рядом должен быть человек. В первую зиму бродяжничества он не раз провожал взглядом, глотая слюни, санные повозки и даже не пытался напасть. В зимнее время лошадь и человек были неразделимы.

Но сейчас по полю тащились какие-то странные лошади — худые, изможденные, едва переставляющие ноги, хотя молодые по виду. Они словно тени, ломаясь в каждом суставе, брели к соломе, а человека и близко не было. Скорее всего, эти лошади были такими же бесприютными бродягами, как он сам.

Лиса почуяла медведя, когда подошла на расстояние прыжка. Она вытянула морду, принюхалась и, отступив в сторону, села на снег. Чего-то ждала. Медведь замер, перестал дышать, наблюдая за лошадьми, только шерсть на горбу поднялась дыбом. Мышь, выбравшись из соломы, юркнула мимо и угодила зверю в пах — запищала, забилась, щекоча коготками, пока не умолкла, сдохнув от страха. Медведь же добарывал свой страх, каждое мгновение ожидая появления человека. Но поскольку человек так и не выказал себя, можно было считать лошадей дикими, а значит, добычей.

Лиса не испортила охоты — лошади ее не боялись. Она спокойно дождалась, когда медведь в стремительном прыжке свалил первую лошадь, порвав ей лапой горло, и кинулся за второй, увязнувшей в снегу. И пока он, оседлав ее, ломал хребет и рвал клыками жилистую шею, лиса подбежала к бьющейся в судорогах первой лошади и принялась старательно слизывать горячую кровь... От перелеска, с призывным клекотом, летели черные ошметья таежного воронья...

В копне соломы среди чистого поля он прожил до самого тепла. И лишь когда сошел снег, обнажив прилизанную стерню, и по грязной пашне поползли трактора, разбрасывая белый, ядовитый порошок, медведь поглодал остатки жилистых конских мослов и в ночь двинулся на свою территорию. Он жил здесь и покидал это место спокойно, предчувствуя, что человек не будет мстить за погубленных коней.

Весна оказалась затяжная, неровная: то дни с дождями, то зимнее ненастье со снегом. А ночью вдруг завернет мороз, такой, что трескается обнаженная земля и лужи на дорогах вымерзают до дна, оставляя белый ледяной фонарь. Срок прошел, но пасеки еще не выставили. Медведь миновал несколько точков и левад, и везде было пусто, серо и неприбрано. Его не встречали даже собаки, видно, считая, что охранять и защищать еще нечего. Он заглянул в свое заповедное место, где новый сосед пригораживал себе дополнительную территорию, посмотрел, как тот вкапывает столбы, растягивает колючую проволоку и звонко бьет гвозди, затем повернул назад и покосолапил прочь. Эта пасека была безвозвратно утеряна. Оставалось единственное: дежурить у других, ждать, когда выставят ульи, и промышлять теперь там. Но ждать становилось невмоготу. Однажды ночью он забрел на пустую леваду одной из пасек и осторожно пошел на пчелиный запах, доносящийся из закрытого омшаника. Он подполз к самой двери и прилег. Собака молчала, а может, вообще спала где-нибудь в сенцах — погода была сумрачная. Он обнюхал носилки, на которых стаскивали пчел в омшаник, и осторожно поскребся в дверь. Припертая колом, она не поддавалась. Тогда он выбил ее лапой и зацепил когтями створку.

И сразу пахнуло теплом, стойким пчелиным и медовым духом. Он обнюхал стоящие на стеллажах ульи и содрал с крайнего утеплитель вместе с положком. Обычно пчелы в этот момент шубой набрасывались на морду, ввинчивались звенящими штопорами в шерсть и нещадно жалили, но на сей раз он даже звука не услыхал. Улей был полон медовых рамок, но пуст. Медведь вывалил соты на пол и, улегшись на живот, начал жрать.

Пчелы оказались на полу. Мягкое, безжизненное покрывало из хрустящих под лапами пчел лежало по всему омшанику. Это не смущало и никак не волновало зверя, наоборот, доступность добычи напоминала ему охоту на бродячих лошадей, брошенных человеком. Он выпотрошил следующую колоду, тоже незаселенную, сожрал соты вместе с проволокой, побродил по омшанику, шурша подмором, и приступил к третьей. Но едва лишь зацепил положок, как из улья посыпали пчелы, квелые после зимы и совсем не опасные. Они только раззадорили его, напомнив летние времена; желудок уже был полон, однако медведь выбрал самые медовые рамки, не торопясь выгрыз соты, вылизал недавно засеянную, плавающую в пчелином молочке детку и, забравшись в угол нижнего стеллажа, лег. Он не успел даже облизать липкие лапы, как сытая истома и ощущение безопасности толкнули его в сон...

Всю ночь Артюша сидел над чертежами, сделанными на обратной стороне старых плакатов и шпалер. Он рисовал множество брусочков, составленных радиально, помечал их полюсами, как на магнитах, и опутывал все проводами. Вдруг, бросив карандаш, хватал логарифмическую линейку, двигал рейку, бегунок, будто считал, хотя не умел считать, и записывал на полях чертежа колонки цифр.

Из всех походов Артюша обычно возвращался сам. Грязный, полураздетый и голодный, но на своих двоих. Нынче же Заварзину среди зимы пришлось ехать за ним в город и выручать из больницы. Пришла бумага с просьбой к опекуну забрать больного после усиленного курса лечения. Дело в том, что Артюша на этот раз в своей полковничьей форме сумел доехать до Москвы, а там, в поисках ночлега,

забрался в дачный поселок и увидел генеральскую шинель, вывешенную для просушки на солнце. За всю свою жизнь Артюша иглы не украл, однако здесь, при виде огромных, плетеных, как лапти, погон с шитыми звездами, не удержался от соблазна. Выждав, когда хозяева уйдут со двора, он перескочил низкую оградку, сорвал шинель с плечиков и убежал в какой-то лес. Там он примерил обнову и остался доволен: нигде не жало, не тянуло, вот только рукава были длинноваты так, что кончиков пальцев не видно. Да ничего — успокаивал себя Артюша — ведь генералу-то работать не надо, ходи да командуй. Пока он мерил шинель и красовался перед маленьким зеркальцем, откуда-то взялись солдаты. Они шли цепью, прочесывая сады, и приближались к лесу. Среди них мелькала долговязая фигура гражданского парня, которого Артюша видел на генеральской даче. Похититель снял шинель, взял ее под мышку и побежал через лес — куда вынесет, но скоро уткнулся в высокий забор. Ему бы попробовать перелезть, а он кинулся вдоль забора и чуть ли не в руки угодил гражданскому. Тот стоял и поджидал его за деревом. Артюша попятился от него, хотя за спиной уже оказались солдаты. Парень неожиданно и пронзительно вскрикнул, сделал страшные глаза и взвился в воздух. Артюша даже и не понял, что произошло, поскольку сразу потерял сознание.

Очнулся он на крыльце дачи, где украл шинель. Солдат настойчиво пихал в нос дурно пахнущую вату. Артюша вскочил, отпихнул солдата и вжался в угол крыльца.

— Отойди! — крикнул солдату гражданский и задышал, зашипел, как змея, странно двигая руками у своей груди. В тот миг, когда у парня снова сделались страшные глаза, Артюша закричал.

— Отставить! — гаркнул неожиданно появившийся генерал. — Саша, пойди и сядь в машину! Все по машинам!

Солдаты взяли под руки Артюшу, посадили в легковушку с красными крестами и куда-то повезли. В машине он обнаружил, что погон на кителе нет, а все карманы вывернуты и пропали «документы» — всякие красные книжицы, саморучно сделанные, такие же липовые справки и прочие «нужные» бумажки. Артюша подумал, что попал в плен и что его везут допрашивать, поэтому сначала попытался вырваться от солдат и выскочить из машины. Потом хотел разбить себе голову о дверную стойку, но ему не дали, скрутили руки и придавили к сиденью. Тогда он решил молчать.

Он молчал в больнице, куда его привезли и ласково спрашивали, кто он, откуда, из какой части, если военнослужащий. Он молчал, когда ему делали уколы, давали таблетки, заглядывали в глаза. Так и не добившись ничего, Артюше вернули «документы», посадили в какой-то специальный поезд и увезли в другую больницу. И там его опять начали спрашивать, но он и слова не сказал. Зато ночью разговорился с каким-то человеком, которому разрешали пользоваться спичками и огарком свечи. Точнее, говорил только человек. Артюша сделал ему предупреждение, чтобы тот не зажигал свечу, так как она стала опасной длины, человек же объяснил, что ему надо работать, что он ученый-изобретатель и сейчас конструирует вечный двигатель, который спасет человечество от энергетического кризиса. И показал свои чертежи, очень похожие на те, что сейчас чертил Артюша. А еще сказал, что все изобретатели должны сегодня работать над проектами двигателей, и стал объяснять, как их делают. Они бы всю ночь проговорили, но свеча догорела и погасла.

Потом приехал Заварзин и забрал его домой.

Теперь Артюша изобретал вечный двигатель. Тот человек объяснил, что двигатель можно сделать только из постоянных магнитов, поскольку в них неисчерпаемая энергия; главное, найти способ, как их расположить и как вовремя менять полярность.

Но вдруг Артюша ощутил какое-то смутное беспокойство. Неда-

леко от него, в пределах пасеки, что-то происходило, но что именно, он не мог понять. На всякий случай Артюша зарядил ружье украденным у Заварзина дробовым патроном, вложил пуговицу в ствол и прямо от стола, на цыпочках, подошел к двери...

Перед тем, как покинуть доверху набитый пищей омшаник, медведь не удержался от искушения и выпотрошил еще один улей. Почти не жуя, он проглотил несколько кусков сотов и вдруг замер, прислушиваясь. Все было спокойно: ни движения, ни шороха поблизости. Но мозг пронзило предчувствие опасности. Оно не исходило от кого-то реально существующего рядом — от человека, собаки, капкана; оно будто излучалось откуда-то сверху, ровно распространяясь по всей земле, и вот один его невидимый лучик достиг звериного мозга. И зверь мгновенно предугадал грозящую опасность, которая могла выразиться в чем угодно. Прогремит ли неожиданный выстрел, защелкнет ли свою пасть скрытый капкан или обвалится потолок омшаника.

Медведь подкрался к двери и осторожно выглянул—никого! Разве что воробьи скачут по леваде и склевывают мертвых пчел возле кольев да где-то журчит оттаявший ручеек. Одним прыжком он выскочил из омшаника, на мгновение прилег, слушая окружающее пространство, затем спокойно покосолапил к изгороди. Сколько раз спасал его от смерти этот природный дар — предугадывать опасность и уходить всегда вовремя...

Вспышка огня ослепила его. Выстрел опрокинул наземь многопудовое тело. И он, ослепший, с ревом раздирая траву и землю, завертелся на месте. Опалившая голову боль проникла в глубину мозга, сковала позвоночник и мышцы...

Он взбуравил мордой талую землю, словно хотел уйти в ее недра, облапил голову и замер. Сквозь огненную боль он чуял запах свежей земли и вкус собственной крови. И эти последние ощущения, которые испытывает любое живое существо, прежде чем кануть в небытие,— боль, запах земли и вкус своей крови будоражили в нем жажду к жизни. Чем слабее и беспомощнее становилось неуправляемое чужеющее тело, тем жажда эта была сильнее и пронзительнее. Охваченный болью мозг еще работал, еще были живы и остры инстинкты, но обездвиженное шоком тело — та, большая его часть существа — уже предало его.

Он пролежал недвижимым несколько минут, и все это время мозг спасал тело, заставлял работать легкие и сердце. Зарядом дроби и обточенной пуговицей ему выстегнуло оба глаза, свинец расплющился о черепные кости и только поэтому не проник в мозг.

Работающее сердце поддерживало жизнь, но и расплескивало ее с каждым толчком. Горячая струя крови спадала на холодную землю, впитывалась и настывала сверху черной коркой.

Наконец тело стало оживать. Он зашевелился, сделал попытку подняться и не смог. Боль по-прежнему разламывала голову, и, стараясь освободиться от нее, он начал трепать когтями шерсть вокруг раны, как обычно вычесывал лесной мусор, попробовал дотянуться языком до вытекших глаз, чтобы зализать и вытянуть огненную боль, но лишь снова ощутил свою кровь. Свирепея и впадая в полубессознательное состояние, он вдруг начал жрать землю, пропитанную его кровью. Трудно сказать, что помогло ему, может и земля. Он встал. Совсем рядом рычала и взлаивала собака, но он не видел ее, впрочем, как уже не видел ничего вокруг: в серых сумерках напрочь пропали очертания предметов. Ощупью он побрел прямо, в ту сторону, куда лежал головой. Вынес несколько жердей в прясле, почувствовал, как отстает собака, хотя могла бы пытаться остановить его и держать до подхода людей. Он шел наугад, спотыкаясь о валежник и головни, тащился сквозь заросли малинника. Звериное сознание и опыт толкали

его вглубь, вперед, в трущобы, чтобы там отлежаться, либо подохнуть. Почуя кровь, взреяли над головой ожившие мухи, лезли к ране, а выше, в небе, с клекотом закружилось воронье. Когда-то по этим голосам, как по маяку, он точно определял место, где есть добыча — сломавший в шелкопрядниках ноги лось или другая падаль — пища, разделенная с птицами. Вороны же в свою очередь тоже следили за медведем, знали каждый его шаг, с надеждой, что от его пищи обязательно останутся крохи, способные накормить стаю. Однако теперь птицы почувствовали, что он сам может стать их добычей; и медведь чуял это. Он брел, останавливаясь, чтобы отогнать мух от раны, тряс головой, а воронье тем временем смелело, рассаживалось совсем рядом, в нетерпении склевывая капли сохнущей крови.

Пройдя километра два, он наткнулся на весенний ручей, напился, побултыхал в воде горящей от раны головой и залег на берегу в густом малиннике. Расстояние до пасеки было так мало, что он слышал голоса людей, но уйти дальше не было сил, и к тому же рядом была вода. Он лежал на брюхе, положив голову между лап и прикрыв ими рану. Кровь все еще сочилась по шерсти, насыхая вокруг глазниц твердым комом и привлекая мух. Он вслушивался в движение воронья, рассевшегося по другую сторону ручья, потягивал носом воздух. Ожидающие его гибели птицы были кстати; они охраняли от людей и других хищников. Появись опасность поблизости, вороны взлетят и тем самым подадут ему сигнал. Но они же и выдавали его, указывая своим присутствием место, где отлеживается зверь.

Несколько раз он выползал из укрытия, настораживая ворон, пил воду, остужал голову и опять лежал, отбиваясь от мух и бесполезно вытягивая язык к ране. Подобное уже случалось в его жизни, когда мальчишка с испуга влепил в него заряд дроби, порвал ухо и снес клок кожи на голове. Рана зачервивела, загнила, и он, не нагуляв жиру, остался шатуном. Но тогда оставалось зрение, да и сама рана не была такой опасной. Сейчас же мухи назойливо лезли в глазницы, в его горячее тело, где можно было отложить яйца и продлить свой род.

Слепота лишила его ощущения времени. Если даже в берлоге, засыпанной снегом, он чувствовал, когда на поверхности день и когда ночь, то сейчас потерял ориентиры, а обманчивый серый сумрак не кончался. Засохшая кровь забила пробками глазницы, боль еще раздирала голову, но опыт толкал его искать пищу, обилие которой могло быть спасением. Лекарство находилось в самом организме, его нужно было лишь возбуждать и подогревать пищей. Он ушел от ручья, обрамленного густым шелкопрядником, на открытые места и солнцепеки, где уже зеленела трава. Рассчитывать на что-то другое не приходилось, и он ел траву, отгрызая ее коренными зубами, по-заячьи обгладывал осиновые побеги и свежий малинник. Он кормился почти круглыми сутками, лишь на короткое время замирая в дреме, и все же с каждым днем слабел. Рана уже не горела, как прежде, но тихая, саднящая боль была еще опаснее. Однажды он вдруг уловил запах близкой падали и долго кружил по шелкопрядникам, обнюхивая пни, колодины и молодые заросли. Запах этот казался совсем рядом, будоражил аппетит, но падали нигде не было. С той поры он преследовал его постоянно. Мухи сделали свое дело: он уже загнивал сам. Воронье теперь пасло его неотступно, уверенные в скорой поживе, птицы ходили по пятам. Он мог бы без труда задавить одну из них, особенно наглую, однако даже близость голодной смерти не заставила бы его есть воронье мясо.

Настало время, когда он уже меньше кормился и больше сидел у ручья, с меланхоличной настойчивостью полоща в воде голову. Ослабевшее тело казалось тяжелым, неповоротливым, он часто натыкался на деревья и бередил рану. Как-то раз он лежал на солнцепеке, в траве, чуя, что воронье подступает все ближе и ближе, неся с собой

смерть. Но вдруг птицы разом взметнулись в воздух, и их резкий, озлобленный крик говорил, что вблизи появился другой хищник, претендующий на добычу: они кричали точно так же, когда медведь, будучи здоровым, подходил и отнимал пищу у них. Он потянул воздух горячим носом. Сквозь запах травы и падали он четко уловил псиную вонь. И то было странно, что собака не лаяла, хотя наверняка давно взяла его след. Он затаился. Сейчас как нельзя лучше подходил способ — притвориться мертвым. Он замер, замедлил дыхание. В полной неподвижности боль заклокотала сильнее, отдаваясь в мозгу, мухи облепили рану, вгрызались в ее нутро — он терпел, прислушиваясь к движению собаки. Она была уже близко, запах псины резал ноздри, и по нему, как, бывало, в прошлые времена, он узнавал противника на медвежьей свадьбе, так здесь точно определил, что собака крупная, довольно сильная и смелая. Она подходила шагом, изредка замирая, и последние метры передвигалась ползком, видно, подкрадываясь. Она была уже на расстоянии прыжка, когда медведь услышал ее тихое поскуливание. Изготовившись, он ждал момента, когда потерявшая осторожность собака подойдет еще ближе, чтобы одним ударом сломать ей хребет и пригвоздить к земле.

Он уже был готов нанести этот удар. Но вдруг ощутил прикосновение мягкого собачьего языка к своей ране. Предупредительно скуля, собака осторожно и старательно стала зализывать пустые глазницы...

18

Когда Тимофей вошел к себе во двор, игравшие на крыше сарая дети посыпались кубарем, облепили отца, закричали вразнобой:

— Папка приехал! Папка приехал!

Предпоследняя, кажется, Иришка, прямо с сарая прыгнула на плечи, оседлала, вцепившись ему в волосы, ну а Дарьюшку пришлось снять самому и взять на руки. Он так и вошел в избу, неся на себе гроздь своих девок. Валентина доставала из печи противень с пирогами, на мужа даже не взглянула.

— Мам! Мы папку поймали! Папку поймали! — закричали ребятишки. — Вот он! Держим!

— Держите, держите,— усмехнулась Валентина.— А то улетит...

— Ну! — торжественно воскликнул Тимофей, — слушайте и не падайте в обморок!

Из спальни выглянула теща с младенцем на руках: девчушка таращила глазки и сосала палец, выпятив нижнюю губу.

— Мы переезжаем в Стремянку! — вдруг заторопился Тимофей, срывая весь эффект внезапности. — Я из инспекции ухожу! Насовсем! Навсегда! Пойду на бульдозер! И буду сидеть дома!.. Ну как, довольны? — он обнял ребятишек, сразу всех. — Поедем к дедушке жить?

— Поедем! — хором подхватили девчонки. — Ура! Мы к дедушке жить поедем!

Теща, придерживая одной рукой последыша, перекрестилась, но Валентина лишь бросила взгляд, опрокидывая противень над расстеленным полотенцем.

— Ой, что-то не верится, — наконец сказала жена со вздохом. — С чего это вдруг?

— А с того! — засмеялся Тимофей. — Ты же просила? Вот я и решился!

Дети отпрянули от отца, ринулись к горячим пирогам, расхватали вмиг и забегали, перекидывая горячие пирожки с руки на руку. А Дарьюшка положила свой пирог в передничек и понесла его, дуя полненькими губками.

— Папка! Это тебе пилог! Ешь, вку-у-усненький...

Старшие вдруг притихли, глянули на отца виновато, и никто не решался начать есть.

— Давай напополам! — сказал Тимофей и разломил Дарьюшкин пирожок. — Ты только дуй на него, ишь, серединка-то горячая.

— Я дую! Я и так дую — гляди! — она со всей силы подула на пирог.

Валентина молчала, намазывая противень жиром: похоже, размышляла, переваривала новость и гадала — с чего бы вдруг он ехать собрался?

— Что ж, прямо нынче ехать? — наконец спросила она недоверчиво.

— А что тянуть? — пробурчал Тимофей, справляясь с куском пирога. — Погрузимся и — айда! Я от отца сейчас приехал. Он рад, доволен.

Жена неожиданно выбежала из избы, оставив открытой дверь. Тимофей снял куртку, сапоги и, довольный, сел. Старшенькая принесла пирог на тарелке и подала.

— Кушай, папа. Голодный, поди?

Остальные тоже бросились за пирогами, чтобы принести отцу, но всем не хватило — Иришка встала в угол и заплакала.

— Тихо! — сказал Тимофей. — Не реветь, а то к дедушке в Стремянку не возьмем.

Жена вернулась какая-то измученная, бледная, вымыла руки и встала к печи.

— Пускай хоть ребятишки школу-то закончат, — проронила она. — Что их отрывать? Две недели осталось.

— Ну пускай! — согласился Тимофей. — А пока увязываться будем, я уволюсь, расчет получу.

— А с новой работой узнавал? Берут там?

— Там пока канитель идет,— бросил Тимофей. — Но разберутся, поди... В Яранку кирпич возят, брус — дома строить...

— Ой, не верится мне, — вздохнула жена. — Как ты надумал-то?

— Ты что? Недовольна? Что тебе еще надо?

Валентина достала последний противень из печи, прикрыла заслонкой свод.

— За колбой бы съездить, — сказала она. — Бабы вон корзинами носят... И нам бы хоть кадушечку замочить.

— Ты же не ешь ее! — рассмеялся Тимофей. — Она же воняет!

— Ребятишкам витамин, — сказала жена. — Говорят, полезно...

— Так поехали! — Тимофей подтащил сапоги. — Потом некогда будет!

— Близко все повыбрали уже... Вечно мы последние, по оборышам.

— Да я тебя в такое место свезу! — радовался Тимофей. — Хоть навильниками собирай! Хоть литовкой коси!

Он любил моченую колбу, впрочем, как все острое, но есть приходилось только в рейдах, среди мужиков, поскольку в избе, считали Тимофеевы женщины, от нее такая вонь, хоть святых выноси. А наевшись ее в погребе, без хлеба, Тимофей заранее стелил на кухне тулуп и спал там — Валентина на шаг к себе не подпускала...

Выехали уже после обеда. Пришлось поскандалить со старшенькой, которая запросилась с родителями, а к ней мгновенно подключились все остальные, кроме последыша, и поднялся рев. Дети висли на руках, цеплялись за брюки, за материн подол, кто-то уже надевал сапоги, искал игрушечные корзинки, и все плакали хором. Зачинщицу определили в угол, но младшие не успокаивались, просились, размазывая слезы и сопли.

— И меня, папка! И меня возьмите! — тянула Дарьюшка, громоздясь на отца. — И я хосю колбу собилать!

Ни уговоры, ни обещания не помогали, и тогда Валентина рассердилась, гневно сверкнула глазами:

— По углам! Марш по углам!

Дети встали по углам — каждая в свой, указанный когда-то «по чину», однако реветь не перестали. Тимофей с Валентиной так и пошли из избы под этот девичий хор.

По дороге Тимофей говорил без умолку, рассказывал последние стремянские новости, избегая подробностей встречи с отцом, и смеялся, просто от хорошего настроения. Два мотора несли лодку так, что она едва касалась воды; слепило встречное солнце, и по-летнему теплый ветер обдувал лицо, пузырил рубаху на спине. Валентина слушала его без интереса, даже как-то задумчиво и совсем не смеялась, лишь изредка теплели глаза. Тимофей думал, что ребятишки своим криком навели на нее такую тоску, и пытался развеселить, однако замечал, как по лицу жены, словно от вспышки молнии, пробегала нездоровая бледность. Однажды она даже попросила остановить лодку и несколько минут сидела, склонившись над бортом и зажимая кривящийся рот рукой. В пылу рассказа он даже не спросил, что с ней. И только когда они приехали на место и Валентина, увидев зеленые ушки колбы, пробивающейся сквозь листья и лесной мусор, стала срывать их и есть, есть, понял!

— Валь, да ты же беременна!

— Беременная, — подтвердила она. — И, похоже, мальчиком...

Он схватил ее на руки — чуть не выронил, сгибаясь под тяжестью, затоптался на месте, смеясь и ликуя.

— Валька! Да я тебя!.. На руках!..

Валентина, родив шестерых, никогда не страдала токсикозом, и беременности-то не ощущала месяцев до четырех, хотя знала о ней. Не то что другие бабы — и огурчика соленого никогда не попросит. А тут же ей невыносимо хотелось колбы — того, чего и на дух не переносила. И рвало ее по пять раз на дню, и тошнило постоянно.

— Весь в тебя будет, — шептала она, когда Тимофей, умерив резвость, ползал на коленях и дергал вокруг нее колбу. — Сразу видно — мужик. На горькое, на острое тянет...

— Валюха, да я!.. — восклицал счастливый папаша. — Этой колбы намочу!.. Ты ешь! Ешь! Пускай он там привыкает! Мы с ним потом бочками, кадками есть ее будем! А ты говорила — вонючая! Она же сладкая! Сладкая?

— Сладкая, — улыбалась жена, сидя над корзиной с колбой. — Только молодая, не выросла еще, крепости нет. Верней, сладости мало.

Колба в этом месте и впрямь не успела вырасти: поздно снег сошел, а на северных склонах и вовсе еще лежал нетронутый. Тимофей нарвал полкорзины и отряхнул колени.

— Поехали дальше! Я еще одно место знаю, там рано бывает! А на дорогу тебе хватит!

Валентина ожила и всю дорогу не спускала корзину с коленей. Они плыли вниз по течению, мимо залитых половодьем берегов, мимо барж с гравием, углем и лесом, и Тимофею было так хорошо, как никогда не бывало на реке. Он даже попробовал запеть «Из-за острова на стрежень, на простор речной волны...», однако жена сказала, чтоб замолчал, поскольку у Тимофея не было ни голоса, ни слуха, и он ужасно перевирал мотив. Валентина же сама хорошо пела и терпеть не могла, когда при ней пели фальшиво. Слава богу, что слухом и голосом ребятишки в нее удаются и уже сейчас распевают вместе с матерью, когда у всех хорошее настроение и дома отец.

— Беременную уважу! — дурачась сказал Тимофей и перестал петь. — Снимаю шляпу!

Легкие волны дробью постукивали по днищу лодки, и вдоль бескрайних весенних плесов лежала серебристая солнечная дорога — прекрасна была река!

— Гляди, Тима, а вон мужики рыбачат, — неожиданно сказала жена, указывая под незатопленный яр. — Какую-то веревку тянут...

Тимофей переложил было руль к берегу, но так же резко выровнял его.

— Пускай пользуются моментом, гады! — воскликнул он и погрозил браконьерам кулаком. — Я уже не инспектор...

А браконьеры, видя приближающуюся лодку с крупной красной надписью «Рыбнадзор», лихорадочно дергали стартеры двух моторов. Моторы не заводились. Тимофей все-таки подрулил ближе, и тогда мужики, побросав шнуры стартеров, сели, опустили руки. Не сбавляя газа, Тимофей пронесся мимо и еще раз погрозил кулаком.

— Хоть бы раз близко глянуть на них, — сказала Валентина.— Издалека — люди как люди...

— Добра, смотреть на них, — бросил Тимофей. — Видом они, конечно, люди. Где в другом месте встретишься, так и за руку поздороваешься.

Из-за речного поворота выплыл высокий песчаный берег, на котором стояла огороженная база отдыха нефтяников. Тимофей подвернул под самый яр и показал рукой:

— Во! Лучше на ихнее гнездо посмотри! Тут мы в прошлом году целый трест разорили! С виду-то — и не подумаешь. Отдыхают люди, спортом занимаются после трудов праведных.

У лодочной пристани базы, на бетонных ступенях, спускающихся к воде, стоял человек в брезентовой куртке и махал рукой. Тимофей переглянулся с женой и, сбросив обороты мотора, подвернул к пристани. Седой, коренастый мужчина средних лет не спеша спустился по ступеням и сел на нос лодки рыбнадзора.

— Вот ты какой, инспектор рыбоохраны Заварзин, — проговорил он, разглядывая Тимофея. — Слышал, много слышал. Хотелось поближе посмотреть.

— Вот такой, смотри, — задиристо сказал Тимофей: в ушах тоненько звенело от долгого воя моторов.

— Что сказать, удалец! — похвалил седой, но глаза-то были холодноватые и поблескивали, как седина на голове. — С браконьерством, значит, покончено?

Говорил он медленно, со значением и каким-то покровительством, как обычно говорят большие начальники. Твердохлебов всего два года пробыл на своем посту, а уже и он заразился...

— Покончено! — отрезал Тимофей. — А ты, значит, из этого гнезда? Скушно, поди, без рыбки да икорки отдыхать?

— Скучновато, — признался, улыбнувшись, седой. — Да что поделаешь. Такой хозяин на реке! И ерша не даст!

Валентина сидела тихо, слушала напряженно и незаметно клала в рот свернутые трубочкой листья колбы. И жевала так же незаметно...

— Ты и без ерша ничего, справный, — заметил Тимофей. — А на осетринке-то и вовсе разнесет — ног не увидишь.

Седой добродушно рассмеялся, запахнул куртку.

— Это бы мне не повредило! Да!.. Только тебя вот жалко, хозяин. Сам дошел и жену довел... Траву жена ест! Ты как собака на сене.

— Пускай ест! — тоже рассмеялся Тимофей. — Ей полезно!

— А вы бы поднялись к нам, — седой кивнул на яр. — Спросили бы чего на кухне. Смотришь, нальют супчику, из консервов.

— Спасибо, — сквозь зубы проронил Тимофей. — Мы как-нибудь из травки. Говорят, витамин.

— Ну гляди! — развел руками седой. — Мое дело предложить... Послушай, инспектор Заварзин Тимофей Васильевич, а не пойдешь ли ты к нам на базу? Работать. По твоей милости всех посадили, и теперь даже начальника на базе нет.

— Это понимать, штатным браконьером? Надо подумать... Дорого возьму ведь. Я же буду неуловимым браконьером!

— Что ты, инспектор, — замахал руками седой. — Нам банщик нужен! Идешь в парную, а парить некому. Ни рыбки теперь, ни бани... Что, травка вкусная? Свеженькая?

— Хорошая! — вдруг рассмеялась Валентина как-то робко и тоненько. — Мне полезно!

Тимофей уловил в этом какое-то неприятное заискивание.

— Банщиком — это подходит, — сказал Тимофей. — Благодарствуйте, барин! Пропали б без твоей милости!.. Только парить я буду крепко. Задница-то выдержит ли?

— Муженек у тебя зубастый! — сказал седой Валентине. — А ну как и в самом деле придется работу искать? Я уже тогда предлагать не буду, обижусь. Куда ему потом?.. У вас, наверно, семья, дети...

Валентина ничего не ответила и снова рассмеялась, пряча глаза.

— Хорошо тебе жить! — позавидовал Тимофей. — Ты вот нанял себе козлов, стрелочников этих, они тебя парили, икоркой кормили. А как тебе на хвост наступили — ты их в тюрьму, сам гуляешь! Прямо как в какой-нибудь колонии!

Седого будто бритвой по горлу полоснули. Лицо потемнело, отяжелела челюсть, и левый глаз несколько раз дернулся. Валентина испугалась, глянула на мужа.

— Ну вот что, парень, — сквозь зубы выдавил седой. — Ты шути и знай меру. И помни, с кем шутишь. Игрок, тоже мне... — и вдруг постучал пальцем по гулкому дюралю лодки. — А еще запомни: хозяева здесь мы! Ты понял? Я тебе один на один говорю — запомни!

— Хозяин здесь я! — отрезал Тимофей. — А ты — гость! Ты отдыхать сюда приехал, а я здесь живу! Хорошо запомнил? Повторить?

Седой встал, сунув руки в карманы, сузил глаза:

— Слушай ты, хозяин. Язык у тебя подвешен, но разум, видно, бог отнял. Отхозяйствовал ты здесь, все! Или еще не ясно! Мы — нефтяники! Ты хоть это понимаешь? Мы всю эту землю вместе с рекой, с тобой и со всеми потрохами откупили. И еще на три версты в глубину. Ты понял?

— Поглядите на него, купец выискался! — возмутился Тимофей. — Землю он откупил... Твоей земли здесь что под базой, да что под нефтепровод отторгли! Может, еще два метра дадут, если помрешь. А остальное — наше!

— Да, — вздохнул седой, — экономика для тебя — темный лес. А понятие — деньги — только в своем кармане...

И вдруг с силой толкнул лодку ногой.

— Плыви, что с тобой говорить... Инспектор!

— Запомни, ты! — Тимофей встал в лодке. — Это тебе не колония! Видали, с деньгами приехал! Экономику поднимать!

Он разом нажал на обе кнопки запуска, включил скорость и выжал газ до упора. Моторы почти с места вытолкнули лодку на глиссирование и погнали ее вперед по солнечной дорожке...

Когда база скрылась за поворотом, Тимофей на середине реки заглушил двигатели и оперся подбородком на руль.

— Зря ты с ним эдак-то, — прошептала жена, оглядываясь. — Помягче бы надо, без нервов.

— Что-о? — прорычал Тимофей. — Видали, негров нашел! Явился!

— Тимочка, а я слыхала, это нефтяники гари-то пахать будут,— опять зашептала жена. — Будто ихнее подсобное хозяйство будет... Как ты на бульдозер-то пойдешь? Ихний же бульдозер. Теперь, поди, не возьмут. Он запомнил...

— Да говори ты громко! — прикрикнул Тимофей. — Напугалась — не возьмут!..

Кобура сбилась на живот, и рукоять нагана врезалась в пе-

чень. Он сдвинул ее к спине и сгорбился. Серебристая весенняя вода звонко шлепалась в дюралевые борта, лодку покачивало, и в корме тарахтела по решетчатому полу железная банка-черпушка. Тимофей в сердцах двинул ее веслом, но банка, откатившись, снова забренчала.

— Ты успокойся, Тимочка. — Валентина приткнулась к его плечу. — У нас же мальчик родится!

Тимофей обнял ее за плечи и сказал, уставившись на кнопки стартеров:

— Знаешь, я что подумал... Уйду я из инспекции... А у нас парнишка родится...

Валентина молчала, перебирая колбу в корзине.

— Я ведь ему даже нагана не покажу. И пощелкать не дам...

— Господи, — вздохнула жена. — Ну и дурачок ты... Нашел, что жалеть! Зачем ему наган-то твой?

— Ладно, поехали! — ворчливо бросил Тимофей и запустил моторы.

Около часа он гнал лодку вниз по реке, срезая речные повороты под самыми носами встречных катеров и самоходок. Лодку било на кильватерных волнах, а он даже газу не сбавлял. Возле одного из бакенов он резко взял вправо и помчался по несудоходной протоке. Протока глубоко уходила в материк и где-то внизу вновь соединялась с основным руслом. Берега потянулись лесистые: густые пихтачи в перемешку с осинниками и острова застарелых кедрачей. То было на реке единственное место, куда не дотянулся, не долетел сибирский шелкопряд.

Тимофей встал, рассматривая берега.

— Тьфу, место забыл, — выругался он. — Гляди, сухая елка должна быть, рогатка такая...

— И здесь, наверно, выбрали, — сказала жена. — Городские везде поспеют...

— Нет, сюда не забираются, — Тимофей ехал под самым берегом. — Здесь только шишку бьют...

— А вон лодка стоит! Не забираются...

Под тем берегом, мимо которого на малых оборотах шла моторная лодка рыбнадзора, стоял прогулочный катер «Амур».

— Стоп машина, — сказал Тимофей и выключил моторы. — Это не за колбой... Это, мать, по икру приехали, по черненькую. Тут ее много растет...

И сел, бросив руки на руль. Течение потянуло лодку вдоль берега, разворачивая носом назад. До катера оставалось метров двести.

— Гляди! — прошептала Валентина. — Близко уже...

— Да вижу! — отмахнулся Тимофей и отвернулся от берега. — Пускай ближе... Может, вообще мимо пронесет...

— Знаешь, чего я боюсь? — спросила Валентина. — Уйдешь ты из инспекции и житья мне не дашь. А то пить начнешь... Посули, что пить не будешь.

— Сказал же — не буду!

— Если запьешь — опять девку рожу, понял? — она тихонько засмеялась.

— Только попробуй, — серьезно пригрозил Тимофей.

Лодку подтянуло к катеру; Тимофей взял весло и причалил рядом. С полевой сумкой в руках он ступил на берег и не спеша поднялся, встал на самой бровке, уперев руки в бока. На месте стана шишкарей стояла зеленая палатка, а на длинном столе, покрытом пленкой, двое мужчин в прорезиненных куртках вспарывали осетров. Несколько лобастых уже вспоротых рыбин валялись на куче перепревшей кедровой шелухи. Тимофей спрятал сумку за спину.

— Ну как улов, мужики? — громко спросил он.

Мужчины обернулись, у одного из руки выскользнул нож; машинально поднимая его, мужчина опрокинул тазик с икрой.

— Ничего улов, — приходя в себя, буркнул второй. — А у тебя?

— У меня тоже, — сказал Тимофей и вздохнул. — Нынче так еще не ловил. Думал, уж совсем клевать не будет...

Тот, что ронял нож, выпрямился. Оба браконьера смотрели настороженно, чувствовали опасность... Тимофей неспешно подошел к палатке, поднял ружье, прислоненное к растяжке, разрядил его и с силой запустил патроны в реку.

— Значит, грабите помаленьку? — спросил он, осматривая стан. — Ну как вас назвать после этого?

Он открыл флягу, которую нашел за палаткой: икры было больше половины, уже соленой, без пленки.

— Сволочи вы, — беззлобно сказал Тимофей. — Как вас еще назвать? Средь белого дня...

— А ты кто такой? — задиристо спросил тот, что ронял нож.

— Инспектор рыбоохраны Заварзин Тимофей Васильевич. Удостоверение показывать? — он выдвинул кобуру вперед, расстегнул: удостоверение он всегда носил в кобуре, так надежнее...

На берег поднялась Валентина. Она оглядела стан и, боязливо таращась на вспоротых осетров, подошла к мужу.

— Документы на ружье есть? — круто спросил Тимофей.

Мужчины переглянулись, и Тимофей понял, что документы у них есть, и понял, что браконьеры перед ним с опытом и конечно ничего не покажут, а фамилии и адреса обязательно наврут.

— Валя, отнеси ружье в лодку, — сказал он и подал двухстволку жене. — Я его изымаю! Документов конечно нет.

— Нет, — сказал один из браконьеров.

— Ладно, поверим на слово, — вздохнул Тимофей. — Не выворачивать же вам карманы.

Он отвернул пленку на столе, пристроил сумку и достал бланк. Пусть они хоть заврутся здесь. На борту катера был номер, по которому очень легко установить владельцев...

— Будем составлять протокол, — Тимофей прицелился ручкой в того, что ронял нож. — Фамилия, имя, отчество и все остальное по порядку. Только если врать, то ври быстро и убедительно, а то не поверю. Ну?

Браконьер покосился на палатку, расстегнул куртку — жарко стало.

— А, документы в палатке, — сообразил Тимофей. — Неси, или так скажешь?

— Так, — бросил тот и сел за стол по другую сторону. Второй со вздохом пристроился рядом с ним.

В этот момент вернулась Валентина, села к мужу. Так они и сидели по разные стороны, а между ними лежал огромный выпотрошенный осетр. Тимофей написал протокол, подал браконьерам:

— Подписывать, конечно, не будете?

Оба отрицательно покрутили головами, пожали плечами, мол, зачем? А вдруг еще выкрутимся?

— Тогда так и напишите: от подписи отказываюсь, — предложил Тимофей. — На всякий случай. А то начальство с меня спрашивает, где подпись, где подпись? А где ее взять, если люди не хотят. Верно?

Мужики переглянулись и, пока он заговаривал их, написали про отказ. То была маленькая хитрость, браконьерами еще не освоенная в этих краях, на всякий случай иметь образцы почерков. На российском совещании инспекторов Тимофей слышал, что на Волге и Каспии такие штуки уже не проходят. Впрочем, они и здесь не проходили, если браконьер попадался матерый и прожженный. Прежде чем вручить копии протоколов, Тимофей снес в лодку флягу с икрой, забросил туда осетров и еще раз оглядел берег.

— Тима, поехали скорей, — зашептала Валентина.

Она опять была бледная, под глазами проступили круги.

— Что? Снова тошнит?

— Нет... У них глаза нехорошие, — она вцепилась в рукав. — Погляди, какие у них глаза...

— А ты видала у браконьеров хорошие глаза? — громко спросил Тимофей. — Впрочем, откуда тебе?.. Ты же их живьем, на берегу первый раз видишь. Вот и погляди!

Браконьеры сидели за столом, и осетровая сукровица стекала по пленке одному из них на колени. Тимофей снял скрепки, спрятал оригиналы с копиркой в сумку, а копии положил перед ними, прямо в рыбью слизь.

— Это вам на память, — сказал он. — А сейчас, господа браконьеры, сматывайте удочки и топайте на дорогу. Здесь по прямой километров восемь. А там на попутках в райцентр и прямо в милицию. Чтобы вас не искать. Может, вам это зачтется... Да и невредно прогуляться.

— У нас катер есть, — буркнул тот, что ронял нож.

— Катер я изымаю. Вы читайте в протоколах, там все написано.

Он развернулся и пошел к лодке.

— Я их боюсь, — прошептала Валентина, стараясь держаться ближе к мужу. — Глаза...

— Хочешь, по секрету? — тоже шепотом спросил Тимофей и засмеялся. — Я их тоже боюсь. Всю жизнь боюсь... Как повернусь к ним спиной, так мурашки, так знобит... У собаки да у браконьера не угадаешь, что на уме... Ты садись в лодку.

— Тимоша, там еще один есть, я чую... Будто их трое...

— Где? — недовольно спросил он. — Что ты придумываешь...

На самой кромке стояли те двое браконьеров, безоружные. Однако на всякий случай он передвинул кобуру на живот и отстегнул крышку. Все между делом.

— Тима, — снова окликнула Валентина. — Мне страшно, Тим...

— Ну что теперь? — уже рассердился он. — Ложиться да помирать?

Тимофей выдернул ломик с цепью катера и подвел его к своей лодке. Надо было доставать из багажника буксирный трос. Иначе, привязанный на короткую, катер не выйдет на глиссирование и будет волочиться сзади, как утюг. Намаешься с этим балластом, а дорога до дома дальняя, тем более против течения...

19

Весь день Иона проверял запущенную отцовскую пасеку. Даже его неопытному глазу было видно, что перезимовала она плохо. Возле омшаника стояло более тридцати пустых колодок с дохлыми пчелами; подмором же был выстлан земляной пол омшаника. Оставшиеся шестьдесят семей должны были давно облетаться, сеять и выпаривать детку и нести первый вербный мед. Однако Иона, облачившись в белый халат, просмотрел всю пасеку и везде обнаружил, что детки насеяно мало, меду, кроме прошлогоднего, вообще нет, да и пчелы какие-то квелые, заморенные, даже не жалят. Отец был в Стремянке и на пасеку не появлялся.

— Батя говорил, понос у них, — объяснил Артюша, выглядывая из безопасного места. — А еще в омшаник оборотень залезал...

— Все вы здесь оборотни! — сердито сказал Иона. — Видно, вас понос прохватил, если пасеку до такого состояния довели! Ведь кто увидит — стыдобища!

Он добавил в каждый улей по две рамки с медом, вытряс дохлых пчел из колодок у омшаника и перенес их в склад, затем тщательно вымел пол в зимовнике и свалил подмор в яму. Время еще оставалось, чтобы пройтись с граблями по леваде, поправить прясло, разрушенное,

по утверждению Артюши, медведем, однако Иона заметил на гари каких-то людей с пестрой рейкой и треногой. Он снял халат и направился к ним. Топографы делали нивелировку местности. Иона сразу понял это, поскольку в лесотехникуме изучал геодезию и картографию.

— Здорово, мужики! — сказал Иона.

Топографы кивнули ему, не отрываясь от работы. Иона дождался, когда парень с мерной лентой уйдет к реечнику, и спросил у техника, глядящего в трубу нивелира, из какой они организации.

— Мелиорация, — бросил тот, щуря глаз.

— В честь чего мелиорация-то?

— Не знаю, — техник махнул рукой реечнику. — Мы подрядчики...

Реечник вскинул на плечо инструмент и пошел прямиком в леваду. По-хозяйски перелез через прясло, вбил колышек между ульев и установил рейку. Иона знал, что топографы имеют право ходить там, где вздумается, поэтому смолчал. Топографы попили воды на пасеке и потянули свой ход дальше, через дорогу к шелкопрядникам. Иона взял грабли, однако, прежде чем начать уборку, вырвал колышек и забросил его в прошлогоднюю траву. Не успел он выгрести мусор и с половины территории, как к пасеке подъехал «уазик» с надписью под ветровым стеклом — «Изыскательская». Иона нырнул между жердей прясла, чуть не своротив их, и подошел к машине сбоку, от поленницы дров.

— Хозяин! — крикнул мужчина, облокотившись на калитку. Во дворе брехал Тришка.

Иона выступил из-за поленницы и вдруг узнал приезжего: заместитель начальника облсельхозотдела Мутовкин! Сколько раз встречались с ним и на всяких совещаниях, и на хозактивах, и по производственным делам, когда еще работал директором лесокомбината.

— Здорово, Мутовкин! — громко сказал Иона и засмеялся. Мутовкин оглянулся и вытаращил глаза:

— А ты что здесь, Заварзин?

— Да вот, отдыхаю на пасеке!

— Твоя, что ли? — изумился Мутовкин. — Я гляжу — фамилия...

— Да нет, бати моего, — Иона предложил сесть на бревна. — Приехал, а тут бардачина! Совсем пасеку запустил... А ты откуда здесь?

— Езжу, — усмехнулся Мутовкин. — Персональное поручение сверху... Сколько у отца пчелосемей? — он раскрыл папку.

— А! — отмахнулся Иона. — Нищета! Шестьдесят... У других вон по две с половиной сотни.

— Знаю-знаю... Что же делать будем, Заварзин? Как запишем?

— А в чем дело?

— Не слышал?.. Да, ты же сейчас в чермете, на планерки туда не ходишь, — Мутовкин показал пальцем в небо. — Решено организовать племенной пчелосовхоз. А частникам разрешили держать только по пятьдесят семей и ни улья больше. А лишние купит совхоз. Вот я и переписываю лишние для скупки.

— Да запиши ты полсотни, и дело с концом, — Иона заглянул в папку. — Тут хватит у кого купить.

— Знаешь, не очень-то хватит, — возразил Мутовкин и все-таки вывел в ведомости цифру «50». — Мужички здесь хитрые, на кривой козе не подъедешь. Пасеки на сыновей, на зятьев записаны. Попробуй отыми... Пока у одного только лишние нашел. У Сиротина.

— Знаю, — бросил Иона,—слушай, а что тогда здесь мелиорация ходит? Недавно ихние топографы шастали.

— Ой, не говори! — отозвался Мутовкин. — Скандал идет... У мелиораторов плана не хватало, вот они себе и придумали фронт работ. Министерство спустило освоить на гарях десять миллионов. А нефтяники задумали себе подсобное хозяйство. Короче, сам черт ногу

сломит. Разбираются, а поладить не могут... Ладно! Поеду дальше! Хочу все пасеки объехать сегодня.

— Пойдем, я тебя хоть медом угощу, — предложил Иона. — Или медовушки достану?

Мутовкин подумал, усмехнулся:

— Мне на каждой предлагают, да не угощаюсь. Разговоров потом не оберешься...

— Господи, мы-то с тобой?.. Возьми, хоть жену угостишь, ребятишек.

Иона принес несколько рамок с медовыми сотами, вдвоем они пристроили их в ящике за задним сиденьем и стали прощаться.

— Будешь еще — заезжай, — сказал Иона. — Старым товарищам всегда рад. На выходные заглядывай...

Мутовкин сел в машину, а он стоял и вспоминал, что что-то еще не сказано, не завершен какой-то разговор, забыт важный штрих, какая-то деталька, наподобие шурупа, который бы скрутил все воедино.

— Да! — озабоченно воскликнул Иона. — Слушай, Мутовкин. А ты ведь необязательный и непорядочный человек. Даже хуже: трепло ты, и вся ваша контора такая.

— Что такое? — изумился Мутовкин.

— Сельхозтехника еще за прошлый год со мной не рассчиталась! И нынче только десять процентов от плана! Куда годится?

— Какого плана?..

— По сдаче металлолома! — отрезал Иона. — Ждете, когда он проржавеет? Или давно нагоняя не получали?

— Сельхозтехника — не мое ведомство! — совладав с собой, отрубил Мутовкин. — Что ты на меня-то?

— А колхозы? А совхозы?

— Да ладно, Василич, — поморщился Мутовкин. — Сдадут к концу года...

— Ну гляди, Мутовкин! — Иона захлопнул дверцу. — Последний раз поверю!

Глядя из-под ладони с кучи бревен, он проводил «уазик» и засобирался. Был договор встретиться с дядей Сашей Глазыриным, а ехать на велосипеде до Стремянки целый час да потом еще в Запань. Он переоделся в костюм, наказал Артюше смотреть за пасекой и выкатил со двора спортивный велосипед.

В Запань прикатил, когда солнце опускалось за самый дальний горизонт и мачта радиостанции на крыше дома Кати Белошвейки стала малиновой, как разогретый в горне стальной прут. Дядя Саша заводил желтый милицейский мотоцикл и, похоже, торопился.

— А, Василич! — обрадовался он, но лицо оставалось сосредоточенным. — Меня срочно вызвали, за паромом начальник ждет. По рации передали...

— Ну как? — не выдержал Иона. — Что хоть говорит?

— Потом все расскажу. Ты пока с ней сам, сам потолкуй, — мотоцикл наконец ожил, заурчал недовольно, как разбуженный кот. — Тут братуха твой пропал, вместе с бабой. Застрял, что ли, где...

— Какой? Кто?

— Да Тимофей! — он сел в седло, с хрустом врубил скорость. — Я скоро! А ты забрось удочку. Катя сейчас вернулась, дома.

Иона притулил велосипед к забору и пошел в домик. В домике у Катерины было опрятно, прибрано: выбивные чехлы на мебели, кружевные подзоры на двух кроватях и кругом комнатные цветы в горшках, старых кастрюлях и даже в консервных банках из-под болгарского зеленого горошка. Они стояли на подоконниках, на столе, на специальных скамеечках и на стенах, подвешенные на капроновых шнурах. Пожалуй, здесь было все — от простой герани до каких-то мохнатых африканских кактусов. Среди цветов стояла рация, и ее зеленый глазок светился сквозь листву.

Катерина каждый день в один и тот же час передавала сведения по уровням воды в реках, и когда Иона вошел, она сидела с наушниками и микрофоном в руках.

— Ты когда Тимофея видел? — сорвав наушники, спросила она.

— Девятого, — сказал Иона. — Ночью с Серегой уехал... Когда он пропал-то?

— Сутки назад должен был вернуться, — Катя прижала один наушник к голове. — За колбой с Валей поехали...

Иона присел на край зачехленного стула, огляделся. Был момент, когда он чуть-чуть не женился на Катерине. В то время он уже работал в городе и встретил ту Катерину, вторую. Они отнесли заявление во дворец бракосочетания и ждали, готовились к свадьбе, но на душе у Ионы лежала какая-то холодная тоска. Чем меньше оставалось дней холостой жизни, тем чаще вспоминалась Катерина-первая. И не выдержал он, втайне от невесты поехал в Стремянку, в самую непогодь глубокой осени. Добирался на попутных машинах, на подводах и пешком. Катерина-первая только что вернулась из города в деревню и еще не прижилась, еще не носила прозвище Белошвейка. Похоже, ей было очень тяжело и холодно в Стремянке. В жаркой горнице она постоянно кутапась в белую вязаную шаль, и глаза ее вдруг стекленели, словно схваченные ледком. Иона тогда встал перед ней на колени, взял за руку:

— Выходи за меня! Пропаду ведь!

Она положила ему другую руку на голову и стала гладить по волосам — бережно как-то, легонько.

— Я тоже пропаду... Не могу привыкнуть в Стремянке.

— Ну а в чем же дело? Нам же не по семнадцать лет!

Катерина-первая неожиданно сдалась, скинула шаль, взмахнула ею:

— Была не была! Святая душа — к святой, а пропащая — к пропащей! Завтра же идем в сельсовет! К твоему отцу! Пускай венчает!

До завтра он едва дожил. Ночь не спал, отца заставил заполнить акт регистрации, сам уже расписался в нем и вытребовал у бати родного свидетельство о браке, спрятал в карман. А наутро он пришел к Катерине и встретил лишь ее отца, Егора Егоровича — морщинистого, с дребезжащим голосом старика.

— Где Катерина? Пускай бежит в сельсовет, распишется!

И показал свидетельство.

— Катя сказала — не пойдет за тебя, — продребезжал несостоявшийся тесть. — Говорит, не пропащая я, не пропадаю еще...

Целый день он как помешанный ходил по селу, искал ее, но так и не нашел. Уже потом узнал, что Катерина пряталась от него... в сельсовете, у секретаря в комнате. Иона уехал, женился на Катерине-второй, но свидетельство о браке с Катериной-первой хранил. Отец требовал — отдай! Это же бланк строгой отчетности! Как я спишу его? Зачем тебе это свидетельство? Все равно выписано незаконно, липа! Но потом и отец отстал, видимо, списал-таки, ухитрился...

Из-за этого же свидетельства начался раздор с Катериной-второй: рылась однажды в старых пачках писем и всяких бумаг и нашла. Что тут поднялось! Ревность — чепуха! Грозилась за многоженство привлечь и отца упрятать вместе с ним...

— Ты дома-то не был? — спросила Катерина и выключила рацию.

— Я на пасеке живу, — проговорил Иона. — С отцом конфликт вышел... Да еще и Алешка этот впутался... Пока там... Пасека запущена, все делать надо. Отец-то — сама видишь — какой стал.

— Все уже передумала, — Катерина выдернула из шкафа ту самую вязаную шаль, набросила на плечи и встала у окна, глядя на реку. — Может, мотор сломался? С лодкой что? Или с Валентиной... Теща его говорит, плохо чувствовала себя последнее время. Скорее

всего, беременная... Или с Тимкой? Влез куда-нибудь. Характер-то у него...

— Характер у него — да, — протянул Иона. — В каждой бочке затычка. Один раз ко мне ветеран пришел, уважаемый человек, орденоносец. Родом из наших мест... Поехал отдохнуть, а Тимка поймал его, сети отобрал, рыбу, лодку и ружье! Чуть штаны не снял!.. Я понимаю, он на должности, Тимка-то. Дело серьезное. Но ведь надо уважение к ветеранам иметь!

— Слушай, Иона, — спохватилась Катерина. — А не мог он поехать к материной родне? У нее родня где-то внизу живет? Двоюродный брат? Ну, дядя ваш?

— А что, не мог? Мог! — поддержал Иона. — Уехал к родне да загулял! Выпить-то он не дурак. Любит! Особенно на дармовщинку... Так вот, говорю, надо же глядеть, кто перед тобой. Не всех же под бритву... Он воевал, кровь проливал, а тут на своей родине, можно сказать, раздели. Еще ведь штрафу триста пятьдесят рублей выписали! А человек на пенсии, откуда взять?.. Надо же понимать! Я Тимке говорю, объясняю: не маленький же, пора разбираться в людях. А он, знаешь, что мне ответил?..

— Ты зачем приехал-то? — вдруг спросила Катерина. — Уж не свататься ли? А то ко мне дядя Саша подъехал, толкует про тебя...

— Зачем тебя сватать, когда ты — моя законная жена! — засмеялся Иона и достал свидетельство о браке. — Видала?

— Дай-ка сюда, — она протянула руку. — Погляжу.

— Э, нет! — Иона спрятал бумагу. — Когда сходишь в сельсовет, распишешься — тогда и отдам. Насовсем.

Катерина вдруг потеряла интерес и снова встала у окна. И глаза ее остекленели, как тогда...

— Катя, — позвал он. — Катерина Егоровна?

— Ты знаешь, я вспомнила, — она повернула к нему испуганное лицо. — В то утро, как ему из Стремянки уехать, курица у вас петухом заорала! Это такая плохая примета... И чувство какое-то было... Господи, уж не... — она замолчала, закуталась в шаль. — Тьфу-тьфу-тьфу... Народ-то по реке какой... Как у себя дома...

На улице зарокотал мотоцикл. Катерина, а за ней и Иона вышли на улицу. Дядя Саша Глазырин снял шлем, бросил его в коляску.

— Дяде его не звонили? — спросила Катерина.

— Будут звонить, да туда дозвониться-то — съездить проще, — пробормотал дядя Саша. — Не было печали — черти накачали... Я думаю, они там, у дяди. Раз собрались в Стремянку переезжать, поехали сообщить. Ладно, утро вечера мудренее...

Катерина ушла, и замысловатый узор вязаной шали запечатлелся в глазах Ионы, как солнечное пятно, если долго на него смотреть.

— Побеседовали? — спросил дядя Саша.

— Так, неопределенно, — пробурчал Иона. — Конкретно не успели.

— Никуда она не денется, — уверенно бросил Глазырин. — Поломается для виду и пойдет. Ей без этого никак нельзя. Гордая она женщина. И себе цену знает... Думаешь, зря к вам ходит? Моет, стирает там? Нет, брат, не зря. Я ихнюю породу знаю!.. Куда он делся, за ногу его? Ну, паразит, если у дяди загулял, я ему дам! Он у меня справит переезд!

Дядя Саша Глазырин когда-то был участковым в Стремянке и заварзинских ребят знал как облупленных. Тому же Ионе, несмотря что он председательский сын, самолично драл уши, когда он с другими ребятишками откручивал трубки в тракторах на самопалы.

— Характер у Тимки, — вздохнул Иона. — Схлестнулся, поди, с браконьерами, и...

— Да не должно... Ты не гляди, что он—парень-ухарь. Вообще-то он осторожный, все взвесит, все осмотрит... Тем более с женой ехал...

— дядя Саша расстегнул китель и выпустил на волю брюшко. — Это как же растравить надо, чтоб он в драку кинулся? Чтоб осторожность потерял?.. Нет, он ученый уже, стреляный воробей.

— Темнеет, поеду, — Иона оглянулся на окна Катерины. — Дорога плохая...

— Ты что, с отцом поскандалил? — неожиданно спросил дядя Саша. — Отец на тебя сильно сердитый. Прямо слышать не хочет.

Иона наклонился к нему, словно примериваясь, помолчал, пожевал губу.

— А хочешь знать, почему? Я, дядя Саша, человек прямой, и скажу откровенно, — он сделал паузу. — Батя-то мой на Катерину посматривает! Только между нами... Я чувствую.

— Брось ты! — замахал руками дядя Саша Глазырин. — Он же старше на двадцать лет! Тоже, нашел...

— Вот тебе и брось. У меня нюх на это дело. Я по глазам человека вижу, чем он дышит, — Иона оседлал велосипед. — Сам иногда удивляюсь... В том и дело, что старше. Из ума выживать начал. Он как-то сказал мне на пасеке, мол, гляди, за Катерину башку оторву. Я все и понял. Глаза человека выдают. У меня вообще подозрение: не больной ли он? Знаешь, дядь Саш, я таких нездоровых людей видел...

— Перестань, — засмеялся Глазырин. — Ему лет сто износу не будет.

— Поживем—увидим, — дипломатично сказал Иона.

... Утро на пасеке было дремотным и тихим. Как в разгар бабьего лета откуда-то взялась паутина в прозрачном воздухе: то ли с прошлого года осталась, то ли невидимые в гарях паучки, проснувшись от зимней спячки, перепутали все на свете и натянули новую, не в срок, не в сезон...

Тихое было утро. Лишь где-то далеко в шелкопрядниках со свадебным азартом перестукивались дятлы, подзывая к себе целомудренных самок и отпугивая соперников.

Иона проснулся с ощущением беспокойства. Артюша, разложив чертежи, ползал на полу и что-то рисовал красным карандашом; солнечные пятна лежали на стенах, золотился мох в пазах между бревен, и лишь широкий печной зев глядел черно и нездорово. Иона вспомнил о Тимофее, затем о Катерине, об отношениях с отцом, наконец о своей работе на складе чермета, но причины неприятного предчувствия не понял.

— Ты пасеку смотрел? — спросил он Артюшу. — Все в порядке?

— Так точно! — по-военному бодро доложил Артюша. — Я как оборотня стрелил, так он нигде больше не показывается.

Когда Иона встал, позавтракал и прошелся по леваде, утреннее беспокойство ушло, растворилось в других мыслях, в других чувствах и заботах. Точно так же растворялось ощущение запахов и света, особенно острое утром. Он взял грабли и начал доделывать вчерашнюю работу, однако его опять от нее оторвали. На сей раз к пасеке подкатила «Волга», точно такая, как у отца, и Иона насторожился.

— Ага, ты здесь, Василич! — обрадованно воскликнул Сергей Петрович Вежин. — Прекрасно! У меня к тебе дело!

За ним выступал незнакомый, чем-то озабоченный парень.

— Что такое? — Иона пожал руки обоим. — С утра пораньше...

— Знакомься вот, — бывший учитель кивнул на попутчика. — Виктор Васильевич Ревякин. Его ваш Сергей знает, бывал... Понимаешь, в чем дело: вчера явился к нему деятель из области и полторы сотни колодок описал...

— Мутовкин, — усмехнулся Иона.

— Да, — ухватился Вежин. — Он вчера проговорился, что знает

тебя. Слушай, помоги парню! Этот Мутовкин сейчас в Стремянке. Понимаешь, Виктор только на ноги поднимается, а тут...

— Не могу, Сергей Петрович, — Иона развел руками. — Закон есть закон. Если решено, то не нами, в верхах...

— Но ведь вам-то он полсотни записал! — напомнил Вежин. — А у Василия Тимофеевича сто колодок, и все на него в сельсовете записаны.

— Каких сто? — Иона сплюнул. — Шестьдесят осталось, сходи посчитай...

— Иона, ты пойми, это соседское дело, — заговорил бывший учитель. — Я знаю, что ты в Стремянке остаешься, вам вместе жить. Надо помогать друг другу. Ладно, ты Виктора не знаешь, но меня-то? Ты мне помоги, я тебя прошу.

Иона сел на бревна, отвернулся, разглядывая новенькую машину. Приехавшие ждали.

— Эх, ради вас только! — решился Иона. — Как своему учителю... Вам отказать не могу. А Мутовкин — мой должник. Я его наизнанку выверну.

— Ну вот! — воскликнул Вежин и пожал Ионе руку. — А ты беспокоился, Виктор Васильевич. У нас народ пропасть человеку не даст.

— Спасибо! — сдержанно произнес Ревякин и тоже пожал руку.— Сергея-то нет здесь? Он хотел ночевать у меня, да что-то уехал. По-английски.

— Ученые! — засмеялся Иона. — У них у всех немного сдвиг по фазе!

— Слушай, а что с пасекой-то? — спохватился Вежин. — Что так плохо перезимовала?

— Что... Присмотра не было! Батя-то мой — сами знаете: на дурачка пасеку бросит, а сам...— Иона возмущенно мотнул головой.— Я же в ней мало смыслю! Говорят, опоносились...

— Падевый мед попал, — определил Ревякин.— Но ничего, ты бери ее в руки, если отец не хочет, а мы тебе поможем. И научим, и натаскаем по всем статьям.

— Пойдем, глянем, — предложил бывший учитель.— Василий Тимофеич в Стремянке?

— И не показывается даже, — отмахнулся Иона и повел приезжих на пасеку.— Там Тимофей куда-то пропал еще...

— Стоп, так дело не пойдет! — остановил Вежин. — Сразу привыкай к порядку. На пасеку заходить только в белом халате. Есть у тебя халаты? Неси!

Иона принес три халата, помог завязать гостям тесемки. Бывший учитель попросил показать ульи, где пчелы пропали совсем. Иона повел их в склад и по пути получил еще одно указание — смести и сжечь весь подмор, а не бросать его в яму. Иначе будут распространяться болезни. В складе он показал несколько ульев, сложенных вчера, с треском отодрал с одного положок. Пчеловоды склонились над ним, начали вытаскивать и рассматривать рамки; Иона тоже сунулся к улью, но лишь наблюдателем. Вежин сгреб что-то со дна улья, поднес к глазам, и Иона увидел, как затряслись его руки, а лицо пошло пятнами. Ревякин тоже нагреб какой-то трухи в ладонь и дернул плечами.

— Что? — тихо и недоуменно спросил Иона.

— Якобсони, — одними губами вымолвил Вежин и бросился в леваду. Он скинул крышку с улья, не опасаясь, сорвал и откинул положок, а Ревякин тем временем ловил живых пчел, рассматривал их и хлопал глазами.

— Что? — опять спросил Иона. — Вы что, мужики?

Его не слушали и не замечали. Вежин, как медведь, разорив один улей, кинулся ко второму, потом к третьему. Иона едва успевал за ним

поправлять положки и надевать крышки. Приезжие лишь перекинулись взглядами и как по команде устремились к своей машине.

— Мужики! — закричал Иона, догоняя. — Вы что, в самом деле? Шарахаетесь, как медведи!

— Что?! — сдирая халат, спросил Вежин. — А ничего! Варроатоз на вашей пасеке! Клещ! Хозяева, в душу...

Он прыгнул в машину, где уже сидел Ревякин, однако тут же выскочил назад, охлопал себя, вытряс пиджак, а носки снял и забросил в траву. То же самое проделал и его попутчик. «Волга» умчалась, а Иона все стоял и думал. Это каркающее слово — варроатоз — абсолютно ничего ему не говорило...

20

Новое возрождение Стремянки началось в середине пятидесятых, когда наконец-таки бросили мучить худую землю и открыли леспромхоз.

За войну бабы с ребятишками вырезали лучковыми пилами лишь сосновые боры по материковым увалам, смахнули березовые рощи да слегка прихватили каемки тайги. Настоящее же сокровище лежало глубже, в самых недрах черной тайги. Спелые прогонистые пихтачи, густые, как ядреный лен, звенящие под топором ельники и лопавшиеся от зрелости кедры покрывали площадь в сотни тысяч гектаров. Рубить не перерубить, валить не перевалить!

В первый же год пригнали столько техники и такой, что стремянские-то и в глаза не видывали. Разумеется, кроме фронтовиков. Артиллерийские тягачи, легкие танки без башен, снятые с вооружения «Катюши» (направляющие для ракет срезали уже на месте), трелевочные трактора, лебедки и даже паровозики-кукушки, поскольку начали строить узкоколейки для вывоза хлыстового леса. Наконец поставили локомотивную станцию, и Стремянка впервые увидела электричество. Буквально за два года бывшие вятские переселенцы поднялись так высоко и заговорили так громко, что услышали их во всей области. Оголодавшие по полезной работе мужики навалились на тайгу, как некогда наваливались на нее, чтобы отнять плодородную землю. В каждой избе жило по стахановцу, а то и по два-три; ордена и медали словно дождем сыпались. План удваивали ежегодно, а его все-таки перевыполняли, но лес брали не весь подряд, только его сердцевину — кедр. Тогда же и построили стремянский сплавной рейд, от которого сейчас осталась Запань с рабочими-сезонниками. Устье реки перетянули бонами, однако в первый же год запань сорвало и весь заготовленный за зиму лес ушел, расплылся по судоходной реке. На следующий год поставили новую, прочную запань на тросах в руку толщиной, но порвалось в другом месте. Нижний склад валил лес на лед. Штабеля из кубатуристого кедрача проломили его, вмерзли, запрудив реку. Хлынувшая через эту плотину вода намерзла высокими торосами, и, когда началось половодье, ниже Стремянки встал мощнейший затор. Половодьем затопило высокую пойму, а потом и село. Ледово-деревянную плотину пробовали рвать аммоналом и, наконец, вызвали военные бомбардировщики. Чуть ли не сутки стремянские жители, которые теперь сидели на крышах вместе со скотом и ездили по селу на обласках, слушали, как сотрясается земля, и смотрели, как пикируют на затор самолеты и как после них далеко по округе разлетается истерзанная взрывами кедровая древесина и свистящий в воздухе лед. Пока пробивали затор, весь лес, заготовленный Яранским участком, расплылся по лугам и брошенным затопленным полям, а когда пробили и вода резко упала — остался лежать по кустам, озерам, болотинам и просто тут и там по земле. Тот, что был ближе к реке, сплавщики зачистили; остальной так и остался гнить, забитый в гиблые, непролазные места. Кое-где возникли целые улицы и площади, замощенные кедровым ле-

сом полутораметровой толщины. Только вот никто не ходил по этим улицам и площадям. Разве что забредшие сюда лоси ломали ноги. Со временем между бревнами начала пробиваться тонкая, худосочная трава и вездесущий тальник.

На третий год сплав наладился, однако все равно, как только случалась большая вода, лес разносило по затопляемой пойме и сверх старых «мостовых», вросших уже в землю, полусгнивших и от этого неплавучих, мостились новые.

А Стремянский леспромхоз, между тем, достиг наивысшего расцвета. Уже свыкнувшись с тем, что он дает кедр, теперь и спрашивали только его. Пришло время, когда из-за кедровой древесины некогда безвестную Стремянку стали знать во всей стране и даже за границей. Леспромхоз целиком работал на карандашную фабрику, открытую в областном городе. Однако сама фабрика карандаша выпускала немного, а больше делала полуфабрикат — карандашную дощечку, которую поставляла всем остальным фабрикам страны и за рубеж. Поначалу стремянским это было чудно и непривычно: как это, у нас тут дерево выросло, несколько столетий стояло под нашим солнцем, дышало нашим воздухом, родило орех, а теперь его распилили, развезли по всей земле, и какой-нибудь немецкий или японский мужик держит в руках карандаш, строгает его и даже не подозревает, что держит-то частичку нашего солнца, воздуха и земли. Все было интересно и чудно́ поначалу. Но любой подобный восторг и умиление улетучивались, едва лишь стоило заглянуть поглубже в прибрежные кусты и захудалые, давно отсохшие от реки старицы, где прела и гнила эта бесценная древесина. Если где-то на лугах приходилось спрямить путь через заросли, то можно было заблудиться в лабиринтах завалов из толстых, осклизлых сутунков. Их пробовали выкатывать, вытягивать лебедками и тракторами, но трелевочники тонули в болотинах, рвались тросы, поскольку лес в половодье замывало в землю. Через пять лет неустойчивый к сырости кедр прогнивал до самой сердцевины, и бревно превращалось в красные комья, которые рдели вокруг, словно горящие угли. И если кто тер в пальцах эти комья, то на землю сыпалась красная мука...

Потом и вовсе не стали возиться с расплывшимся по пойме лесом. Испортив тракторами луга, сплавщики больше не трогали его и скатывали то, что лежало у воды. Остальное, чтобы спрятать от чужих глаз, прикрывали срубленным тальником, присыпали землей — лишь бы нынче никто не заметил, а на будущий год за него уже отвечать некому: начальники лесосплавов менялись, как рукавицы. Лесорубы же попрежнему перевыполняли увеличенные планы, получали премии и звенели орденами, наряжаясь к частым торжествам.

Виноватых не было. Леспромхоз отвечал за лес, пока не вывозил его на нижний склад и не скатывал в реку. Лесосплав считался другой организацией и все сваливал на стихию половодья.

Во время войны, когда в Стремянке был леспромхоз, и заготовкой, и сплавом занималась одна организация — бабы, старики и ребятишки. Лес на плотбище увязывали в маты черемуховыми вязками, и эти многоярусные пачки, похожие на огромные избы, с рулем и дощатой будкой наверху, плыли каждую весну одним длинным караваном под предводительством лоцмана. Не пропадало ни одного бревнышка. И не дай бог какой-нибудь, сопливый еще, рулевой, зазевавшись, посадит мат на мель, и не весь лес тогда придет в запань. Спрашивали по военным временам жестоко, причем не с мальчишки — с директора леспромхоза Алешки Забелина. Потому Алешка усаживал за весла дощаника двух женщин-гребцов и собственнолично плыл с матами до самой запани. И если случалось, что мат садился где-нибудь на косе, поднимался всеобщий аврал. На берегу ставили ворот, разматывали веревки и на руках, через хлипкий, вовсе не приспособленный для этой цели пуп баб и парнишек, стягивали мат на глубоководье.

В процветающей послевоенной Стремянке считалось, что есть на свете всего два больших начальника — директор леспромхоза Солякин и очередной начальник лесосплава. А между ними, на несколько голов ниже, стоял третий — председатель сельсовета Василий Заварзин. У первых двух в руках власти не было, зато было все остальное — техника, люди, магазины, узкоколейные дороги, катера и электричество. Но главное: у них в руках были деньги. Заварзин же не имел ничего, кроме власти да сельсоветского штата из двух человек. И этот маленький неимущий начальник стал костью в горле у двух больших. Сначала он уговаривал их не сорить лесом, не рубить лишнего, если все оно прахом идет, однако от председателя отмахивались, отшучивались разгоряченные лесорубным азартом. Дескать, ты за своим хозяйством приглядывай, чтоб тротуары в селе были, чтоб улицы подметали и чтоб жители не нарушали общественного порядка.

И лучше бы они этого не говорили. Заварзин был еще молод, но всегда считался человеком степенным, не громким и уж во всяком случае не драчливым. Тут же его словно током пробило. Не долго думая, он собрал исполком и большинством голосов вынес решение, подобного которому не выносил, пожалуй, ни один сельсовет: прекратить всякую рубку на территории сельсовета и молевой сплав по реке до тех пор, пока вся пойма не будет очищена от брошенного и гибнущего леса. Против голосовал только депутат Солякин, и слишком громко возмущался не имеющий голоса очередной начальник сплавконторы. Оба больших начальника заявили, что решение это — дуболомство, неграмотность и непонимание текущего момента современной политики и экономики. И вообще, мол, ты, Заварзин, не имеешь права останавливать работу двух таких организаций и много на себя берешь. Заварзин достал документ, где говорилось, что сельский Совет имеет право на контроль всей общественной и хозяйственной деятельности по всей территории, ему принадлежащей. Соначальники Стремянки послали бы его с этим документом подальше, если бы он не был подписан самим Лениным. Смолчали, а на решение исполкома плюнули и пошли рубить и сплавлять лес. А вместе с ними и депутаты, которые только что проголосовали за решение.

— Что вы делаете, мужики? — взывал председатель.— У вас совесть еще осталась или нет?

— А что делать, Тимофеич? — жаловались депутаты. — Надо же семьи кормить. Мы же к тебе работать не пойдем!

Через день Заварзина вызвали в райисполком, мягко пожурили, решение отменили, а леспромхоз и лесосплав оштрафовали на сумму, за которую можно было купить сотни две простых карандашей. Сначала, в сердцах, председатель хотел выложить на стол сельсоветскую печать и пойти самому наняться к одному из больших начальников трактористом, чокеровщиком или, на худой случай, с багром лес толкать. Однако поостыл и нашел себе соратника — учителя Вежина. Рассудительный Сергей Петрович предложил ехать к председателю совнархоза Егорке Сенникову, который командовал обоими большими начальниками. Но ехать не пришлось, поскольку Егорка сам пожаловал на родину, вручать знамя ударникам-лесорубам. Под видом рыбалки они зазвали Сенникова на реку, затащили в кусты и показали гниющий кедр.

— Помнишь, ты меня за двадцать гектаров овса чуть не посадил?— спросил Заварзин.— Мы тогда с председателем колхоза овес убрали. Теперь и ты лес убери. Иначе посадим.

Егорка лишь рассмеялся, сказал, что это естественные потери, стихия, и пошел удить рыбу. Правда, посулил снять начальника сплава.

По молодости Заварзин, видно, и в самом деле много брал на себя. Посадить Егорку, конечно, не удалось, не те времена были уже, когда за бесхозяйственность расплачивались начальники. Вместе с Вежиным они написали письмо в Москву да еще сфотографировали при-

сыпанный землей лес, забитые кедрачом озера и старицы, деревянные мостовые на болотах и гати из кедра, сделанные лесорубами. Но письмо почему-то оказалось у Егорки Сенникова. Заварзина вызвали в район, сказали, что он сводит счеты с председателем совнархоза, мстит ему за старые справедливые требования и поэтому не может возглавлять сельсовет. Скоро собрали исполком и начали выбирать нового председателя. Выбирали четыре дня, но выбрать никого, кроме Заварзина, не смогли. Депутаты — стремянские и яранские мужики, те самые лесорубы и сплавщики,— несмотря на присутствие районного начальства, горой стояли за Василия. А он их крыл на чем свет стоит.

— Снимайте меня! Не хочу я с вами! Вы совесть потеряли!

Его оставили председателем и раззадорили еще больше. Вежин вновь отпечатал с негативов фотокарточки, взял с собой письмо, подписанное несколькими депутатами, и поехал в Москву сам, на сей раз в газету «Правда». Не успел он вернуться, как в Стремянку хлынули всякие комиссии и уполномоченные. Заварзин едва успевал водить их по лесосекам и мощеным болотам. Егорку Сенникова скоро сняли и отправили на пенсию (после чего он и перебрался в Стремянку), директора леспромхоза перевели начальником Яранского участка и поставили нового начальника лесосплава.

Однако кубатуристые кедровые сутунки как расплывались по прибрежным чащобникам и болотам, как гнили там, так и продолжали гнить. У Заварзина же появился еще один соратник — Егорка Сенников! Только он, экономически образованный, глядел глубже, мыслил на государственном уровне и болел за государственные интересы.

— Василий! Ты не с тем борешься! Надо, чтобы кедр за рубеж не вывозили! — доказывал он. — Мы должны продавать им карандаши, а не дощечку! Полуфабрикат вывозят только из колоний! А мы что, колония? Недоразвитая страна?.. Лучше бы веревки вили, чем тайгу трогали! Я всегда говорил, нельзя нам лес брать, не доросли еще, не умеем распоряжаться! Еще бы полста лет постоял, пока бы мы не поумнели.

И Заварзин про себя с ним соглашался. Тогда многие соглашались с Егоркой Сенниковым и косились на баламута Алешку Забелина: он ведь Стремянку на лес толкал, он народ подогревал. Как бы там ни было, а болело крестьянское сердце при виде гниющего добра. Двумя руками губили сами это добро и одним сердцем жалели. Непривычное было дело — лес, не приросла еще к нему душа, как приросла она к земле. Хуже того, лес для землепашца, начиная с древних времен, всегда считался врагом. И валили, и корчевали, и жгли его бессчетно...

Но как ни зорили тайгу, как ее ни вгоняли в землю, отпуская по этому поводу шутки, мол, не пропадет, через тысячу лет превратится в каменный уголь, — а лесу все-таки было много, очень много. Глядишь, еще бы на одно поколение хватило, которое наверняка было бы разумнее прежнего и сумело бы распорядиться сокровищами иначе. Люди привыкли бы к лесу как к кормильцу своему. Поняли бы, что о нем тоже надо заботиться. А пока на него глядели, как когда-то глядели на приисковое золото: блестит, да не мое, хозяйское. Так гори оно синим огнем, лишь бы сезон скорей кончился и расчет получить. И неизвестно, чем бы кончились старания имущего власть, но безденежного председателя сельсовета, если бы не обрушился на тайгу сибирский шелкопряд.

Три года бушевал зеленый пожар. Миллионы гусениц, величиной с мизинец каждая, облепив кедровую крону, на глазах догола раздевали дерево. Зеленая гусеница поднималась на задние лапки и буквально загоняла в себя длинную хвоинку, тут же ее выбрасывая на землю в виде зеленой дряни. Кедры, ели и пихты шевелились, как живые, и если смотреть издалека, то казалось, ничего и не происходит. Но едва с дерева сползала зеленая лавина, как оно становилось мертвенно-черным

и страшным. Гусеница вырастала, окукливалась и скоро вылетала бабочкой, серой и ничем не примечательной. Порхала себе по деревьям, ничего не ела, не губила и лишь сеяла бессчетное количество невидимых простым глазом яиц.

И все три года тайгу посыпали с самолетов единственным тогда средством — дустом. От дуста передохло все живое, кроме шелкопряда. И если раньше хоть птицы склевывали гусениц сколько могли, то теперь их никто не тревожил. Пожар смогла погасить только сама природа. Дождливой осенью яйца шелкопряда вымокли, а суровой зимой вымерзли, но стремянская тайга уже стояла черная и весной первый раз попробовала гореть.

Еще года три леспромхоз рубил лес, пока он не высох на корню и не стал годиться только на дрова. Почуяв благодатное место и время, в сухостойной тайге расплодилось великое множество подкорника и жука-древоточца. В тихую погоду шелкопрядник скрипел и трещал, раздираемый изнутри невидимыми насекомыми, а в ветреную по мертвой тайге стоял мощный гул от падающих деревьев, и не дай бог было попасть сюда в лихую непогодь. На что уж зверю колодник да сухостой не в диковину, но и он, чуть заволокет небо и потянет хмарь с севера, из гнилого угла,— старается обойти стороной, по гарям, по болотным чистинам или уходит в живые леса. А стремянские жители и вовсе не ходили сюда в любую погоду. Ветром так накрестило сухостой, такие заплоты подняло — до смерти можно плутать в лабиринтах. Еловый валежник что колючая проволока — не перескочить, тем более в сырую погоду и ногой не ступишь: подгнившая изнутри кора лежала на стволах, как на мыле. До пожаров в шелкопрядниках пахло дустом, пихтовой смолой, прелью и вонючей травой из семейства зонтичных, единственно растущей в темных, сырых трущобах. Но потом начались пожары, и все кругом, даже сама Стремянка, так прокоптилось дымом и провоняло гарью, что напрочь улетучился некогда неистребимый и приятный дух свежераспиленного кедра...

После закрытия леспромхоза в Стремянке было великое запустение. На зарастающих осинником вырубках, на обочинах лесовозных дорог, а то прямо среди шелкопрядников, будто каменные останцы, стояла побитая, искореженная техника; гнил в штабелях заготовленный, но так и не вывезенный лес-дровяник; стремянское депо напоминало паровозное и вагонное кладбище. Бурый цвет ржавчины как бы перекидывался на лес, охваченный бурой гнилью, на землю, заваленную гниющими опилками, сучьями и щепой. По узкоколейкам теперь бабы ходили за малиной, да изредка бродил по ним привыкший к запаху железа, молодой, но уже стреляный медведь.

Яранка не выдержала и двух лет, разъехалась, но стремянские еще держались, еще ждали чего-то, хотя надежды, что эта земля может и способна плодоносить, не было. Летом работы находилось прорва — тушили пожары и опахивали живые леса, однако зимой жизнь замирала. К тому же увезли куда-то локомотив и, чтобы поторопить с выездом жителей неперспективного села, закрыли магазин и клуб. На третий год, когда упрямые вятские переселенцы все-таки остались и посадили огороды, обещали закрыть школу. Это было самым больным местом Стремянки. Уж без школы-то не высидишь, интернатов близко нет, а ребятишек надо учить.

Тогда-то Вежин взял с собой председателя сельсовета Заварзина и поехал в область. Насидевшись в приемных, они переругались со всем начальством, которое смогли увидеть, и вернулись ни с чем. Зато Вежин привез телевизор — диковину для того времени. Купил за свои личные деньги, но поставил в закрытом клубе и стал сооружать антенну. Первая мачта была всего метров пятнадцать. Глянуть на чудо собралось все село. Запустили старенький тракторный дизель, который теперь давал свет, и замерли перед экраном, величиной чуть больше

шапки. Вежин наконец протянул кабель, примкнул его к аппарату и включил. Стремянка ждала, затаив дыхание. Однако экран нагрелся до белизны и остался чистым. И сколько Вежин ни крутил всякие ручки, кроме редких туманных сполохов, ничего не получалось. На следующий день он съездил в лес и приволок на тракторе сухостойную пихту длиной метров тридцать. Мужики обрубили сучья, приладили антенну и трактором же подняли ее. Народ снова замер перед телевизором. Но и на этот раз экран был белым, как свежевыпавший снег.

Потом к мачте наращивали железную трубу, пробовали вертеть антенну в разные стороны, приспосабливали какие-то усилители, пока однажды в грозовую ночь от удара молнии не загорелся клуб. В то время над Стремянкой телевизионный эфир еще был чист до самого конца Вселенной и царили в нем лишь дикие электрические разряды.

Школу все-таки оставили, но упразднили сельский Совет, поэтому село стало как бы незаконным. Официально Стремянка значилась кордоном лесхоза, правда, с необычным для кордона населением в полтысячи душ. Отчаявшись выселить деревню, районное начальство лихорадочно искало, чем бы занять жителей, когда кончается сезон пожаров и лесопосадок. Сначала хотели сделать отделение колхоза, построить или переоборудовать депо в свинарник или коровник, однако кормить скотину было нечем: поля давно заросли так, что требовалась мелиорация, луга изорваны тракторами и завалены гниющим лесом. Потом решили организовать коопзверопромхоз, но выяснилось, что зверья в опустевшей стремянской тайге нет и не скоро еще будет. Построили лисоферму, и все равно большая часть жителей оставалась на зиму безработной. По округе уже рассказывали анекдоты, вернее, сказки про настырных и неимоверно выносливых вятских мужиков. От шелкопряда тогда пострадало много леспромхозов и лесоучастков, выросших в пятидесятые годы. И народ после их закрытия благополучно разъехался по другим селам и городам. Это совпало как раз с укрупнением колхозов, так что по всей округе людей мело по земле, как снежную колючую поземку. Сказки про Стремянку звучали примерно так: мол, есть у нас тут одно село, где живут опытные мужики. Не в смысле, что большие доки во всех делах, скорее, наоборот. Их когда-то специально переселили на таежные бросовые земли, загнали в лесной угол — они выжили. Потом их войной, голодом испытывали — живут, лес валить заставили — они и лес валят. Шелкопряд на них напустили — живут, дустом с самолетов посыпали — живут! Теперь вот свет у них отрезали, магазин закрыли, денег почти не получают. Если выживут, то всю деревню запишут в космонавты и отправят осваивать Луну.

21

Пока был лес, пока кормила и поила тайга, как-то и не думалось, откуда что берется, казалось, так будет всегда. Конечно, чудно было крестьянину: не пахал, не сеял, а урожай — вот он, кубатуристый, дармовой, денежный! Только знай жни. Но только кончилась эта жатва и пришло время пахать и сеять — потянулись мысли не очень-то веселые. Одно дело сеять хлеб, который осенью можно поставить на стол, и совсем другое — сажать лес. Как бы там ни говорили высоким стилем, как бы ни воспевали этот замечательный труд на благо потомков, но когда в руке саженец в вершок высотой, впереди неоглядное, изуродованное огнем пространство, можно сказать, пустыня, и там же, впереди, беспросветное от неопределенности будущее, как-то не думается о благодарных потомках. А если и думается, то мало верится в их счастье. Где гарантия, что не случится еще одна напасть и не погубит благословенный этот труд?

Пожалуй, в то время размышлял так не один только Вежин. Лес сажали те, кто недавно рубил его, сажали старики и ребятишки, про-

палывали, прореживали и опахивали от пожаров хлипкие ростки, вроде и старались, но всех почему-то не покидало предчувствие напрасного труда. Не верилось, что саженцы поднимутся, созреют и принесут когда-то пользу. Слишком уж неустойчивая жизнь была вокруг. А для крестьянина нет ничего хуже и позорнее, чем напрасный труд.

Вежин отмахивался, открещивался от своих мыслей, подбадривал ребятишек, рисовал им, какими большими вырастут эти деревья и какие прекрасные кедровые леса зашумят здесь через... триста лет. Рисовал и чувствовал, что сам не верит, что обманывает и себя, и ребятишек. Впрочем, и они верили-то мало. А если и верили, то представляли, как через триста лет придут люди, срубят этот лес, скатят весной в реку и он расплывется по лугам, по кустам и болотинам, чтоб сгнить там и превратиться в прах. Дети не могли себе представить, что в будущем люди как-то иначе распорядятся лесом. Ребячья фантазия на то и ребячья, что может быть космической, но остается и земной одновременно. Что для них были красивые слова, когда все происходило на их глазах? Они видели, как рубили стремянский лес, и тем самым как бы побывали уже в будущем. Тем более сама технология лесопосадок заключала в себе великое противоречие, разрывающее душу ребенка. Лес сажали в пропаханных бороздках, обихаживали каждый росток, а через три года своими же руками прореживали — вырывали каждое второе деревце: создавали жизненное пространство. И напрасно было втолковывать детям, что так надо, что деревья живут по природным законам, где выживает сильнейший и только сильнейшему дается право расти. Они же по своим детским законам жалели слабого и больного. Приходилось попросту наступать на эту святую жалость. Те мудрецы и поэты, певшие оды человеку, сажающему лес, наверное, никогда сами его не сажали. Одно дерево — может быть, а лес — нет.

И все-таки надо было внушать им, и себе тоже, что их труд не напрасный, что иначе бы замерла жизнь на земле, если бы люди, потерпевшие бедствие, сложили руки. Если бы на месте сгоревшего леса не вырастал новый. Однажды Вежин копал яму на гари, чтобы достать воды. Вода была близко, в метре от поверхности. И на этой же глубине он нашел целый пласт угля...

Но как бы он ни внушал, опять ловил себя на вранье. Лес — это долго. Это слишком долго, чтобы утешить людей в их сегодняшней жизни. Рано или поздно, Стремянке все равно пришел бы конец, и тогда придется бросать и ребятишек, и этот посаженный для безвестных потомков лес. Но куда идти? Куда ехать?

Многие собирались возвращаться в Россию, в бывшую Вятскую губернию, но не возвращались, ссылаясь на самые разные причины, хотя причина-то была одна — очужела российская Стремянка. Отроились от нее, оторвался корешок, а болела только память, как болят пальцы у инвалида на несуществующей ноге. Теперь, выходит, и от этой сибирской Стремянки надо отрываться и нестись куда-то опять, искать новое место и тосковать там, и страдать от боли по этой истерзанной, худородной земле. Вон сколько народу сорвалось по округе! Стоит выйти на тракт — едут куда-то люди. На машинах, на тракторных санях, на телегах с коровами в поводу. Будто идет одна огромная лесопосадка, где прореживают не лес, а деревни, выдергивая слабые и больные. По законам природы — понятно, по-человечески жалко и даже страшно...

А еще Стремянка боялась разъехаться. Настолько уж сжились, породнились, переплелись друг с другом, что даже черниговские и воронежские переселенцы, прибившиеся позже, говорили на вятском диалекте, а вятские кое-что переняли у них. В одно село двести дворов не переедут, а как разорваться по разным-то? Когда Вежин ездил в облоно хлопотать, чтобы оставили школу, то приготовил этот аргумент как самый убедительный и веский, но он-то, как оказалось, не имел у на-

чальства никакого веса. Даже пристыдили, мол, что у вас там, община какая-то или секта? Вы, поди, и в школе эдакое проповедуете? Вежин начал было рассказывать о переселении, о столыпинской реформе, но слова его истолковали иначе, обвинив, что он связывает несвязуемые вещи — какую-то доисторическую реформу, вредную для народа, и современное укрупнение хозяйств. Тогда Заварзин, бывший с ним, начал кричать, что укрупнение — это еще похуже столыпинского переселения, ибо тот крестьянин на землю ехал, а теперь его от земли отрывают. Не закричи он, так, может, сельсовет бы оставили и не обозвали бы кордоном Стремянку...

Всяко думалось Вежину, пока сажал он деревья. И тут же, на лесопосадках, нашлось спасительное занятие для села — пчеловодство. Дело в том, что гари на следующий же год после пожара сплошь зарастали кипреем. С июня и по август колыхалось розовое море цветов-медоносов. Сначала с ним боролись, поскольку кипрей заглушал саженцы, не пропуская света. Борозды с посадками заставляли обкашивать, хотя это было неразумно и неестественно. Природа ничего не делала зря, травы пестовали молодые деревца, прикрывая их летом от зноя, а зимой от стужи, но человек по-прежнему считал, что он облагораживает природу, а лесхоз в частности — рукотворный лес. Окультуренные посадки выгорали на солнце, и тогда их дергали и снова засаживали. Напрасный труд был хорош только одним — заставлял думать. Однажды, махая косой, Вежин увидел пчел на кипрее. Пасек тогда еще не держали, а значит, это были одичавшие пчелы — чей-то рой, поселившийся в шелкопрядниках. Он бросил косу и стал следить за ними. Искать долго не пришлось: борть оказалась тут же, в обгоревшем кедре. Дома Вежин соорудил роевню, взял с собой сыновей и принес с гарей первую свою пчелиную семью вместе с двумя ведрами меда в сотах. Потом он ходил по Стремянке и угощал всех медом. Агитировать не было нужды, мед говорил сам за себя...

И с той еще поры Заварзин отнесся к нему как-то недоверчиво. Он вместе со всеми съездил в соседнюю область, купил там десять колодок, отдав за них нетель, начал сам мастерить ульи, увлекся, скоро обучился всем премудростям, но отмахивался:

— Мед он что... Его же к чаю только, да медовушку поставить.

— Мед, Тимофеич, это первородный продукт на земле, — доказывал ему Вежин. — Это продукт дикой природы. Изначальный ее плод. Сначала бывает цветок с нектаром, и лишь потом плод. Понимаешь? Хлебопашества еще не существовало, а мед уже был!.. Сейчас у нас тут природа в первобытном состоянии. Мы будто всю историю заново переживаем! Мед почему и сладкий, что это самый первый продукт с земли!

— А потом что? — тускло спрашивал Заварзин. — Сладкого поешь, только аппетит собьешь. Брюхо-то пустое... Да и после сладкого на горькое-то не особенно тянет. Ненадежное это дело, временное.

— Нам бы хоть временно! — горячился Вежин. — На ноги встать, ребятишек выучить. Мои оба в институте!

— Выучить, это хорошо... Но ведь и время когда-нибудь кончится, ребятишки выучатся. А от сладкого отвыкать, сам знаешь. После леспромхоза-то как было?.. Навряд ли отвыкнешь. Мед, он, говорят, только к заднице льнет. Больно уж легкий, легко достается.

В ту пору, когда Стремянка на глазах уже в который раз начала оживать, Заварзин много спорил и говорил с Вежиным. И Вежин соглашался с ним: конечно, мед — продукт легкий, дармовой, как непаханый и несеяный лес. Да, человек становится нахлебником у природы, когда только берет у нее дармовое, малым трудом. Это верно, что хлебопашество — самый честный труд, который не развращает человека, а привязывает его к земле и органически соединяет с самой природой.

Но ведь Стремянка — эти вятские переселенцы — так уже настрадалась от земли, так намытарилась на ней, что ложка меда никак не сможет испортить бочки дегтя. Люди заслужили лучшей доли! В конце концов, устали жить далекими целями. И человеку нужна маленькая сегодняшняя радость. Человек не может ждать триста лет, когда вырастет лес. Только ворон, питаясь падалью, смог бы прожить столько, но ворон не сажает лесов. Он просто жрет падаль.

Все эти споры и размышления неожиданно оторвали Вежина от привычного осмысления жизни. Родила земля — кормились хлебом, был лес — жили за счет него, а теперь появился мед, значит, медом будем сыты? Неужели невозможно вырваться из этого круга? Неужели до скончанья веков человек так и останется полностью зависимым от случая, как сейчас зависим от погоды, от земли и даже от какой-то ночной бабочки, способной опустошить жизненное пространство человека, разорить его обжитое место? Невероятно! А если спасение человека в техническом развитии?! Но ведь и в нем человечество остается зависимым, поскольку черпает все у природы. К тому же развитие техники избрало почему-то порочный путь, ибо любое открытие и изобретение прежде всего рассматривается как возможное оружие. Нельзя ли сделать из этого дубину и как можно проще и дешевле убить себе подобного? Во все времена даже самому кровожадному из людей было противно разбивать черепа, от неестественности этого труда вздрагивала даже душа убийцы. Но теперь, при нынешней-то технике, и не нужно смотреть в глаза жертве и видеть кровь. Нажал кнопку и одним махом заживо сжег миллион! И вроде спокойно черной душе врага человечества, потому что убивал-то не руками — технократическим разумом, воплощенным в металл!

Не вдумываясь в это, можно спокойно жить, и сажать лес, и ждать триста лет, когда он вырастет.

Единожды увидев, как древнейшее существо — пчела ползает по цветку, Вежин уже не мог не думать о ней. Стоило только представить ее независимой, не принадлежащей человеку, созданной природой совсем для другой цели, а в пчелиной семье увидеть самостоятельный и совершенный организм, стоило лишь однажды понять это, как у жизни появился совсем иной смысл. Пчелу не хотелось называть насекомым, ибо это унижало ее положение в природе, приравнивало к кровососущим паразитам и к тем ночным бабочкам сибирского шелкопряда. Наверное, человек давно увидел ее выдающуюся роль и вроде бы приручил, сделал из нее раба. Но и сам того не заметил, как стал впитывать ее опыт. Видимо, человек потому и стал человеком, что начал учиться у природы. Уподобясь пчеле, стал собирать «нектар» — самую сладость познания.

Ведь это уже историей доказано, что человек возле пчел становится спокойнее. Вежин объяснял это тем, что их размеренный ритм жизни передается окружающему, как радиоволны; поэтому жизнь на пасеке не терпит суеты. А добро и мудрость? А долгожительство? Человек, ощутив, какую угрозу его существованию несет развитие холодного разума, сам того не подозревая, потянулся к своему первородству. Современное увлечение литературой о природе и животных, вспышка всеобщей любви к ним, иногда неестественная, когда собаку любят больше, чем ближнего своего. Все это говорило о неутоленной потребности. А если существует потребность, нужно искать форму ее воплощения. Человеку, оторвавшемуся от природы, в один прекрасный момент станет необходимо проверить свою логику, сличить свои нравственные нормы с каким-то эталоном. От всевозможных моралей, от множества наставлений, как надо жить, человечество потянется к первоисточникам — к своей истории и природе. Не зря пробудился интерес к народной медицине, к древним ремеслам и даже к языческим религиям Востока. Пока еще человек блуждает, мечется в поисках эталона. Но

есть уже первые ласточки. Захваченный своими выводами, Вежин искал подтверждения в литературе и нашел: в США есть «Рочестерская гильдия», где живут и работают мастера народного искусства. Правда, пример был не совсем удачный, «гильдия», построенная по учению Гурджиева, преследовала цели только внутреннего равновесия. Но все равно эти люди ушли в природу, как когда-то уходили в монастырь.

Теперь для Вежина было мало организовать совхозное пчеловодчество на стремянских гарях и тем самым построить наконец надежную жизнь. Он думал создать пчеловодческую республику, где будет царство пчел и царство естества, запрещающее машины, химикаты и все искусственное. Сама судьба этого края подсказывала сделать здесь заповедную зону, где бы экономика и природа находились в равновесии. Почему бы не попробовать, если ученые уже соглашаются, что надо искать новые пути познания самого себя и природы? И вместе с развитием пчеловодства попытаться возродить и развить здесь когда-то утерянное единство человека и природы. Пчела бы послужила этаким соединяющим звеном: она бы указала направление, где собирать нектар познания. В этом заповеднике люди бы перестали болеть, жили бы долго, поскольку вели естественный образ жизни. Причем это были бы не просто пасечники, какой-нибудь колхоз из бывших лесорубов. Сюда следовало поселять биологов, медиков, а главное, людей, склонных к творчеству и гуманитарным наукам, ибо художник и мыслитель не должны отрываться от природы, как оторвались от нее «технари». Жители республики, обретя полную гармонию с природой, ощущали бы себя ее частью, обрели бы растерянные за тысячелетие качества и совершенно иначе увидели мир. Они бы занимались наукой и искусством, совмещая их с физическим трудом по уходу за пчелами, и это бы дало некий ключ к познанию. И любой человек, закончивший гуманитарный вуз, мог бы пройти здесь своеобразную практику, оказавшись в тишине и одиночестве. Здесь бы улегся в его голове хаос поспешно усвоенных теоретических знаний; он бы мог спокойно, в течение нескольких лет помыслить, поработать руками и набраться мудрости от постоянных жителей республики.

Чтобы как-то проверить свои заключения, Вежин рассказывал о них Заварзину, однако тот не понимал, хотя слушал и иногда согласно кивал головой.

— Я ведь необразованный, — оправдывался он. — Семь классов... Я про жизнь нашу думаю и то не все понимаю. Эдакий вон дом поставил, думал, сыновьям да внукам на радость. А теперь не вижу их. Приедут, так разойдутся по своим конурам, и внуков растащут.

Сыновьям Вежина проект нравился, но они настаивали, чтобы отец никуда с ним не совался, поскольку знали его привычку: как что, так ходить по большому начальству. Они советовали начать с малого, с простого опыта в частном порядке, ибо теперь все новое в науке делают не институты, а отдельные люди за свой счет. И только потом, когда уже станет ясно, что опыт удался, что это и в самом деле новое направление, в это поверят сначала журналисты, затем просто люди, и как ни странно — технари, если говорить о проекте отца. А гуманитарии — ученые, для которых все это придумано, поверят много позже или вообще не поверят. Но ученых тоже можно понять. Они всю жизнь бьются над проблемой, а тут приходит какой-то самоучка и приносит готовый результат. Им, конечно, обидно, жизнь у ученых нынче очень сложная, бывает, и наукой-то некогда заниматься...

Сыновья уже несколько лет сами занимались наукой в КБ при заводе и, видимо, толк знали. Они убедили Вежина и однажды привезли в гости Виктора Васильевича Ревякина, который хоть и был технарем, но все сразу понял и согласился стать первым жителем республики.

22

Весть о том, что заварзинская пасека заражена губительным для пчел варроатозом—эдаким мелконьким, как чешуйки малька, клещом-паразитом,— мгновенно облетела все стремянские пасеки. Его сроду не видели, но слыхали, как в некоторых местах он начисто выкосил многие пасеки, а оставшиеся, уже зараженные, добили сами пчеловоды, когда начали травить клеща щавелевой кислотой и выжаривать его в камерах. Травили по принципу: чем больше — тем лучше. И, наверное, потому сложилось у пасечников такое мнение, что варроатоз неизлечим. Дескать, ветеринары и зооослужба только за нос водят, рекомендуя всякие средства. А на самом деле наилучшее средство — огонь. Иначе клещ с зараженной пасеки может стремительно распространиться на все остальные, перенесенный ветром, людьми, тем же медведем и самими пчелами — через цветы.

Стремянские пчеловоды бросились к своим ульям, ловили пчел, рассматривали в лупы, искали клеща на дне колодок, куда обычно он осыпался с насекомых, но ничего не находили. Вежин лично проверил соседние с Заварзиным пасеки и варроатоза не обнаружил. Первый испуг прошел. Однако пасечники собрались на стихийный сход, вызвали из района ветеринара, пригласили бывшего в Стремянке Мутовкина и стали решать, что делать с пасекой Заварзина. Решение уже имели и держали его на устах — сжечь пчел Заварзина вместе с ульями, рамками, омшаником, а избу и леваду, где стояли колодки, засыпать хлорной известью. Для этой цели тут же организовали бригаду из добровольцев и проинструктировали по правилам санитарной гигиены. Все было готово, лишь куда-то исчез сам хозяин пасеки — Заварзин, хотя его пригласили на сход. Вежин пошел к нему домой.

— Василий Тимофеич, твою пасеку решено сжечь,— заявил он.— Иначе заразятся другие пасеки.

— Жгите ее к чертовой матери! — отрубил Заварзин.— А мне некогда! Там большак мой, Иона. Вот пусть он и палит ее.

— Ты должен поехать с нами, — настаивал Вежин. — Дело серьезное, чтобы потом разговоров не было. Иона пасеке не хозяин. А мы тебе пасеку вернем. Если клещ не распространится, каждый пчеловод даст тебе по улью. Вот расписки.

Заварзин плюнул, наказал Сергею смотреть за старцем Алешкой, который все порывался уйти, и поехал на пасеку.

Иона, ничего не подозревая, сгребал мусор в леваде. Работал медленно, так как болела прокушенная догом рука. Он слышал, как подъехал грузовик с расшатанными бортами, но навстречу не вышел— надоело уже: что ни час, то гости, и все какие-то ненормальные. А бригада добровольцев человек в пятнадцать откинула борта кузова и стала сгружать мешки с хлоркой и бочку с бензином. Чуть позже приехал Василий Тимофеевич и сел в стороне, мрачно наблюдая за мужиками. Наконец Иона заметил странные действия мужиков и подошел узнать, в чем дело.

— Таскай ульи в омшаник, — сказал ему Заварзин.— И пошевеливайся! Как сожжете — домой иди. Нечего тут...

— Сожжете? — не понял большак. — Ты что, батя? Рехнулся?

Между тем мужики вошли в леваду и начали стаскивать ульи вместе с крышками, бросая их в зимовнике прямо на пол.

— Вы что делаете?! — закричал Иона и заметил возле грузовика Мутовкина. — Мутовкин! Это что за произвол?

— А ничего! — отрезал Мутовкин.— Развели заразу на пасеке, так отвечайте. Дело государственное. Племенной совхоз им строить... Клеща разводить, что ли?

— Ты что, Мутовкин? — Иона сжал кулаки. — Да я тебя...

— Садись в машину, домой поедем!—прикрикнул Заварзин.—Тимка-то не вернулся до сих пор. Надо ехать искать.

Однако Иона бросился в леваду, к мужикам. Заварзин-отец махнул рукой и умчался в Стремянку.

А сын бегал от одного мужика к другому, просил, требовал, грозился, но его словно не замечали. Братья Забелины и вовсе чуть с кулаками на него не набросились, вытолкнули из левады и пригрозили «навешать», если будет дергаться. Иона сначала рот раскрыл от такой наглости, но потом схватил грабли и огрел одного из братьев по спине. На Иону навалилось сразу несколько мужиков, схватили за руки, свели со двора и усадили на бревна. Подвыпивший Барма достал бутылку водки, раскупорил и протянул:

— Ну-ка, ну-ка, Вань, тяпни! Помогает! От горя помогает! Один врач мне говорил...

Иона отпихнул его руку и ослаб.

— Да брось ты, брось! — попытался успокоить Барма. — У меня вон трактор отобрали, а я гуляю! А чего не гулять?.. Вань-Вань, поехали с тобой в Японию? Слышь, там девки красивые! По телевизору видал! Во девки!.. А хошь, я тебе пчел дам? Хошь, прямо сейчас полсотни колодок? Мне что, жалко? Возьми! Возьми!

Иона сидел, опустив руки между колен, и ничего не слышал. Добровольцы, разрезав мешки с хлоркой, начали посыпать двор и леваду. Работали быстро, поторапливали друг друга, словно пришли сюда воровать или грабить. На сходе аж кипели от возмущения, тут же пыл чуть прошел: хоть и решили, и надо, но жаль своими руками губить добро.

Скоро двор побелел, а мужики стали швырять хлорку на крышу, под крыльцо, трусили на стены, подоконники и даже в печь. Все по тому же принципу: чем больше, тем лучше. У кого-то от пыли и вони начался сильнейший насморк, кому-то ело глаза, вызывало кашель и чих, но никто не жаловался. Артюша, увидел белый двор, засмеялся:

— Мужики, вы что? Зиму делаете?

— Зиму, зиму! — серьезно отмахивались те. — Видишь, ульи в омшаник носят? Лучше бы помогал!

Артюша стал помогать. Он вместе с мужиками окапывал омшаник противопожарной полосой, собирал крышки с колодок и относил их в склад. А когда добровольцы понесли фляги с бензином к зимовнику и стали наливать его в ведра, он сначала тоже бросился на помощь, но, увидев, как мужики обливают ульи, закричал:

— Вы что делаете, мать вашу?! Это же бензин! Я вам запрещаю!

— Да уймите вы его! — заметил разогретый работой один из братьев Забелиных. — Будто нам приятно...

Артюша накинулся на мужика с флягой, сшиб его с ног, окатив бензином, затем схватил пустое ведро и замахнулся на другого. Но его схватили, потащили к Ионе на бревна, уговаривая по дороге не буянить. Тем временем мужики взяли лопаты и рассредоточились вокруг омшаника, а один из них, соорудив факел, метнул его в распахнутую дверь.

Пламя вырвалось наружу, дохнуло так, что вспыхнул мусор, собранный Ионой, а крыша зимовника, показалось, аж подпрыгнула, выпустив клуб огня. Потом внутри омшаника загудело, застонало, как в трубе ветреной погодой. Мужики бегали вокруг огня, гасили сухую траву, забрасывали землей отлетевшие горящие угли. В Стремянке за историю ее пожаров каждый был профессиональным пожарным и с огнем обходиться умел. Иона, какой-то тихий и сломленный, забрался в кузов грузовика и оттуда печально смотрел на пламя. Рядом был Вежин, старый товарищ Мутовкин; они что-то говорили ему, хлопали по плечам, но он как будто ничего не слышал и не чувствовал.

Когда огонь несколько утих — выгорел бензин и пылали только ульи и воск — мужики тоже поутихли. Исчезла нервозная расторопность, и навалилось тяжелое, тихое беспокойство. Они стояли, опершись на лопаты, мрачно смотрели в огонь, и, пожалуй, каждый из них переживал то же самое, что должен был переживать сейчас хозяин пасеки. В этот момент откуда-то выбежал Артюша с ружьем в руках. Он кричал, широко разинув рот, словно шел в атаку:

— Р-р-разойдись!! Постреляю!

Мужики на миг остолбенели, затем, натыкаясь друг на друга, бросились прочь. Ведь убьет и отвечать не будет! Что взять с дурака?.. Артюша, в одиночку расправившись с бригадой, поднял брошенную кем-то лопату и начал метать землю в горящий омшаник. Он тушил самозабвенно, азартно, что-то пришептывал, приговаривал, и блики пламени сверкали в его расширенных светлых глазах. Все это происходило на виду у притихших за пряслом мужиков, и они, вдруг онемев, завороженно смотрели на метавшегося у огня Артюшу.

— А ведь потушит! — крикнул Вежин. — Уберите его оттуда!

Братья Забелины подкрались сзади и попытались отобрать лопату, но Артюша вывернулся и схватил ружье, которое все время лежало на земле, под рукой. Близнецов как ветром сдуло. Артюша бросил еще несколько лопат земли и вдруг остановился. Он оглядел замерших у прясла мужиков, поднял свою одностволку и, нацелив в их сторону, попятился к столярке.

— Оборотни, — шептал он. — Оборотни...

Он толкнул задом дверь, скрылся за ней, потом резко захлопнул и припер толстой чуркой, на которой Заварзин тесал заготовки для ульев. Отдышавшись, залез под верстак и стал просеивать руками мусор. На улице уже синело от сумерек, и в столярке становилось темновато. Артюша перерыл все стружки, перетряс опилки и наконец отыскал еще одну пуговицу, которая попала сюда в то время, когда он готовился к встрече с медведем. Артюша зажал ее в тиски, обточил рашпилем и загнал в ствол, затем, переломив ружье, достал из кармана патрон и попытался вставить его в патронник. Патрон не входил даже наполовину, во что-то упирался. Тогда он вытряхнул пуговицу и глянул в ствол на свет. Патронник оказался намертво забит стальным шестигранным прутком...

Артюша сел на пол, опустил бесполезное ружье на колени и заплакал.

Пока он возился в столярке, мужики дожгли омшаник, присыпали землей угли, чтоб не случилось пожара, и сели в машину. Вежин достал из кабины несколько аэрозольных баллонов дихлофоса и снова пошел на пасеку. Уже крепко выпивший Барма забрался на кабину и закричал:

— Мужики! Слышь, мужики! А давай ко мне! Давай ко мне, а? Любое дело обмыть надо! Даже это-это, с похорон идут — за столы садятся!

Пасечники сидели молча, с тяжким раздумьем на лицах.

— Ведь сожгли, сожгли пасеку и разбежались! — не унимался Барма. — Не по-людски, не по-людски получается! Как разбойники...

— Ладно, заткнись ты! — обрезал его один из близнецов. — И так на душе муторно...

— Дак и погуляем! — нашелся Барма. — Сядем за столы, поговорим, песни попоем, а? Как раньше-то бывало?

Вежин обошел всю пасеку и опылил дихлофосом пчел, привившихся к колышкам, на которых стояли ульи. Подождал немного, пока ведомые инстинктом припозднившиеся пчелы вернутся на старое место, и еще раз «обработал скопления насекомых», как было написано на баллончиках...

23

По дороге в Киров он открыл для себя странную зависимость вещей в мире и теперь грустно посмеивался над своим открытием. Получалось так, что все важные поступки, все замечательные решения приходилось вершить как бы за свой счет. Жизнь со всеми ее перипетиями текла по своему руслу, имела свои притоки, рукава, плесы и пороги, но, чтобы сделать в этой жизни нечто принципиальное, архиважное, почему-то нужно было выбиваться из потока и течь собственным ручейком, по горам и пустыням, рискуя бесследно впитаться в земную толщу. Ситуация была, как в командировке, когда за положенное время ничего сделать не успел и едва минул срок — наткнулся на искомое. Хочешь или нет, а надо оставаться еще в чужом городе, без гостиницы, без командировочных и с ожиданием наказания за позднее возвращение. Такой парадокс напоминал Сергею притчу о бестолковом вятском мужичке, который ел за столом горячее хлебово, а запивать каждую ложку бегал в погреб.

Чтобы наконец стать независимым от отца и расширить эту злополучную квартиру, нынешним летом ему пришлось вступить в бригаду шабашников, которая ежегодно собиралась в университете и под видом стройотряда ездила на заработки. Вначале натерпелся всякого дома. Ирма о шабашке и слышать не хотела, не понимала, считая это за глупость и какое-то ребячество. Зачем все это нужно, когда денег можно взять или, на худой конец, занять у отца: и он даст, поскольку все понимает и деньги есть. Не для роскоши — от нужды! Сергей в ответ, как всегда, говорил жене что-то невразумительное и потом долго слушал упреки: что в нем засел и сидит комплекс, от которого давно бы надо избавиться, что у него, современного человека, мозги, как у замшелого кержака (и чему же тогда он может научить студентов?), что жизнь надо воспринимать такой, какая она есть, ибо какой ей быть, диктует время, и что он, Сергей, *играет* эдакого ученого-бессребреника, несчастного рядового кандидата при блестящей перспективе. А он слушал и с мужицким упрямством думал о своем. Думал, что в тридцать-то три года уже нехорошо сидеть на отцовской шее, уже стыдно. Ведь не убогий же — руки-ноги есть — и не блаженный, чтобы родители до смерти кормили. В деревне если и не засмеяли бы, то уж никак бы не считали за *серьезного* мужика. Так себе, пришей кобыле хвост.

И увлеченный этими думами, он выложил их Ирме; ее же словно ошпарило.

— Ах, что обо мне подумают!.. Ты пойми, в деревне сейчас остались одни кретины. Идет естественный отбор, все мыслящие люди тянутся в культурные центры. Город выпил интеллект из деревни, высосал, как вампир. А тебе важно, что подумают эти бескровные существа?

— И ты всегда так думала? — спросил Сергей.

— При чем здесь я? Сейчас все так думают и все это понимают. Только вслух не говорят... Ты посмотри на свою эту Стремянку. Сколько там нормальных? Они даже не умеют распорядиться своими деньгами, что всегда умел крестьянин. Это национальное бедствие, когда люди не знают, как управиться с материальными ценностями, не говоря уж о культурных.

Сергей взорвался и, как всегда в таких случаях, понес не то, что думал, говорил не то, что хотел: мелочи какие-то, пустяки.

— А мне бардак этот надоел! Да, надоел! — закричал он, пиная брошенные на полу вещи. — Как ни придешь — грязюка! Бедлам какой-то!.. В Стремянке хоть живут чисто, в избу зайдешь — посмотреть любо-дорого. А у нас? Другой раз и человека-то пригласить стыдно! Ко мне студенты приходят, понимаешь ты — нет? Стыдно!

— Ну вот, — отмахнулась Ирма. — Все свалил на быт. Я тебе про Фому, ты про Ерему...

Вместо того чтобы поехать к отцу, Сергей отправился на шабашку, зарабатывать себе на независимость. Кровные денежки доставались нелегко: и не потому, что приходилось работать по шестнадцать часов в сутки на ремонте коровника. Местные мужики с первого же дня относились к шабашникам с недоверием, а то и открытой неприязнью.

— Ну что, работнички, — спрашивал кто-нибудь из них.— Приехали деньгу зашибить? Ладоно, зашибайте, а мы уж зимой подпорки-то подставим, когда крыша повалится.

— Вы же у нас кусок хлеба отбираете, — говорил другой. — Мы бы сами сделали, и получше. Вам-то здесь не жить... Наживаетесь на нашем горе.

И приходилось молчать и отворачиваться. А что оставалось, если они были правы? Но самые неприятные моменты возникали тогда, когда местные интересовались: кто они, шабашники? Откуда? Что за люди и чем зимой занимаются? В легенду о студенческом стройотряде никто не верил, хотя были документы и даже плакаты. Можно было поспорить, обрезать любопытных: дескать, зимой мы на овощебазах гнилую картошку перебираем, тоже вроде подпорки ставим, а осенью за вас на полях работаем, ваш урожай собираем — вы рапортуете. Можно было уличить, навалиться всей бригадой... Но больше мучило другое — не радовали почему-то кровно заработанные деньги. Скорее всего как раз «кровности»-то в них и не хватало. Казалось, в долг брали, и когда-нибудь настанет пора возвращать. Вот тебе и деньги на независимость...

Поездку в Кировскую область, в российскую Стремянку, тоже пришлось отрабатывать за свой счет. Сразу после приемных экзаменов сам напросился ехать с группой первокурсников в колхоз, на сельхозработы, чтобы потом выкроить неделю свободного времени. И надо было такому случиться — угодил в деревню, где летом ремонтировали коровник. Если тогда он был рядовым шабашником, то теперь командовал полусотней студентов. Никто теперь ему не тыкал и вопросов обидных не задавал, хотя многие узнавали. Наоборот, то и дело приходили и кланялись — дай своих гавриков, ну хоть трех-четырех. Хлеб в буртах горит, лопатить некому, кукуруза перестаивается, лен теребить надо. Студенты же рыли картошку, которая грозилась уйти под снег.

Ехать в российскую Стремянку Сергей решил еще в августе, когда ездил в чермет разыскивать Иону. Сначала это пришло как долг перед отцом — надо же когда-то возвращать долги? — но однажды неожиданно подумал, вернее, попытался ответить на свой вопрос: почему отца *тянет* туда? Почему всегда тянуло мать, которая тоже собиралась съездить и не успела — умерла. Они ведь и родились-то в Сибири, вятской Стремянки в глаза не видывали, казалось, и связь всякая утеряна. Родня повымирала, а что осталось — так седьмая вода на киселе, даже писем не писали. Почему тянуло многих из Сибири? Помнится, в детстве только и слышно было — эх, поехать бы в Россию, в Вятку. Хорошо-то как там, господи! И речка Пижма там светлая, и на полянах ромашки растут, а в ельниках — кукушкины слезки... В детском сознании от всех этих разговоров возникал образ России, похожий на сказочную страну, какую-то землю обетованную. Казалось, приедь туда, и исчезнет реальность, и жизнь начнется совершенно другая, светлая, как речка с цветочным названием. Но со временем образ этот растворился, даже забылся на долгое время. И вот вспыхнул, приковал внимание настолько, что детством повеяло, сказкой.

Но почему же его-то, Сергея, не тянет туда? Если память о своей прародине, о земле, где схоронены предки, передается в генах, и тоска по ней передается, и жажда возвращения (откуда же иначе бы взялась отцова тяга?), то почему же ему-то не передалась? Сергей при-

слушивался к себе, представлял речку Пижму, и ничего не ощущал. Где уж там думать о российской Стремянке, когда в сибирскую не тянет, туда, где родился, где пуп резали. А ведь случалось, тосковал по родным местам, особенно в студенчестве. Но как-то незаметно прошло время, и перестало тянуть. Хуже того, после отцовских писем и просьб заглянуть в гости возникало подспудное ощущение неприятной обязанности. Такое как в детстве, когда рано утром будили на покос, и каким бы ни был сладким сон, все равно приходилось вставать. Но можно и помедлить минуту-другую, и он медлил...

В сентябре, пока Сергей был в колхозе, Ирма должна была вернуться, но не вернулась из Новосибирска. Написала короткое письмо с просьбой, чтобы он подал документы на размен квартиры. Вначале он решил, что Ирма ошиблась, написав «размен» вместо «обмена», однако вдумался в текст и понял, что написано тут даже не о квартире — о всех их отношениях. Просто так уж устроено, что квартира разменивается в самую последнюю очередь, когда менять больше нечего.

«Неужто ничего не осталось? — думал он, прислушиваясь к себе и осматривая стены. — Нет! Осталось! Вика. Вика, доченька моя...»

Не умывшись, не сняв пропотевшей на колхозных токах одежды, он пошел в гараж, посадил Джима в машину и вырулил на улицу. Проезжая мимо своего дома, увидел свет в окне — забыл выключить, но останавливаться уже не хотел...

В этот, последний приезд в профессорский дом, он лишь вечером, как-то случайно обратил внимание на обстановку — все те же полотна на стенах, бронза, старинная мебель, — и то увидел ее словно краем глаза, мимоходом. Вещи промелькнули, будто смутное воспоминание, будто лицо старого знакомого в толпе: ага, вы еще живы... А сама атмосфера в доме вновь чем-то напомнила смотрины. Опять было много народа, какие-то разговоры, беседы — о чем угодно, только не о том, что наверняка всех беспокоило. Здесь знали об их разрыве, похоже, много говорили об этом, пока не было Сергея, и вынесли решение, которое он получил в письме. Видно, поэтому и не замечали зятя, поскольку на «смотринах» он еще не был таковым, а сейчас уже не был. Вика целый день не слезала с рук, шептала на ухо стишки, рассказывала, как они с мамой катались на лодке, ходили в зоопарк, смеялась весело, но черные ее глазки оставались настороженными и даже печальными.

— Давай уедем к дедушке в деревню, — заговорщицки шептал Сергей. — Поселимся там в своих комнатах и будем жить. А летом поедем на пасеку.

Эта мысль у него появилась еще по дороге в Новосибирск. За дорогу много приходило шальных мыслей. Взять Вику, будто бы для того, чтобы погулять на улице, посадить в машину и увезти. И пусть Ирма потом побегает. Или напиться и разогнать всех в доме. Если не разогнать, то спросить наконец, кто есть кто в этом обществе и с какой стати, какое имеет право решать их судьбу. Потом все это показалось глупостью, кроме одного — увезти Вику. Но Вика не соглашалась ехать вдвоем, просила взять маму с собой, дедушку с бабушкой, какую-то тетю Ларису и дядю Диму. И он бы уговорил, потому что Вика постепенно сокращала компанию до одной мамы, однако им мешали. В зале, где они сидели и шептались, словно предчувствуя заговор, время от времени кто-нибудь появлялся. Чаще всего совсем немощный уже дед в безрукавке, который вынимал из шкафа сапожную лапу, смотрел на нее слезящимися глазами, прятал назад, и выпивший Дима — двоюродный племянник тестя. Наконец пришла Ирма, взяла Вику за руку и увела ужинать.

В этот момент Сергей включил верхний свет и заметил картины. Тесть так и не выставил свои сокровища в картинной галерее, говорил, что оказались ужасными условия в залах, где должны вывесить полот-

на, что там грязно, давно не крашено, а человек должен идти на выставку, как на праздник. С картин на Сергея смотрели печальные глаза безвестных барынь, написанных рукой безвестных художников. В суровых глазах мужских портретов и даже в детских, на акварелях, тоже хранилась какая-то печаль. Это чувство было заложено и в городских пейзажах Поленова, и в морской зыби кисти Айвазовского. Сергей смотрел не долго, но успел напиться этой печалью, и неизвестные люди, изображенные на полотнах, стали будто родными: в их лицах светились знакомые черты матери, отца, братьев...

— Смотришь? Ну, смотри, смотри, — Дима похлопал его по плечу.— Слушай, старина, пошли выпьем?

— Пошли! — неожиданно для себя согласился Сергей.

Они заперлись на ключ в дальней комнате, где когда-то после смотрин ночевал Сергей. Дима достал из-за дивана початую бутылку, выставил из шкафа рюмки.

— А за что выпьем? — спросил Сергей.—Давай за них? За бронзу?

— Ор-ригинально, — отчего-то зло проворчал Дима и опрокинул рюмку. — За бронзу не пил...

Разговаривать было не о чем, сидели друг против друга, смотрели в стол. Обычно Сергей в другие приезды уворачивался от компании Димы. Похоже, парень медленно спивался. Если ему попадало сто граммов, то остановиться он не мог, бегал за водкой в магазин, если поздно — в ресторан или к таксистам на улицу. Спиртное в доме профессора от него прятали.

Сергей подошел к шкафу с бронзой и уставился сквозь стекло на витые канделябры.

— Что ты все смотришь? — возмутился Дима. — На что здесь смотреть? Это же все наворовано! Все наворовано! — И звякнул бутылкой, разливая водку.

Сергей обернулся:

— Как понять?

— А вот так и понимай! — отрезал Дима. — В прямом смысле... Если не наворовано, значит, скуплено по дешевке. За буханку хлеба, за килограмм масла...

Сергей вернулся к столу. Выпитое стояло комом в горле.

— Расстроился?.. Господи, что ты в самом деле. — Дима выпил.— Когда жрать хочется — штаны на барахолку понесешь. Но ведь кто-то купит штаны! Чтоб человеку с голоду не пропасть... Пей!

Сергей подошел к двери, повернул ключ в замке.

— Погоди, старик, ты куда? — вскочил Дима.— Я тебе лажу гоню, а ты?.. Я пошутил! Я чтобы разговор завязать...

С Ирмой он чуть не столкнулся в коридоре. Вика, обряженная в ночную рубашку, прыгнула на шею, ткнулась в щеку влажной после мытья мордашкой, зашептала:

— Папа, идем со мной спать. А то мне ночью страшно. Проснусь и страшно...

— Все, спать,— сказала Ирма и в первый раз за день подняла глаза на Сергея. — Скажи папе спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — повторила Вика и, оглядываясь, потянулась за материной рукой.

— Спокойной ночи,— Сергей снял с вешалки брезентушку, пропахшую хлебом и потом, стиснув зубы, нащупал в темноте дверной замок...

Ехать сразу же он не решился: могли остановить и отобрать права. И лишить тем самым того, что давно составляло часть его жизни, — способности передвигаться по земле своим ходом. Он загнал машину в глухой угол соседнего двора, откинул сиденье и лег, подтягивая колени к подбородку, чтобы подольше сохранить тепло...

На обратном пути он сделал еще одно открытие: домой, если можно домом назвать квартиру в многоэтажных «сотах», его не тянуло точно так же, как в сибирскую или в российскую Стремянку. К последней хоть было любопытство, желание понять, отчего туда манит отца. Что это за земля, если уже третье поколение вятских переселенцев бредит ею и не может забыть.

Он взял деньги, заработанные на шабашке, отвез Джима к Деве, в его новую квартиру в таких же «сотах», простился с ним и поехал в Киров.

Дорога в Россию походила на дорогу в сибирскую Стремянку, когда он ездил последний раз к отцу. Только тогда была весна, а сейчас стояла глубокая осень, мало чем отличавшаяся. Разве что весной он ждал лета, теперь же — холода, снега, зимы.

С вокзала он отправился на автобусную станцию, разглядывая сквозь плачущее окно троллейбуса серые невзрачные дома в потеках, грязные, без бордюров, улицы, голые деревья, и единственное, что пока радовало и наполняло душу каким-то легким, щемящим чувством,— это вятский говорок, доносившийся со всех сторон. Если прикрыть глаза, то возникало ощущение — сладкое, как весенний дымок от горевшей ботвы на огородах. И было трудно определить, где он. В далекой Вятке или в родной Стремянке? Когда-то он не чувствовал вятского диалекта, смешно было слушать тех, кто говорил иначе, по его мнению, неправильно, не по-русски. Но настал час другого открытия, перевернувшего все с ног на голову. В университете Сергей уже стеснялся своего вятского выговора, старался правильнее произносить слова, следил за своей речью и часто упускал смысл, путался и сбивался. И не отсюда ли возник тот самый комплекс, о котором так часто напоминала Ирма? Однако и это миновало, почти забылось. Разве что когда он приезжал в Стремянку, незаметно для себя вдруг начинал говорить по-вятски, обнаруживая это лишь в городе. Срабатывал какой-то слуховой рефлекс или он, научившись правильной речи, продолжал думать неправильно, с диалектом? А в деревне как-то само собой получалось: как думал, так и говорил...

На автовокзале он купил билет и сел в роскошный «Икарус» с белыми салфетками в изголовье сидений. Похоже, от дождливой погоды и осенних сумерек города представлялось, что дорога будет грязной, ухабистой, автобус какой-нибудь допотопный и пассажиры типичные— с кошелками, с мешками, с гусями в корзинах. Однако все выглядело иначе. Асфальтовое шоссе раскручивалось впереди бесконечной ровной лентой, укачивало, наваливался какой-то дремотный покой. Сначала он таращился сквозь стекло, не пропуская ни одной деревеньки, с тихим восторгом проводил глазами ветряную мельницу, сохранившуюся в придорожном селе, постарался разглядеть воду в промелькнувшей под мостом речонке, затем уснул так, что соседу пришлось трясти его за плечо.

— Проснись, паренечёк, Тужа будёт!

Он вышел в Туже — районном центре, — когда вечерние сумерки, придавленные низким небом, напрочь закрыли село. Почему-то сразу вспомнилась отцова шутка по поводу названия вятских сел.

— Как поеду за Тужу — за Пержу и за Вою!

Последние два села были настолько далекими, судя по рассказам отца, а дороги такими плохими, что Тужа считалась чуть ли не последним местом, где еще кое-как можно жить человеку. И по его же рассказам он знал, как и куда ехать. Сколько раз, напоминая ему «заскочить в Россию», отец заново объяснял, как добраться до Стремян-

ки. Объяснял так, словно недавно вернулся отсюда и видел все своими глазми. Но ведь он не был никогда здесь! Опять гены?

От Тужи до Стремянки оставалось тридцать километров по дороге, которая вела в село Караванное. Отец так и наказывал — спрашивай дорогу в Караванное, всякий покажет, поскольку село и раньше было известное, богатое, теперь-то уж, поди, городом стало. Однако, даже зная дорогу, на ночь глядя отправляться в Стремянку не было смысла. Сергей прошел по улице, отыскал Дом колхозника, помещавшийся в большой старой избе, и попросился переночевать. Его поселили в комнате, где стояло с десяток кроватей и какие-то мужики, по виду шабашники, играли в карты и пили вермут. Сергея позвали в компанию, предложили отхлебнуть из бутылки, но он отказался: начнутся расспросы, разговоры, а хотелось молчать. Смотреть, думать и молчать. С того момента, как он вышел из поезда в Кирове, вдруг обострились чувства и все окружающее стало восприниматься в каком-то своем первоначальном смысле. Дождь казался не сыростью, не промозглой мокрядью, а дождем, который сеял, сеял по земле влагу, напитывая ее, и был нужен. Было нужно низкое небо, грязные улицы и расхристанные деревянные тротуары села, потому что это — Тужа, место, где еще кое-как можно жить человеку. Дом колхозника был домом, куда пускали переночевать, где сидели такие же, как он, мужики и пили дешевое и сердитое вино. И борщ в столовой по соседству был необычайно вкусным, наваристым, густым, тарелка такой глубокой, что, кажется, три пота сошло, пока выхлебал; котлета оказалась сочной, в меру мягкой и огромной, с мужскую ладонь. А хлеб и вовсе таял во рту, и можно было есть его, как пирог, без борща и котлеты.

Все воспринималось без всяких поправок и ссылок, таким, каким было, есть и, наверное, еще долго будет.

Ночью он несколько раз просыпался, резко приподнимался на кровати, осматривался, с испугом думал — где я? Почему здесь? Мужики играли в карты, пили вермут, горел свет. И Сергей сразу вспоминал, что едет в российскую Стремянку, вжимался лицом в теплую, нагретую подушку и сразу засыпал. Где-то под утро ему приснилась светлая речка Пижма с цветочными берегами, какие-то незнакомые люди, которые искали Катю Белошвейку. Сергей ответил, что Катя живет не здесь, а в сибирской Стремянке, но люди все равно подбегали к нему и спрашивали.

Утром он спросил дорогу на Караванное у дежурной, и та подробно рассказала, почти целиком повторив рассказы отца. По шоссе он вернулся назад, за Тужу, и свернул на разбитый, истерзанный большими машинами проселок. Липкая, красная грязь снимала на ходу башмаки, брызгала на штанины, на полы плаща и, засыхая, оставляла бурые пятна. Он подвернул брюки, но это не спасло. Ботинки превратились в комья глины, и отмыть их или хотя бы оттрясти, отделаться от вездесущего краснозема было невозможно. Едва дотащившись до первой деревеньки, он постучался в крайнюю избу и попросил сапоги. Маленькая, сморщенная старушка горестно поглядела на размокшие ботинки и достала из подпола пыльные резиновые сапоги.

— Есть-от покшёнки, да не знаю, подойдут ли, — пропела она.— От старика остались, лежат-от давно, худые уж, поди-ко.

— Мне и худоватые подойдут, — в тон ей, прислушиваясь к собственному говору, сказал Сергей и засмеялся. — Экие покшёнки да на экие ножёнки!

Старушка подала ему тертые-перетертые, но чистые портянки, Сергей обулся, притопнул ногами:

— Теперь-от я и до Корованного дойду!

— Ой, далеко тебе шагать,— пожалела старушка.— Машины-ти редко ходят. Молоковоз-от в Тужу прошел, назад поедет, дак ты останавливай, не стесняйся.

— Мне до Стремянки только,— сказал Сергей, веселея.—Дойду!

Старушка проводила его до ворот. Сергей вышел на дорогу, оглянулся.

— Сапоги-ти не жмут ли?—крикнула ему старушка.— Ноженьки-то набьешь, коли жмут. Старику-то они маловаты были!

— Не жмут!—засмеялся он.— Я обратно пойду, дак верну сапоги!

Она помахала рукой и застыла у калитки. Сергей шел, оглядывался на пустынную дорогу и долго видел ее белеющее лицо.

Молоковоз догнал километров через пять. В кабине уже был пассажир, однако водитель остановил машину, пришлось уплотниться так, что едва захлопнули дверцу. Попутчики оказались людьми молчаливыми, грустными, и это как нельзя кстати удовлетворяло Сергея. Он трясся на ухабах вместе с двумя совершенно чужими мужиками, прижимался к ним боками, ощущал их тепло, смотрел на бесконечные красные поля с перелесками, и ему было удивительно легко и хорошо. Мимо проплывали крохотные, в пять-семь дворов деревеньки, в некоторых еще стояли ветряные мельницы—совсем целые с виду и бескрылые, но, похоже, все давно заброшенные. И эти меленки придавали деревенькам какой-то сказочный дух. Они будто не только останавливали время, а неведомым образом откручивали его назад, в прошлое; и Сергей бы не удивился, если б увидел сейчас на поле хрестоматийного мужичка с сохой, подымающего зябь. Едет себе былинный ратаюшко, понукивает лошаденку и поет песню...

Шофер остановился возле свертка и закурил, что-то ожидая.

— Что?—вздрогнув, спросил Сергей.

— Дак Стремянка,—сказал шофер.— А нам дальше...

Сергей выбрался из кабины, огляделся: поля, перелески, опять поля...

— Где же Стремянка?—крикнул он. Шофер уже тронул машину, выглядывал над опущенным стеклом дверцы.

— Во-он там была!—показал он вдоль ельников.— Кладбище-то видишь ли?.. Там и была.

— А деревня? Деревня где?!

— Дак нету! А место Стремянкой называется.

Сергей пошел вдоль ельников, по краю вспаханной зяби, вглядываясь вперед и ощущая сердцебиение. Стало жарко. Он расстегнул кожаный плащ и побежал, цепляясь полами за сучья. Дорога кончилась! Точнее, она когда-то существовала, может быть, еще весной, но сейчас была перепахана, и глыбы спрессованной красной земли еще хранили отпечатки колес. Он пробежал мимо замшелого кладбища с покосившимися крестами и очутился на берегу...

Светлая, холодная река несла желтые листья; космы прибрежной осоки, словно женские волосы, полоскались и бороздили тихую воду.

А там, где было село, лежало вспаханное поле и лишь бурые пятна по красной земле, будто родинки, отмечали места, где стояли дворы.

В желаемом дорожном молчании он думал, как придет в село, как заговорит со старушкой, похожей на ту, что дала сапоги, и старушка станет гадать, кто он, чей, к кому приехал. Тогда он назовет фамилию, брови у старушки вскинутся, вытянутся бесцветные губы—конечно же знает! Ведь должен остаться какой-нибудь корешок, пусть слишком далекий, но сохранивший фамилию.

Сергей опустился на землю, там, где стоял,—на пахоту, а память вдруг вывернула слежавшийся, тяжелый ком воспоминаний, связанных со смертью матери. Ее уже не было на свете, он же, не зная об этом, весь день думал о матери и в сознании вспыхивали какие-то случайные, малозначащие эпизоды. Вот мать хлопает половики во дворе—бо-

сая, в туго повязанном платочке, вот они идут с ней по лесу и ищут корову. Мать останавливается и громко, протяжно зовет: Дочка, Дочка! Дочка-а-а!.. Эхо ей откликается, где-то козодой трещит и кукует припозднившаяся кукушка. А вот она несет воду на коромысле, вот растапливает утром печь...

Мать уже умерла, а он до самого вечера все еще думал о ней как о живой, и только вечером получил телеграмму. Сразу вспомнил сон, приснившийся накануне. Будто он бежал по берегу реки и уронил в воду шапку. Шапка поплыла, захваченная стремниной, все дальше к середине, он же бегал взад-вперед и никак не мог достать ее. Так и уплыла шапочка за поворот...

Словно заряженный этим сном, он и думал о матери целый день, потому что в детстве так и было: он сронил шапку в воду и со слезами прибежал домой. Мать утешала его, гладила по волосам и говорила, что жалеть-то не шапку надо, а голову.

Стремянка и впрямь была на красивом месте. С одной стороны ельники с прожилками берез, с другой чистый, светлый березняк, а лицом стояла к речке Пижме, за которой желтели осенние луга с отметинами стогов. На задах у бывшего села, как и положено на крестьянском дворе, тянулось одно большое, теперь свежевспаханное поле. Ни какой-либо постройки, ни даже колышка не осталось от села, если не считать кладбища. Да и его бы перепахали, окажись оно на чистом месте. Над крестами же нависали раскидистые кроны могучих, застаревших сосен, будто огрузших от тяжести.

Куда же тянуло отца? Куда манило всю жизнь деда, прадеда? И прапрадед, доживая свой век, порывался вернуться на этот берег реки. Куда же они рвались-то? Целых три поколения жили и обманывали себя, что в любой момент могут вернуться к берегу, на материк и эта красная земля примет их, приютит, согреет. Скорее всего, прадеду было еще куда вернуться, возможно, и дед Тимофей захватил бы еще живой Стремянку, но отцу-то уж точно некуда. Что же он тогда который год словно болеет этой тягой? Почему он так настойчиво просил заехать сюда, посмотреть? Может, чувствовал, предугадывал, что Стремянки давно нет? А может... знал, что нет ее! Знал, но не хотел поверить, потому что человеку надо, чтобы его всегда куда-нибудь тянуло. Чтобы постоянно жила вера в светлую цветочную речку, на берегу которой ему будет хорошо. Святой самообман, добровольное заблуждение, а гены здесь ни при чем...

Почему-то заболели ноги, заломило пальцы, как бывает после мороза у горячей печи. Сергей долго шевелил ими, пока не обнаружил, что сапоги-то маловаты, что скрюченные пальцы упираются в носки и давно занемели, и только сейчас, после шевеления, начинают наполняться кровью. Заныли старые сухие мозоли на козонках. Расшлепанные в детстве ноги противились всякой тесной обуви, и когда-то их пришлось тоже приучать к туфлям, к высоким подборам — избавлять от «деревенского диалекта». Сергей переобулся, натянув сапоги с одними портянками, и стало чуть посвободнее. Только теперь он заметил, что уже вечер, хотя была надежда, что развиднеется, отхлынут сумерки и разгорится день. Он добрел до кладбища и как в шатер вошел под старые сосны. Изъязвленные гнилью, обомшелые кресты кланялись на все четыре стороны, а некоторые и вовсе пали ниц, врастая в землю, оплетаясь травой, и казалось, стоят они просто на ровной земле, поскольку холмики могил давно расползлись, выровнялись заподлицо. Под ногами мягко качался глубокий мох, словно шубным одеялом покрывающий все кладбище, и на память пришла фраза, которую так часто повторяли на похоронах и поминках, — пусть земля ему будет пухом. Наверно, земля здесь была легкая, песчаная, не как тяжелый краснозем на поле, и не потому ли жители пропавшей Стремянки избрали это место для кладбища?

Сергей долго бродил между крестов, пока не стал терять их из

виду. Сосновые кроны растворились в сумерках. И вместе с ночной теменью создавалось впечатление, будто весь этот берег начинает терять связь с окружающим миром, будто, оторвавшись от земли, он несется сам по себе в пустом — без единого огонька и звука — пространстве. Иначе бы откуда взяться невидимому ветру, свистящему в ушах?

А корешок все-таки остался. Он сидел в этой земле глубоко, крепко, как древние сосны. Сергей еще при свете пытался найти надписи на крестах, каким-нибудь образом узнать, где лежит его предок, но все было напрасно. Время стерло приметы, и под каждым крестом мог лежать его родич. Обезличенные временем могилы и лежащие под ними кости становились как бы общими предками для ныне живущих, связывали прямой линией родства. Но при жизни-то все было не так. Сергей вспомнил давнюю и настойчивую просьбу отца положить его после смерти между дедом и женой. Всякий раз, когда они бывали на кладбище, показывал это м е с т о, ходил по нему, отчерчивал сапогом грани, тыкал пальцем — сюда! Его серьезность казалась тогда если не смешной, то какой-то неуместной. А видимо, это очень важно — з н а т ь при жизни, где тебе лежать все оставшееся Время. Где и с кем. Долгое время это будет важно только для твоих потомков, но когда сотрутся надписи и холмики, замшеют кресты и камни, важно станет для в с е х. И не тогда ли наступает вечность?

Прячась от ветра за крайним деревом, Сергей снова снял сапоги и попробовал растянуть, размять их носки, однако твердая резина не поддавалась. Тогда он вынул стельки — истертые, обмахрившиеся суконки — и обулся на босую ногу. Одеревеневшие пальцы налились теплом, утихли сухие мозоли, и как-то сразу стало легко. Он встал с земли, намереваясь спуститься к воде, и тут с изумлением увидел мельницу. Высокий шатер ветряка поднимался прямо посередине пашни, на том месте, где при вечернем свете были заметны лишь родимые пятна от исчезнувших дворов. Ее крылья, обращенные к ветру, медленно поворачивались, создавая иллюзию полета. Сергей оттолкнулся от дерева и пошел по пашне, увязая в земле. Он уже хорошо видел бревенчатые венцы, маленькие окошки под четырехскатной крышей, потрескавшиеся, щербатые торцы на углах и не удивлялся, что может видеть в темноте. Ветряк казался подсвеченным откуда-то снизу. Сергей приблизился на десяток шагов, когда шестикрылая мельница вдруг стала отдаляться. Он снова настиг ее, хотел достать рукой, однако мельница стояла уже возле ельников, а на том месте, где она только что была, осталось белое, мучное пятно. Сергей склонился, набрал пригоршню муки и поднес ко рту. Вкуса он не ощутил. Мука таяла на губах. Тогда он ссыпал ее из ладоней на место и обнаружил, что все красное вспаханное поле сплошь засыпано мукой. И мельницы уже не было, и ветер улегся, а весь этот берег, этот кусок земли, прирос к своему месту.

Снег выпал глубокий, так что в контрасте с ним тихая вода Пижмы сделалась черной, словно в колодце. Черными казались ельники, стволы сосен и кланяющиеся кресты. Теплое дерево и еще не остуженная вода топили снег, не давая ему осесть. Но и земля еще была теплой, потому что по белой равнине пашни там и тут проявлялись красные влажные комья.

Он вышел на дорогу, когда снег почти растаял и все вчерашние краски вновь обрели свой цвет и даже были ярче, словно на картине, обновленной свежим лаком. Красноватая, в блестках луж, дорога змеилась в обе стороны и терялась где-то в полях и перелесках. В тот час не было ни души вокруг, от тишины слышалось биение крови в ушах и шорох травы под ногами казался таким громким, будто он шел по железной крыше.

С дороги он оглянулся последний раз на место, где стояла когда-то Стремянка, и, уже больше не оборачиваясь, удерживая себя от этого желания, побрел по грязному проселку. Кожаный плащ окончательно промок, отяжелел и почти не грел: он зяб, сдерживая дрожь, загоняя ее глубже в тело, и оттого боялся дышать полной грудью. Можно было побежать, чтобы согреться, но Сергей ощущал растущее онемение под левой лопаткой, а левую руку тихонько можжило. Он старался двигаться размеренно, чтобы не разбудить острую боль в сердце. Мимо тянулись поля со сжатой гречихой, еловые леса с березовыми проплешинами, красными полотнищами лежала вспаханная зябь. Дорога казалась бесконечной, тянула от увала к увалу, переваливалась с боку на бок, вброд пересекая утлые заболоченные речонки. Пустынная земля была печальной, но в этой печали хранилась какая-то сладость, живая, созидательная сила, от которой еще больше хотелось жить, и дремлющая в сердце боль лишь подстегивала это желание. Можно было зайти в одну из деревенек, обогреться и отдохнуть, но печальная дорога словно привязала его и не отпускала, заставляя выхлебать свою сладость до самого дна. И он хлебал, стараясь не пролить капли.

Где-то на середине пути он свернул на поле и попытался зажечь кучу гречишной соломы. Мокрая солома не горела, исходила горьковатым дымом, не в силах набрать нужного жара, гасла. Сергей вытряхнул из кармана все бумажки — какие-то справки, записки с адресами и телефонами, квитки с расписанием будущих лекций, пустил все это на растопку, однако солома так и не загорелась. Тогда он разрыл логово, сел в него и достал стеклянный пенал с нитроглицерином. Таблетки перетолклись в порошок. Он насыпал его на ладонь, слизнул и почти сразу ощутил, как боль из сердца перелилась в затылок и виски. Он перетерпел эту боль, сидя с закрытыми глазами, потом выбрался из соломы и снова ступил на дорогу.

Серое, сумеречное утро, как и вчера, перешло в такой же день, остановившиеся часы показывали три часа ночи, и Сергей потерял ощущение времени. К тому же на какой-то миг ему почудилось, что он идет не в ту сторону, не в Тужу, а в неведомое Караванное, и теперь надо возвращаться, повторив весь путь по печальному проселку. Он остановился, размышляя и пытаясь припомнить, куда повернул с остатка неперепаханной стремянской дороги, и услышал нагоняющий его одинокий гул машины.

Вчерашний молоковоз зигзагами шел по проселку, буксовал и юзил, высоко в небо выметывая колесами грязь. Шофер остановился сам, молча подождав, пока Сергей заберется в кабину, с хрястом включил скорость. В кабине пахло жаром нагретого мотора, бензином и... хлебом. Тонкий его дух перебивал все остальные запахи и навязчиво притягивал мысли. Голод возник сразу, и такой сильный, что заглушил ноющую сердечную боль.

— У вас хлеба... не найдется? — спросил Сергей, обернувшись к водителю. Голос прозвучал хрипловато и как-то странно, словно чужой, слова показались скрипучими, как битое стекло под сапогом. Шофер молча отдернул дверцу «бардачка». Там лежала большая краюха свежего ржаного хлеба. Сергей осторожно взял хлеб измазанными в красной земле руками, отломил и стал есть. Он откусывал и жевал долго, пока хлеб не превращался в кашицу, затем рассасывал его и с сожалением глотал: хлеб был кисловатым, но в том-то и была его хлебная сладость.

Водитель неожиданно притормозил и достал из-под сиденья белый пластиковый шланг.

— Пошли,— буркнул он.

Сергей послушно спрыгнул на землю и остановился возле цистерны молоковоза. Шофер забрался наверх, открутил люк и, запустив туда шланг, пососал.

— На,—сказал он, протягивая шланг, перегнутый на конце, чтобы не выливалось молоко.—Что ж в сухомятку-то... Пока и мотор остынет.

Теперь Сергей откусывал хлеб и сосал молоко. И вспоминал, когда последний раз в жизни ел вот так, хлеб с молоком, и был сыт. Пожалуй, давно, скорее всего в детстве.

И снова побежала дорога. Его болтало в кабине, швыряло от дверцы к шоферу, и прыгали за стеклом реальные грязные поля с кучами соломы, жидкие, полуободранные, словно льняные очески, березняки, жалкие ельники и ухабистая дорога. И мысли прыгали следом, выхватывая из памяти знобящие, как серый осенний день, эпизоды. Под эти воспоминания он чуть было не проехал мимо деревни, где жила старушка, отдавшая ему сапоги. Он запоздало попросил остановить, выскочил на улицу и так же запоздало крикнул спасибо шоферу молоковоза. Шофер, наверное, и не расслышал, буксуя в грязи...

Старушка встретила его ласково, заохала, запричитала — какой он усталый, грязный и наверняка голодный, опять спросила, не жали ли сапоги, позвала его в избу, усадила за стол и начала чем-то кормить. Он что-то ел, коротко отвечал на вопросы, как заведенный, и одновременно пытался понять, что же изменилось в старушке, пока он ходил в Стремянку. Решил, что появилась горьковатинка в складках у губ и в опущенных книзу уголках глаз, но вспомнил, что все это было еще вчера. Так и недодумав, он полез на печь, куда его настойчиво посылала старушка, укрылся там горячим шубным одеялом, но, согревшись, не уснул.

В памяти встала последняя ссора с женой и опять из-за этой работы в приемной комиссии, вернее, в конфликтной. Ирма просила присмотреть и помочь, когда будут разбирать на комиссии и заново переэкзаменовывать мальчика, способного, по ее словам. Сергей напрочь отказался, и тогда у самого случился конфликт, много серьезней, чем тот, ночной.

— Почему же ты не возмущался, когда тебе помогали? — спросила Ирма. — Почему ты помалкивал?

— Мне помогали?! — взъярился Сергей. — Да я сам, все делал сам и всю жизнь! За меня ни сочинений, ни статей не писали!

— Наивный же ты человек!.. Или забывчивый! Кто протолкнул твою диссертацию, когда ее ВАК чуть не зарубил? — когда жена была в гневе, волосы ее почему-то спадали и закрывали лицо.— Мой папа специально ездил в Москву!.. А твоя статья до сих пор бы пылилась в редакции, если бы не он!

— Кто его просил?!

— Да разве об этом нужно просить? — Ирма все убирала и убирала волосы с глаз. — Мы должны помогать друг другу. Это естественно и просто необходимо! Иначе просто не выжить, потому что в науку полезут всякие бездари, всякие кретины с одной извилиной. Сейчас модно идти от сохи да в поэты...

— А я — откуда? — тихо спросил он.— Я же из Стремянки...

— Это бывает раз в сто лет,— бросила она.— И все равно бы так и остался из Стремянки, если бы тебе не помогали... Папа за каждым твоим шагом следит, за каждой статьей. Ты должен был сам об этом догадаться... И мальчику тому ты поможешь. Иначе...

— Что — иначе?

— Иначе я посмотрю, как ты сам будешь защищать докторскую! — резанула Ирма.— Распетушился, святая простота...

Он ничего не мог ответить. Он сидел и, как тогда, после защиты, тупо думал, что на всех его статьях, диссертациях, выстраданных днями в научной библиотеке и ночами за столом, на всей его работе, за которой столько передумано, перелопачено мыслей, на всей его жизни лежит какая-то печать, вызывающая не то чтобы отвращение, а привкус чего-то нечистого. И теперь, что бы ни делал сам,—на всем будет

черная мета. Это обстоятельство, эти отпечатки, по сути, сводили на нет все его старания в жизни, как ложка дегтя сводит бочку меда.

Нынешней зимой он должен был стать самым молодым доктором в университете...

За этими воспоминаниями Сергей заснул, но как-то неглубоко, зыбко, и в полуяви снова увидел летающую шестикрылую мельницу, парящую над красной землей, бесконечный грязный проселок, серо-желтое жнивье и кучи сырой соломы. Снились печальные только что пройденные места, и, как тогда на дороге, становилось радостно от печали. Однако сон этот лишь дал минутную передышку. В яви же состояние горьких раздумий немедленно вернулось, причем с удвоенной силой и остротой. «Нельзя так, — шептал он, укрываясь и вжимаясь в угол горячей печи. — Нельзя... Так можно сойти с ума. Вот уж и сны цветные, говорят, первый признак шизофрении... Я ходил по просьбе отца посмотреть на Стремянку. И все. И больше ничего. Я ходил сюда, потому что просил отец...»

Чтобы как-то сбить губительный поток размышлений, он нащупал в темноте лук, связанный в «косу», выплел головку и съел, сжевал пронизывающую рот горечь. «Я приду домой, — продолжал шептать он деревянным от жжения языком. — И все будет хорошо. Приедет Ирма, привезет Вику, и мы опять заживем. Все заживет, и мы заживем...» Он шептал и не верил своим словам, он вытирал слезы, бегущие по щекам, и твердил, что это от лука, что в луке есть какие-то эфирные масла, вызывающие слезоточение, только и всего. А он не плачет. Что ему плакать?..

Так, со слезами, он снова заснул, теперь крепко, хотя продолжал ощущать реальность. Горячая печь обволакивала умиротворительным теплом, шубное одеяло не давило, как прежде, казалось легким, пушистым, как кладбищенский мох. Ему приснился все тот же сон, который он уже видел однажды: шел по берегу и уронил шапку в воду, будто бежит за ней, пытается дотянуться рукой, затем палкой, но шапка уплывает, уплывает на середину и пропадает за поворотом. Во сне же он подумал, что сон-то это плохой, к смерти, однако чувства оставались легкими, и было совсем не жаль уплывшей шапки. К тому же сон получил продолжение, сплетаясь с былью; потеряв шапку, он со слезами бежал домой, и мать успокаивала его, гладила по голове, прижимала к груди, пахнущей молоком. В детстве, когда это случилось на самом деле, мать еще кормила грудью поскребыша Тимошку, и от обилия молока у нее на груди всегда расплывались два темных круга...

Сергей и проснулся с ощущением этого запаха. В первый миг он не понял, где находится: печь и стены избы так походили на родные, стремянские, слышно было, как трещит и мается огонь, бросая на стекла окон багровые отблески, пахло свежими, только что вынутыми из печи блинами, дымком от сосновых дров. Он, как в детстве, чуть не крикнул — мама! — но вовремя спохватился. На вешалке висел его отмытый и высушенный плащ, внизу стояли отчищенные от грязи ботинки и рядом — резиновые сапоги. Наверное, было еще очень рано — за окнами стояла непроглядная тьма, но то, что уже утро, можно было угадать без часов. Старушка хлопотала у печи, разговаривала с блинами, с ухватом и огнем.

Он попытался высвободиться из-под одеяла, пошевелив расслабленными от сна ногами и руками, и не смог. Слушая знакомый вятский говорок, он снова стал засыпать. Поплыла, качаясь, луковая коса, дрогнула непоколебимая печь и, зыбясь, стала убаюкивать.

24

Стремянка в те дни напоминала растревоженный медведем улей.

Даже сведущий в экономических дебрях и принципах хозяйствования Вежин терялся и понимал не все, что происходит. Он лишь чув-

ствовал, что в области и на стремянских гарях появилась сила, о которой никогда не слыхивали. Она могла все, эта сила, и как все сильное, не кричала о себе, не кичилась, а спокойно делала свое дело, оставаясь незримой. Люди, представлявшие ее, были сосредоточенны, деловиты и решительны — качества, нередко принадлежащие тем, кто быстро привыкает к новым местам, много ездит и умеет работать. А еще они чувствовали за собой крепкую поддержку, знали, что без них не обойдутся, и, не имея власти, не имея права хозяина, они могли диктовать свою волю. Когда на Севере вырос целый город нефтепромысловиков и стало ясно, что через год-другой область не сможет своими силами прокормить его население — нет ни денег, ни людей, ни техники, чтобы строить новые совхозы, нефтяники сказали — мы сами! И этим развязали себе руки, как богатые гости у бедного хозяина. Они были предприимчивы: они сами отыскали десятки тысяч гектаров, по их мнению, отличной земли на стремянских гарях и только ткнули пальцем в карту — здесь! Они пригнали свою технику, прислали своих людей, привезли свои стройматериалы и взялись за привычное дело — обустраивать и обживать новое место. Они были предприимчивы, хотя и расточительны от избалованности достатком; они были смелыми и сильными. Но проигрывали только в одном и, пожалуй, самом главном: никто из них никогда не строил совхозов и не пахал земли. Их деловитость была настолько внушительной и стремительной, что даже те, кто всю жизнь пахал, вдруг разуверились в своем опыте. Кто знает, на что способны эти люди? Перед ними, может, и вода отступит, и болотистая земля начнет родить?

После поездки Вежина в Москву нефтяники прекратили корчевку гарей. Силы у них не уменьшилось, просто что-то заело в машине управления и нужно было время, чтобы подремонтировать или смазать ее. Но в этот момент у нефтяников появился неожиданный конкурент, неожиданный и для самого Вежина — мелиорация, к которой он ходил за защитой гарей. Что там между соперниками происходило, какие возникали споры и дебаты, из Стремянки было не видно и едва слышно. Вежин ожидал победы не кого-нибудь из них, а третьего лица — управления сельского хозяйства, самого древнего и самого, как он надеялся, мощного хозяйства.

Но знать бы, где упасть! На следующий же день, как сожгли пасеку Заварзиных, в Стремянку нагрянула эпизоотологическая комиссия и начала проверку пасек. И от пристрастности, с которой пять женщин в белых, пропахших карболкой халатах искали клеща, стало ясно, что послана она с целью — доказать непригодность местности для племенного разведения пчел. А варроатозом оказались заражены почти все пасеки — одна больше, другая меньше, но это уже ничего не значило. Комиссия ездила на микроавтобусе, и за ним, как почетный кортеж, тянулся хвост из легковушек. Пчеловоды, у кого уже нашли клеща, теперь ради любопытства таскались за комиссией, напряженно ждали, пока шла проверка, и если варроатоза не оказывалось, то возникало какое-то разочарование. К вечеру они проехали все пасеки и остановились у последней — ревякинской. Хозяин хоть и был предупрежден, но куда-то исчез, заперев калитку и пропустив ток по проволоке. Кого-то уже ударило, и тогда мужики, не долго думая, набросили на колючку железный обруч от бочки, замкнули систему, отчего из сарайчика, где стояла станция, ударил сноп искр. Затем плоскогубцами сделали проход и запустили комиссию. В первом же улье у Ревякина тоже нашли варроатоз, для верности проверили еще пяток и напротив его фамилии в ведомости поставили крест.

В тот же день Стремянку объявили очагом заражения и наложили карантин. Пчеловоды гадали, откуда на сей раз свалилась на них беда, но ничего путного придумать не могли. Однако кому-то в голову пришла мысль, вернее, вывод: клещ был только на тех пасеках, которые чаще всего зорил стремянский костоправ. И наоборот, вообще не было его,

где не бывал медведь. Значит, переносчиком заразы оказался он, и тут к месту вспомнили Артюшу. Неужто дурачок прав, и в самом деле это оборотень? После того, как Артюша стрелял в него возле омшаника, медведь пропал. Но вместо медведя на гарях появился другой зверь — огромная черная собака. Ее видела жена Михаила Солякина, когда мужики жгли заварзинскую пасеку. Собака прибежала к пасечной избе и стала ласкаться к хозяйке, тереться о ноги и заглядывать в глаза. Жена сообразила, что такого пса неплохо бы привязать и оставить для охраны, раз он ходит без хозяина по гарям, и пошла искать веревочку. Собака же в этот момент схватила молодую ярку, по-волчьи забросив на спину, помчалась в шелкопрядники. Когда хозяйка снова вышла во двор, черный пес уже был далеко. А на следующий день таким же образом он утащил с пасеки Вежиных поросенка. Алевтина Николаевна тоже хотела привязать пса, вспомнив, что где-то его уже видела, но пока снимала ошейник со своего боксера, дог высмотрел во дворе подсвинка, схватил за шею и так унес визжащего на всю окрестность. Лайка у Солякиных и боксер даже тявкнуть на дога не посмели. От этих бабьих рассказов несло какой-то чертовщиной, и мужики пока только посмеивались: дескать, пасеки-то собака трогать не станет.

Однако варроатоз сейчас занимал пчеловодов больше всего. Выходов было только два: либо начать лечение, в пользу которого мало верили, либо продать пасеки на тепличные комбинаты для опыления цветов. Последний вариант предлагали женщины из комиссии. А представитель управления сельского хозяйства Мутовкин уже больше ничего не предлагал. Он взял копию акта обследования пасек и уехал в область. Надо было полагать, что вопрос о строительстве пчеловодческого племенного совхоза отпал сам собой. Сутки спустя трактора нефтяников уже вышли пахать раскорчеванную зимой гарь. Впрочем, связывать это с комиссией и поражением интересов управления сельского хозяйства было бы неверно; скорее всего нефтяники просто ждали, когда подсохнет и окрепнет изорванная ножами и гусеницами жирная, мягкая земля.

Мужики сбивались кучками по два-четыре человека, думали, мараковали, что делать дальше. И только Барма, у которого пасека оказалась стерильно-чистой, ходил по селу с гармонью и пел песни.

— Я секрет, секрет знаю! — кричал и дразнил он мужиков. — Слово-слово такое! Почему у вас зараза-то? Почему? А по науке держите! По науке пчелу-пчелу нельзя держать! Ей воля-воля нужна!

А пока пчеловоды ломали головы, к вечеру явился Ревякин и заявил, что пасеку уже продал тепличному комбинату по сто рублей за семью. Мужики бросились на телефон, заказывать переговоры с комбинатом, но оказалось, что ревякинских пчел уже с лихвой хватит, чтобы опылить цветущие огурцы и помидоры во всех теплицах. Это разозлило пчеловодов, и они бросились искать Ревякина. Вдруг кому-то пришла мысль, что заражение клещом началось не с заварзинской пасеки, а с его, Ревякина, так как он приехал в Стремянку и привез с собой уже зараженных пчел... Именно его, Ревякина, пасеку чаще зорил медведь и разносил варроатоз по всем гарям. К тому же Михаил Солякин встал перед мужиками и покаялся:

— Видал! Сам видал, мужики! Ревякин пчел воровал! Рои чужие ловил! Однажды иду — в шелкопрядниках улей стоит. Ну, сделал засаду и скараулил Витьку! Он! На мотоцикле с роевней подъехал и пчел забрал! Я его за руку поймал!

Мужики онемели от такого сообщения. Тут же нашлись добровольцы и пошли искать Ревякина. Съездили к нему на пасеку, затем к Вежину, но не нашли. А руки! Ох, как руки чесались! Вот он, виновник всех бед стремянских. И как шустро все повернул! Всех обставил, все в дураках!

И навряд бы отступились от него в этот день и не отложили бы спрос с Ревякина на завтра, если бы ко всему прочему узнали, что

Витька, встретив Барму, прямо на улице сторговал его пасеку за двадцать пять тысяч и поехал к нему пить магарыч. Жена Бармы встретила Ревякина, как сына родного, как избавителя от всех бед и несчастий. А Ревякин, напоив и так веселого Барму, уединился с ним и стал выпытывать пасечные секреты.

Но Вежин не мог ждать до завтра. Он расспросил женщин у магазина и поехал к Барме. Барма уже спал, развалившись на траве между ульев, а Ревякин, пригнав откуда-то грузовики, ждал, когда наступит вечер и слетятся пчелы.

— Поехали со мной, — сказал Вежин и открыл дверцу машины.

— Хватит, я с тобой уже накатался, — недружелюбно проронил Ревякин и пошел по пасеке, приглядываясь к леткам, на которых суетились возвращающиеся пчелы. Вежин не отставал.

— Мужики считают, что клещ пошел от тебя. Хотят спросить.

— С меня спросить? — удивился Ревякин. — Пусть с Заварзина спрашивают. У него первого нашли. Я вообще думаю, он специально пасеку заразил, чтобы в Стремянке пчеловодства не стало. Помнишь, как он против выступал?

— Ладно, — сдержанно согласился Вежин. — Тогда откуда он у тебя взялся? До твоей пасеки от Заварзина сорок километров!

— А откуда у Заварзина? — вцепился Ревякин. — Расстояние одно и то же!

— Но до тебя у нас никакой заразы не было! — не стерпел Вежин. — Это ты клеща привез, ты! Почему ты не признался?

Шоферы сидели на крыльце избы и ели сотовый прошлогодний мед, запивая водой. Прислушивались к разговору, смотрели на Вежина с подозрительностью.

— Это еще перед кем? И с какой стати?

— Но мы же с тобой...

— Что? Республиканцы? — он вдруг засмеялся. — Лопнули твои эти прожекты! Ты еще не понял?.. Ладно, я тебе продам десяток семей из барминской пасеки. Можешь разводить.

— Мне твои подачки не нужны! — отрезал Вежин. — Так говоришь, мои прожекты? Ты что, Виктор? Как ты можешь?..

— Хороший ты мужик, Петрович. Но, похоже, засиделся в одиночестве... Муть все это голубая. Республика твоя, отшельники. Кто поедет? Кто сегодня согласится торчать на пасеке? Ну? Ты подумай?.. Контакт с природой! А где она здесь, природа? Я вижу только гари!.. Брось ты все это, Петрович. Нефтяников теперь не удержишь, они пашут. Поиграли в спасателей человечества, надо теперь за дело браться.

— Я не играл, — тихо вымолвил Сергей Петрович.

— Ну, ошибался!

— Эй, хозяин! — окликнул Ревякина один из шоферов. — Что этот мужик к тебе имеет?

— Сами разберемся, — отмахнулся Ревякин.

— Если надо — кликни, — отозвался шофер. — Ввалим, чтоб не цеплялся.

— Я не ошибался... Вернее, да, ошибался. — Вежин развернул к себе Ревякина, схватив за плечо. — Значит, клещ от Заварзина пошел... От него, от него пошел. А ты рои у него воровал! Ну? И клеща на свою пасеку вместе с ворованными пчелами принес! Солякин видел. Он тебя за руку поймал!

— Это не воровство, — пожал плечами Ревякин. — Рой улетел — я поймал. Только и всего. Все равно бы зимой в дупле замерз. Рой с пасеки улетел — значит уже ничей.

— У нас так не было... До тебя не было! Последнее дело — чужих пчел ловить. Это... что в карман залезть, что...

— Да мало ли что у вас тут было! — возмутился Ревякин. — Видали его?

— Ты же меня предал, — выдохнул Вежин. — Я же с тобой... Как же мне людям в глаза теперь смотреть?

— Это твои проблемы!.. Да и кого ты здесь застеснялся, в Стремянке? Кретины же сплошные! Вон, валяется один, надрался, как... Ладно, у меня перед твоими сыновьями долг. Я тебе продам десяток семей. Но больше никто не получит.

— Что же мне с тобой делать? — не слушая его, спросил Вежин. — А ведь с тобой ничего не сделаешь. Ты же неуязвимый. Ты сильный парень. Тебя ведь и не выгонишь теперь. Все гари тебе остались... Говоришь, долг перед моими сыновьями? Ладно, я спрошу, какой долг...

В тот же день на территории района и за его пределами были перекрыты все дороги, в том числе и проселочные, ведущие в соседнюю область, а на реке дежурили милицейские патрули. Задерживали и проверяли все автомобили, выезжающие из района, останавливали лодки и небольшие катера, опрашивали всех встречных и поперечных. Начальник милиции выпросил у нефтяников вертолет и несколько часов подряд болтался в небе, осматривая примерный район, в котором исчез рыбнадзор Заварзин. Пока никаких определенных сведений не было; на пристани видели, что Тимофей поехал вниз по реке. Впрочем, не было и конкретных доказательств, что рыбнадзор с женой погибли, но начальник милиции исходил из очевидного — рыбнадзоры просто так не исчезают. В области то был не первый случай. Тремя годами раньше инспектора убили прямо в лодке, на полном ходу. Стреляли хладнокровно и расчетливо — со встречной лодки, в упор. В позапрошлом году другой рыбнадзор привез в спине мелкокалиберную пулю, пробившую легкие. Однако раненым смог доехать до ближайшей деревни. На воде по-прежнему не оставалось следов, и преступников красиво брали только в кино... Начальник милиции по старой памяти, а скорее, по интуиции залетел на базу отдыха нефтяников. Там уже слышали о пропаже инспектора, и седой, представительный мужчина объяснил, что разговаривал с Тимофеем около четырех часов дня, приглашал его пообедать, но тот отказался, поскольку спешил, и обещал заехать на обратном пути. И никаких больше следов за этот день найти не удалось.

Сергей с отцом сели на катер Тимофея, которым командовал теперь капитан Мишка Щекин, взяли на борт милицейского лейтенанта и поплыли вниз. На катере были и те два уполномоченных, что приезжали к рыбнадзору Заварзину обобщать опыт борьбы с браконьерством. Срок их командировки закончился, но они не пожелали уезжать и рвались на поиски Тимофея. Оба казались какими-то возбужденными и оцепеневшими, словно во время тихой беседы их вдруг окликнули, а они обернулись и увидели что-то страшное. Заварзиных на катере старались не трогать, не донимать лишними расспросами или выражать сочувствие. Они и сами не лезли на глаза, держались рядом и больше молчали. Разве что Мишка Щекин, неожиданно ставший говорливым и раздраженным, время от времени успокаивал:

— Ничего, Василий Тимофеич! Я их достану! Я с ними, суками, за Тимку рассчитаюсь! Я им устрою сладкую жизнь!

А попутно материл ни в чем не повинных уполномоченных и лейтенанта, с остервенением крутил штурвал и злым, коротким движением скидывал трап, когда причаливали к берегу. Лейтенант останавливал встречные лодки, опрашивал людей, и Сергей видел, как у Щекина накипает в глазах корочка ненависти. Вмешиваться в разговоры ему запретили.

Ночь они не спали — проверяли лодки. Наготове стояла быстроходная «Обь» под двумя моторами. Считали, что если преступники не покинули еще район, то попытаются вырваться из него ночью. На катере уже не сомневались, что Тимофей с женой погибли. Даже отец

был уверен в этом, но выглядел спокойным и только ходил как-то деревянно и прямо. Ночью к Сергею подошел уполномоченный, тот, что моложе, опершись на леера, принял его позу и заговорил, глядя в темную воду:

— Вы знаете, а я чувствовал... Не думал только, что так скоро... Он рассказывал, жаловался... Нет, не жаловался — возмущался. А я случайно поймал его взгляд и подумал... Он и сам чуял, из инспекции собрался уходить... И не ушел... А сейчас вот смотрю — патрули милицейские с оружием... Так это уже борьба не с браконьерством — с бандитизмом. В самом деле, чем они от бандитов отличаются? Просто мы привыкли считать браконьерство каким-то озорством. А они же грабить выходят, как на большую дорогу!.. Знаете, я давно изучаю это явление. Меня интересует психология, переломный момент... Вся опасность в том, что вчера, у себя дома, на работе это были совершенно нормальные, порядочные люди! Не уголовники, не дебилы. Даже, наверное, симпатичные люди!.. Но лишь оказались на природе, с ружьем в лесу, на реке — инстинкты просыпаются, что ли?.. Звереют... Может, правда, инстинкты?

Сергей молча пожал плечами и сильнее сгорбился. В темноте вода казалась тихой, неслышной, но, если приглядеться, можно было увидеть, как вырываются из ее глубин потоки, взметывая стеклянную поверхность и закручивая ее в воронки.

— А мы уперлись в социальные причины, — продолжал уполномоченный. — Объясняем все ярлыками — рвачи, хапуги, жулики... Ведь надо на человека руку поднять! На человека!.. У себя дома он бы самой мысли испугался. А здесь, когда ружье в руках, когда у тебя отнимают добычу... Да еще обещают позор, неволю... Если это инстинкты, то, выходит, мы сами плодим браконьерство. И к убийству их толкаем мы. Тимофей Васильевич вспоминал прошлое, когда общественный невод держали... А мы подзабыли то время. Да, подзабыли, и пошли короткой дорогой — запретами пошли. Только что-то длинновата выходит короткая дорога...

Он говорил скорее сам с собой, поэтому Сергей не очень-то прислушивался, хотя улавливал смысл. И вообще создавалось впечатление, что на катере все шестеро собранных случаем людей живут сами по себе и думают каждый о своем, только одни вслух, другие про себя. Но все вместе будто в чем-то провинились перед погибшими, и даже в глазах отца сквозь печаль просвечивала вина. Но в чем? В том, что их уже *нет* на этом свете, а им, шестерым, надо еще *жить* и пользоваться этим великим благом — жить и, может быть, пользоваться их недожитым счастьем? Что бы ни вспоминал Сергей из судьбы брата, всегда почему-то приходили на ум случаи из детства и немного из юности: всё какие-то проказы, озорство, хулиганство. Взбалмошный какой-то был он, Тимофей, да и родители ему позволяли и прощали больше, чем старшим. У иного стремянского парнишки два-три эпизода за детство, которые запомнились на всю жизнь, а у этого дня не проходило, чтобы куда-нибудь не залез, что-нибудь не натворил, не выкинул. Шестилетним еще поплыл через речку и чуть не утонул. Хорошо, поднесло его к сваям, на которых стоял мост. Уцепился, обнял осклизлый конец сваи и провисел на нем несколько часов. Хоть бы крикнул, позвал на помощь. Петруха Лепетухин, работавший на пароме, заметил его и снял... И сейчас Сергей вспоминал, и, пожалуй, впервые в жизни как-то выстроил в цепь и свел воедино все случаи, которые раньше казались нормальными, само собой разумеющимися и не вызывали особого интереса. Но тут, сквозь призму маячившей смерти брата, вдруг все являлось в другом свете и наполнялось другим, каким-то символическим смыслом. Ведь приди это раньше, и он бы, возможно, *предугадал* всю его жизнь. Но почему, почему человеческая жизнь просматривается единым взглядом только после смерти? Глухие мы, слепые, что ли, пока

жив человек? Даже близкий тебе? Или черствеет душа и своя жизнь всегда ближе к разуму, как своя рубаха к телу?

Но ведь и собственная-то судьба едва-едва лишь увиделась. И еще долго нужно вглядываться в нее, мысленно перебирать факты, поворачивать их то той стороной, то этой, как крутят перед глазом калейдоскоп, и вряд ли сразу запомнишь и поймешь все ее замысловатые узоры.

Всю ночь Сергей прослонялся по катеру, вполуха слушал уполномоченного, вполуха — негромкие разговоры лейтенанта с людьми на задержанных лодках и ловил себя на ощущении, что все это уже было, и переживаемые моменты казались уже когда-то пережитыми. Но как бы ни мучил память, вспомнить, что дальше, не мог. Иногда он почти приближался, было совсем «горячо». Лейтенант с автоматом наперевес выезжал на перехват ночной лодки, и чудилось, сейчас загремят выстрелы, однако глох даже вой моторов и слышалась только негромкая, однообразная беседа. Точно так же не стреляла и память.

Утром Мишка Щекин вытянул самодельный якорь на веревке, и катер снова пошел вниз. Дождавшись первой встречной самоходной баржи, Щекин на ходу подчалился к ней, и лейтенант пошел на судовую рацию, узнать новости и распоряжения. Вернулся он скоро, грохоча сапогами, ворвался в рубку.

— Гони без остановок! Ниже замлечерпалка стоит, лодку со дна подняли...

Под высоким яром стояли две баржи и плавучий кран, приспособленный для добычи и погрузки гравия. Кран бросал в воду раскрытый, похожий на цветок, четырехлепестковый ковш и, дрогнув стрелой, поднимал добычу, сваливая ее на палубу баржи. Мутная вода потоком стекала в реку.

— Ночью ребята подняли, — объяснил капитан землечерпалки. — Думали, опять ковш полетел, пустой идет, а там лодка... Бросить хотели, но моторист надпись увидел...

Лодка лежала на пустой палубе самоходки, ожидающей погрузки. На вид была почти целая, разве что ковшом слегка помяло борт. Однако лейтенант сразу же нашел в носовой банке, которая обеспечивала лодке непотопляемость, прорубленную топором дыру. Посудину бы наверняка сроду не нашли: замыло бы в песок там, где ее утопили, но убийцы второпях промахнулись. У такого типа лодок было еще две небольших банки в корме, и они не дали ей лечь на дно. Видимо, течением ее затянуло под яр, где добывали гравий. Только вот откуда? Речники с землечерпалки и самоходок уверяли, что близко от них ничего не случалось...

Скоро прилетел начальник милиции. Вертолет, покружив, опустился на палубу пустой баржи. Начальник обошел лодку, осмотрел ее, вынул из багажника корзину, в которой налипли молодые, но уже почерневшие лепестки колбы, мазутную фуфайку и несколько сетей. Затем еще раз осмотрел транец и сел на палубу, сняв потную фуражку.

— Все, искать их бесполезно, — проговорил он. — Если только сбудет вода... Да и то замоет...

Сергей нащупал руку отца. Отец был спокоен, стоял прямо, лишь таилась в его глазах необъяснимая вина...

— Они привязали тросиками моторы... — начальник милиции ударил кулаком по гудящей палубе, встал и вдруг с силой пнул свою фуражку. Фуражка улетела за борт и аккуратно приводнилась. Он вытер лицо пыльными ладонями и распорядился грузить лодку в вертолет. Затем подошел к Заварзину: — Мы с ним... Мы с ним были...— пробормотал он и вскинул голову. — Я найду этих сволочей! Клянусь!

Отец молчал. Только его сухая рука в руке Сергея сжалась в кулак. Он вздохнул, переводя дух, расслабился.

— Ищи... А нам домой надо. Дети там...

Сергей с отцом сидели в вертолете около лодки, будто возле гроба. Вой двигателей закладывал уши, и можно было стонать, не открывая рта, даже плакать, но без слез — никто бы ничего не заметил. А хотелось плакать по-настоящему, как плакалось однажды в детстве на новогодней елке, но в замкнутом пространстве летящей над землей машины для этого не было места. И Сергей держался, потому что держался отец. Только на его натянутом горле почему-то часто ходил острый кадык, словно он что-то хотел проглотить и не мог...

25

Подъезжая к своему дому, Сергей заметил неожиданное безлюдье, распахнутые настежь ворота, пустые дворы и улицы, брошенный посередине дороги ящик с инструментами, какое-то тряпье и рваные газеты. На миг возникло чувство, будто население Стремянки, впопыхах собрав вещи, бежало из села, как бегут от чумы или извержения вулкана. С этим же чувством он остановился возле своего палисадника и, заглушив мотор, сразу уловил необычную тишину. Мимо с ревом пробежала корова, замерла на взгорке, по-собачьи насторожив уши, и вдруг метнулась в проулок. Сергей вошел во двор и увидел раскрытые двери.

— Дед? — окликнул он, взбегая по ступеням крыльца. — Иона?

Все крыльцо оказалось залитым соляркой, а возле перил валялась на боку пустая канистра. Сергей подобрал ее и огляделся. Даже не входя в дом, он понял, что там никого нет. На всякий случай пробежал по комнатам первого этажа, поднялся на второй — пусто. В старой избе на окнах бились осы...

Сергей достал бадью воды из колодца, напился через край и, вытирая лицо полой куртки, прислушался. Стремянка словно вымерла, только где-то в центре, у старой церкви, натужно и гулко мычала корова. Он заглянул в соседний двор, постучал в калитку — откуда-то из-за сарая вывернулся лохматый пес, но не залаял на чужого, а с визгом бросился навстречу.

— Где люди-то? — сказал Сергей.

Пес скулил и терся о ноги, а когда Сергей двинулся дальше, волочился следом, пока он не вышел на центральную улицу, направляясь к церкви. И едва впереди стало видно пестрое скопление народа, едва послышался курлыкающий нестройный говор, как пес обогнал его и радостно залаял.

Возле церкви, где раньше устраивались мужские посиделки, вокруг пыльного микроавтобуса колготилась чуть ли не вся Стремянка. Издалека еще Сергей увидел женщину в белом халате, которая энергично жестикулировала, что-то объясняя собравшимся, и порывалась сесть в кабину. Ее удерживали. Видны были красные потные лица, мокрые рубахи на спинах, детские головенки, старушечьи платки. Сергей прибавил шагу. В первых рядах односельчан был старец Алешка. Он размахивал клюкой, лез к машине, но мужики, подступая к женщине, каждый раз отжимали его назад. Мелькнуло возмущенное лицо Михаила Солякина. Чуть в стороне, заглушаемые хором голосов, о чем-то яростно спорили братья-близнецы. Какая-то старуха отгоняла прутиком босоногого мальчишку. И тут же человек шесть мужиков, стоя у заднего бампера микроавтобуса, весело смеялись, а один вовсе сгибался пополам и вытирал слезы.

Женщине удалось было вырваться из толпы и закинуть ногу на подножку, из кабины несколько рук подхватили ее, но бойкая бабенка в косынке — жена одного из братьев Забелиных — уцепилась за белый халат, чуть ли не сдирая его с плеч.

— Жалуйтесь! — услышал Сергей пронзительный и утомленный голос женщины. — Хоть министру, хоть дьяволу! Меня не такие пугали!

— За сколько продалась? — орали откуда-то. — За сколько тебя нефтяники купили?

— Справки! Справки пиши!

— Государство обязано купить больных пчел! — хрипло и жестко доказывал один из пчеловодов, потрясая кулаками. — Пусть не темнит! Законы знаем! Знаем законы!

— Что, с сумой по миру? Бабы, не пускай ее! Справки!..

— Вар-р-ратоз!

Старец неожиданно вырвался вперед и стал бить клюкой по машине. Шофер замахал на него рукой, мужики бросились старика оттаскивать, а женщинна тем временем заскочила в машину и захлопнула дверцу. Двигатель взревел, сиренный вой клаксона оглушил собравшихся, но машина не тронулась с места. Мужики у бампера уже не хохотали, а, краснея от натуги, держали на весу задок микроавтобуса. Бабы лупили кулаками по обшивке.

Сергей остановился возле мальчишек на велосипедах, огляделся: Ионы не было.

— Пустите, люди! — фальцетом кричал старец. — Что вы? Что вы делаете?! Опомнитесь!

Мужики груза не удержали, кто-то дрогнул, выпустил бампер, и колеса схватили землю. Машина ринулась вперед, люди брызнули в стороны. Какая-то баба, подняв ком земли, метнула его в заднее стекло. Облако выхлопного дыма медленно поднималось над толпой.

Старца отпустили, вернее, на миг забыли о нем. Разгневанная толпа обернулась вслед уезжающей машине, и Сергей разом увидел лица своих земляков...

А в памяти встала другая картина. В семидесятом году пожары бушевали возле самой Стремянки. Вокруг села шелкопрядник был выпилен и распахана широкая минполоса, однако жители день и ночь дежурили у околицы, забрасывая землей и заливая водой принесенные горячим вихрем угли и мелкие головни. Стариков, детей и скот вывезли на другую сторону реки, крыши домов засыпали землей, за огородами выжгли старую траву, однако все равно то тут, то там вспыхивали пожары. Черные от копоти, потные мужики и бабы с ведрами, лопатами и баграми носились по селу от очага к очагу, иногда низовой воздушный поток был настолько жарким, что трещали волосы и дымились рубахи. Старухи за рекой, стоя на коленях, вымаливали у бога дождь. Сергей приехал на каникулы и угодил в пожарную команду. И вот однажды, когда они только что в одном конце Стремянки потушили задымившийся сарай, раздался крик, что горит кедровая кладбищенская роща. Когда-то школьники спасли ее от шелкопряда, вручную засыпая отравой деревья, землю, могилы, так что несколько лет потом кладбище пахло дустом и хлоркой. Теперь через минполосу перекинулся огонь и занялись крайние кедры, деревянные ограды и кресты. Около ста человек, грязных, в изорванной и прожженной одежде, размахивая лопатами и баграми, бежали к роще. Сергей был в гуще этой толпы, видел только спины впереди бегущих, слышал густой ор и стреляющий треск горящей хвои. Народ вмиг запрудил кладбище, за несколько минут потушили ограду, кресты и вдруг остановились. Пламя проникло в кроны и, набирая силу, медленно разрасталось вширь. Уже пылали свечами несколько деревьев, роняя на землю белые хлопья пепла. Охваченные яростью, люди пытались сбить огонь, но земля не долетала — уставшие мышцы сводило судорогой. Кто-то потом догадался принести мотопилы и валить горящие кедры. Но пока за ними бегали, замерший в ярости народ стоял не шелохнувшись, и факелы горящих деревьев отражались в глазах...

Позже, вспоминая те минуты, Сергей ощущал какой-то восторженный прилив гордости. Хотелось крикнуть громко — это мой народ! Он побеждал и будет побеждать всегда!

Сейчас Сергей видел эти же лица, только сквозь сизый выхлопной

дым нельзя было рассмотреть выражение глаз... Мужики, державшие машину, откровенно веселились, с трудом распрямляя затекшие пальцы.

— Люди! — закричал старец Алешка и поднял над головой горящий фонарь. — Что вы собрались да стоите? Что вы ждете-то?

— Дед, а давай спляшем! — закричали весело мужики. — Ну-ка, покажем, на что вятские мужики годятся!

— Отойдите, лешаки! — старец махнул впереди себя клюкой. — Свет застите!.. Что вы прилипли-то, мужики! Разве не видите, солнышко совсем уж не светит, совсем тусклое сделалось. Уходить надо отсюда, уходить! Чего вам держаться? Земля не родит. Или все Егорку слушаете? А совсем темно станет, как жить-то будете?

— Уберите старика! — крикнул кто-то. — Нашли потеху!

Сергея словно подхлестнули. Он огляделся и пошел к Алешке, расталкивая мужиков, взял его под руку, потянул, однако тот дернулся, отмахнулся костылем.

— Не мешай, когда с народом говорю! Отойди!.. Ведь померзнете к лешему! Глаза-ти разуйте, без фонаря и выйти нельзя, экая темень! Ойдате за мной! Я знаю, куда идти! Я вас выведу! А Егорку не слушайте, обманет!

— Пойдем, Семеныч, — Сергей все тянул Алешку и оглядывался. — Над тобой же смеются, пойдем!

Он уже не видел отдельных лиц, не узнавал никого. Толпа, поредевшая было, теперь вновь сгущалась к центру. Кажется, кто-то плясал за спиной...

— Куда идти? Куда идти теперь, дед? — раздавались чьи-то голоса. — Все, отпанствовали! Туши свет! А где Ревякин?

— А куда я пойду — и вы за мной! — призывал старец, машинально сопротивляясь: вздулись и окостенели дряблые мышцы, повлажнела рубаха. — И фонарем, фонарем светить буду. Вы на свет-то ступайте, не потеряетесь! Ойдате, ойдате, мужики! — И шарил невидящим взглядом по головам и лицам людей.— Ойдате! Баб с ребятишками берите! Ведь пропадете без меня, лешаки! Я фонарем-то...

— Домой, домой! — твердеющими губами повторял Сергей. — Это же я, Сергей. Послушай меня!

Старец не узнавал. От возбуждения он покраснел, и седая борода казалась белой как снег, на кадыкастом горле вздулись жилы, и только блеклые глаза оставались мутными, в серой накипи.

— Да отпусти ты деда! — дернули Сергея за руку. — Ну-ка, дедок, тряхни стариной! Вон гармошку несут!

Сергей отбил чью-то руку, выпустил старца.

— Вы что, слепые! — закричал он, боясь, что не докричит — кривился рот. — Брата убили!.. Поскребыша, Валю убили!.. Дети остались... Вы что?..

И, уже не видя ничего, не чувствуя рук своих, он схватил старца в охапку и пошел туда, куда стоял лицом.

Старец барахтался, размахивая фонарем, и все еще кричал — то ли ругался, то ли звал...

На крыльце дома Сергей усадил Алешку и сел сам, привалившись головой к перилам. Старец на глазах ослабел, стал маленьким, щуплым, словно болезненный, с заячьей грудью, подросток. Фонарь стоял у него в ногах, и сквозь закопченное стекло тускло просвечивался косой клинышек огня.

Отчего-то болели руки, кружилась голова и першило в горле, словно от угара и усталости на пожаре. Сергей сходил к колодцу, достал воды и, напившись, облил голову. Потом взял старца под руку, прихватил фонарь.

— Пошли, дед, в избу.

Алешка безропотно встал и поплелся рядом, щупая рукой пространство.

— А я ведь грешник великий, — вдруг признался он и хитровато засмеялся. — По старым временам, в рай-то мне пути нету...

— Ничего, бог простит, — утешил Сергей.

Он завел Алешку в комнату, уложил на кровать, снял сапоги. Ноги у старца были желтые, полупрозрачные и, кажется, источали свет.

— Ты что за человек? — спросил он умиротворенно. — А, ладно, теперь все равно... Я тебе сказать хочу...

— Потом, Семеныч, — Сергей прикрыл его одеялом, приподнял повыше подушку. — Ты полежи... Мне ехать надо, понимаешь? Я Иону найду и пришлю сюда. А ты полежи. Мы скоро все приедем. И отец приедет...

— Я подожду, — согласился Алешка. — Только ты мне воды поставь. Что-то в груди печет. Березового соку охота...

Сергей вышел на кухню за водой и услышал глухой шум на улице. Он поставил рядом с постелью ковш, выглянул в окно. К заварзинскому двору подтягивались мужики, человек десять уже стояли у ворот, среди которых Сергей заметил багровое лицо Михаила Солякина. На крыльце застучали шаги.

Сергей сбежал вниз, разминулся на ступеньках крыльца с двумя мужиками, направляясь к калитке, однако его окружили, заговорили негромко и разом.

— А что вы молчали? Где убили-то?.. Во, двух человек убили, а все молчат!

— Когда убили?

— Найдем! Враз найдем!

— Весь район на уши поставим!

Говорили и, видимо, чувствуя, что оправдываются, злились, ярились от этого чувства.

— Два дня искали, — сказал Сергей. — Лодку пробитую нашли...

— Да что искали! Мы знаем, как милиция ищет!

— Айда, мужики! Бери ружья! — заорал Михаил Солякин. — Отомстим сволочам! Это вербаши с Запани, больше некому.

— Сиди, какие тебе ружья! — обрезал кто-то. — В кого стрелять?

— А найдем в кого! — подхватили мужики. — Бери!

Сергей приблизился к Солякину, сказал, глядя в сторону:

— Присмотри за дедом. Я сейчас Иону найду.

Михаил вытер густо потеющее лицо подолом рубахи, глянул обескураженно.

— Да что же это делается, мужики? — звенящим голосом спросил кто-то за спиной.— Война, что ли, людей уж бьют! Ведь не медведей, а, мужики?

А к воротам еще подъезжали и подходили — женщины, старухи, ребятишки на велосипедах, и мелькали перед глазами Сергея все новые лица...

В тот вечер, когда у Заварзиных сожгли пасеку, Иона ночь просидел возле пепелища в обнимку с Артюшей. Он жаловался стремянскому дурачку на свою жизнь, однако тот не понимал и все звал взять ружья, зарядить медными пуговицами и пойти стрелять оборотней.

— Артюша, ты погоди, — уговаривал он. — Ты послушай меня. Моей жизни никто не знает, никто не видит! А она ведь есть! И какая была, Артемий!..

Ему вспоминалось время, когда Стремянский леспромхоз был в самом расцвете. Тайга кругом была еще зеленая, особенно по утрам. Поднимающееся солнце подсвечивало деревья как бы снизу, и в неярких лучах лес сам начинал светиться. Какая красота мчаться на мотовозе в

такие минуты в предчувствии целого дня горячей и какой-то отчаянной работы. Бригада вальщиков с «Дружбами» расходилась по лесосеке, но еще несколько минут висела звонкая тишина — курили, приглядывались к деревьям, выбирая, какое куда валить. Обреченные кедры ни о чем не подозревали, и было их немного жаль: что-то щемило в душе, порой возникал легкий, мимолетный страх, знакомый тем, кто валил большие деревья. «Ты столько лет стоял здесь, но пришел я и срублю тебя!» — как бы мысленно разговаривал с ними Иона, отгоняя или давя в себе испуг. А тем временем по всей лесосеке почти разом взвывали мотопилы, голубые султаны дыма вонзались в зелень и висели в недвижимом воздухе, пока не падал на землю первый кедр и кроной своей не поднимал ветер. И мгновенно отлетал страх, вместе с грохотом и ветром душа наполнялась какой-то яростной удалью и отвагой. Он ничего уже не видел, кроме свистящей цепи на полотне мотопилы, веера тугих опилок и крепкого, мощного тела дерева. И не чувствовал ни таинства утреннего света, ни запаха молодых кедровых шишек — только вибрацию рукояток в руках и сладковатый привкус выхлопного газа. Кто-нибудь кричал присловье, оставшееся на устах со времен веревочных заготовок:

— Крути, верти, наматывай! Медали зарабатывай!

Иона вырезал клин, указывая дереву, в какую сторону падать, и, закусив губу, опиливал его по кругу. В какой-то момент — нужно было не пропустить! — раздавался первый глухой треск лопнувшей сердцевины, после которого стоять у кедра было так же опасно, как возле разъяренного быка. Падая, дерево будто оживало, оно могло сменить направление, а то и вообще пойти по кругу, как бы выбирая место, куда лечь. Или вдруг, упершись кроной в другие деревья, сорваться с пня и ударить в землю. Но после того, как, отбивая хрупкие сучья, кедр укладывался на землю и дождем обсыпалась сбитая хвоя, наступала минута облегчения и ощущения победы.

Бывало, что дерево, опиленное со всех сторон на всю глубину полотна, оставалось стоять даже не дрогнув. То были кедры с крупной сердцевиной. И тогда приходилось драться с ними, вырезать большой кусок их тела, чтобы дотянуться жалом пилы до самого нутра. А если под руками был трактор, то вокруг кедра заводили трос и доламывали его, ссаживая с «постамента».

Бог весть какой памятью Иона помнил все сваленные деревья...

На лесосеку часто приезжал директор леспромхоза Солякин. В то время многие начальники уже носили костюмы, рубахи с галстуками, а он ходил в скрипучих хромовых сапогах, в синих галифе и кителе с глухим воротом; зимой надевал бурки, серую папаху, отчего уши на морозе торчали как два красных фонаря, и тужурку-москвичку. И именно в таком одеянии он казался Ионе олицетворением начальника. Иона не лез на глаза, смотрел обычно со стороны и про себя восхищался. Ему нравилось все в Солякине: как он ходит, как говорит и смеется и что ездит не на «Эмке», а на паре горячих выездных коней в черной кошеве.

После армии, когда Иону назначили бригадиром вальщиков, он долго носил военную форму без погон, пока та не потрепалась, не засалилась от кедровой смолы и мазута, — бригадир был таким же вальщиком. Но не прошло и года, как он стал техноруком и справил-таки себе хромачи с синими галифе, однако надевать пока стеснялся. Несколько раз, собираясь утром на работу, Иона обряжался в обнову, смотрелся в зеркало, прогуливался по избе, скрипя сапогами, затем переодевался в потрепанный пиджак, натягивал кирзачи и выходил на улицу.

Когда на стремянскую тайгу обрушился шелкопряд, догола раздел лес и, можно сказать, раздел враз обнищавший леспромхоз, Иону назначили начальником лесоучастка, созданного в Стремянке. Ему доста-

лись по наследству выездные солякинские жеребцы, черная кошева и брусовая контора. Наконец-то он отважился выйти в форме на люди. Поначалу казалось, дела пошли на поправку, Иона мотался на лошадях по лесосекам, где теперь рубили дровяник, бодрил мужиков:

— Крути, верти, наматывай! Медали зарабатывай!

Нашел выгодное дело — валить осинник для областной спичфабрики, потом организовал цех тарной дощечки и штакетника, думал развернуть производство лыжной болванки — кое-где были рощи березняков, однако, сколько бы ни маялся, сколько бы ни досаждал начальству, труд его выглядел спичкой по сравнению с когда-то известным стремянским карандашом.

— Заварзин, ты с такой прытью и кусты вокруг Стремянки повырубишь, — увещевало начальство. — Оставь хоть пару веток, а то воронам гнезда вить негде!

Скоро его перевели в город главным инженером лесокомбината и еще через год сделали директором. Сдавая дела, старый директор наконец обратил внимание на вид Ионы.

— Послушай, Заварзин, что у тебя за старорежимная форма? — спросил он. — Пора, пора снять. Ты погляди, кто теперь так ходит? Привыкай помаленьку к цивильной одежде, как ни говори, директор. Теперь новый тип руководителя, понял?

Иона робел перед вчерашним начальником, которого переводили на высокую должность в управление. И уже сам стеснялся своего вида. Но будто из счастливого детства стоял в памяти директор Солякин — ладный, красивый и всемогущий. Перед ним трепетали даже бывшие зеки, ссыльные и вербованные.

— А новый тип — это демократичность, — поучал бывший директор. — Это костюм с иголочки, такт, уважение к человеку. И чтобы в сейфе коньячок стоял. С лимончиком. Понял?

Иона входил в новую должность, как когда-то в вековечные кедровые леса. Еще не ревели моторы, не ел глаза сладковатый выхлопной дым и что-то щемило душу, что-то навевало легкий, мимолетный страх...

Весь следующий день после разорения пасеки Иона проспал на чердаке, насквозь провонял хлоркой, запах которой невозможно было ни отмыть, ни отшибить крепким одеколоном.

Под вечер он переоделся в костюм-тройку и пошел пешком в Стремянку. Однако на полдороге его встретил Сергей.

— Поскребышка с Валентиной убили, — сказал он.

Иона сел к нему в машину и тупо уставился на черную панель.

— Это рок... Рок над нами висит!

— Поехали домой. Там Алешка один, да и посоветоваться надо... Дети остались.

Иона попросил остановить на окраине села, вышел из машины и направился в сторону Запани.

— Погоди! — крикнул Сергей. — Куда ты?

В Запани было полно милиции — проверяли сезонников, съехавшихся на сплав. Иону тоже остановили, но рядом вовремя оказался дядя Саша Глазырин.

— Ты к ней не ходи сейчас, — сказал он. — И вообще, забудь пока. Потом, мы с тобой потом...

— А мне все равно! — отрубил Иона. — Я больше не могу.

Катерина была дома, как всегда в это время, сидела за рацией и диктовала в микрофон какие-то цифры.

— Катерина, выходи за меня, — сказал он прямо и сразу. — Брата убили...

— Нет, Иона, — вздохнула Катерина. — Зачем ты мне такой?

— На моего отца глаз положила? — сурово спросил Иона. — На

старика? — Ты же меня без ножа режешь! Я только жить начал, пить бросил!.. Не пойдешь, и я умру, как брат мой.

— Ты не умрешь, — вздохнула Катерина. — Ты долго жить будешь... Послушай, Иона Василич, иди и больше не попадайся мне на глаза.

— Так не пойдешь? — он выпрямился. — Ну, гляди, Катерина. — Я на твоей совести буду!

Он скрипнул зубами, секунду постоял, держась за голову, затем стремительно вышел на улицу. С визгом отлетела калитка и, покачавшись маятником, осталась полуотворенной.

Иона подбежал к магазинчику, который уже кончал работать, и постучался в запертые изнутри двери. Продавщица еще была там: горел свет и скрипели передвигаемые ящики.

— Не открою! — сказала она. — Милиция запретила сегодня водку давать. Иди отсюда!

— Да я Заварзин! — крикнул Иона.

Фамилия сработала, как отмычка. Продавщица впустила его, глянула с жалостью.

— Что Тимка-то ваш? Правда...

— Правда, — бросил Иона. — Водки!

Она торопливо выставила бутылку. Иона бросил деньги, взял бутылку, однако вернулся от порога.

— Стакан!

— Ой, господи! — причитала продавщица, доставая стакан. — Сирот-то, сирот скоко осталось! И как они, деточки горемышные, жить-то будут?

— Не ной! — отрубил Иона. — И так тошно...

Продавщица умолкла, зажав рот ладошкой, испуганно вытаращила глаза. Иона вылетел из магазина, заталкивая бутылку в карман, и побежал к реке. Но тут откуда-то вынырнул мужичок в фуфайчонке, надетой на голое тело.

— Земеля, угости! Башка трещит — умираю!

— Пошел! — отмахнулся Иона.

Однако мужичок-сезонник повис на руке:

— Спаси, земеля! От смерти спаси! Мне грамм пятьдесят...

Иону затрясло:

— Убью! Я псих, понял?

Мужичок отшатнулся, запахнул фуфайку и с оглядкой потрусил прочь.

Иона пришел к запани — устью реки, запруженному молевым лесом, спустился к воде. Наплывали легкие сумерки, однако пылающий закат еще освещал деревянное месиво и редкие окошки чистой воды. И в этом красноватом свете лес в запани казался сбитым, связанным в крепкий плот, чем-то похожий на деревянный мост. Иона сел на обсохшее бревно, потрогал воду рукой. Вода была еще холодная, жирноватая, как остывшие помои, и пахла еловой смолой. Он вытер руку о штаны, зубами сорвал закупорку с бутылки, налил полный стакан, бутылку заткнул сучочком. Пить сразу не стал, поставил водку перед собой на бревно и замер, сцепив на коленях руки.

Вспомнилась детская забава: они, подлетыши лет по пятнадцать, уже драчливые как молодые петушки, но еще без царя в голове, приходили в запань, чтобы бегать по бревнам. Если ты ловкий, подвижный и сильный, если не тетеря и душа у тебя в пятки не уходит, то можно, ни разу не искупавшись, перебежать реку туда и обратно. Только нигде не дрогнуть, не остановиться на вертящемся и скользком бревне — только бежать вперед, интуитивно выбирая путь. Иначе обглоданная льдом, водой и камнями лесина, тяжкая от воды и мылистая сверху, вмиг опрокинет тебя, вывернувшись из-под ноги, и тогда ты сам окажешься под лесом, как под крышей. И если успеешь вовремя сориентироваться, и если ты не треснулся головой о сутунок — еще не все по-

теряно. Потом, конечно, будут и смеяться над тобой, и дразнить, поскольку унижение ближнего — самоутверждение, но останется жизнь. Иона не раз скакал по бревнам, и эти забавы для него всегда проходили благополучно. А вот Тимка срывался и тонул, и однажды его чуть только вытащить успели. Не смеялись, потому что едва откачали... Но сколько опасности, сколько риска и азарта было в этой гонке! А как хорошо, каким чудным звуком отзываются бревна под голыми пятками! Будто колотят жердью по тонкому, осеннему льду.

За время существования сплавного рейда и запани парнишек за этим занятием потонуло человек пять. И никого из них не нашли. Из-под леса, как из-подо льда, вообще трудно что выудить. И темно под ним так же, как подо льдом...

Стакан стоял на бревне, чуть краснея от закатного зарева. Жидкость, сомкнув края посуды, слилась со стеклом, и определить было невозможно, полный стакан или пустой — настолько чистая и прозрачная была водка. Иона понюхал, подняв стакан, примерился выпить, но тут же поставил.

«Может, не начинать? — мелькнула мысль. — Ведь столько лечился...» И тут же решил: снявши голову, по волосам не плачут. Он залпом выпил, перетерпел горечь. Водка была холодная, как вода в реке, и почему-то круто соленая. Из морской воды ее делают, что ли? Или считают, что для бичей-сезонников любая пойдет, травят народ...

Новый тип руководителя из него не получился. Кажется, было все: с бичами и лодырями разговаривал мягко, насколько нервы терпели, перевоспитывал пьяниц без крутых разговоров и жестокости, иногда, засучив рукав, сам показывал, как надо работать электропилой на раскряжевке. Однажды, чтобы доказать начальнику участка, что тот зря получает деньги, отработал целую смену и сделал двойную норму, когда работяги и одной не вытягивали. И долго после этого ощущал какую-то светлую радость, приятную боль в мышцах и гордость.

Все было, коньяк в сейфе не кончался, лимоны двух видов — свежие и засахаренные. Однако новый тип все равно не вышел, и он лучше всех понимал, что не выйдет. Надо было хитрить и изворачиваться перед начальством, чтобы достать технику и запчасти, перед рабочими, которые брали за глотку — дай большую зарплату, дай премию, квартиры, сократи норму. И попробуй скажи прямо — не дам, потому что лодыри: немедленно пойдут письма и жалобы. И придется писать десятки объяснительных, получать выговора и слушать упреки, что он не чувствует времени, что он руководит по старинке, только волевым методом, а это неуважение к рабочему.

Он ничего не мог сказать в ответ, по-прежнему робел перед высоким начальством и ощущал желание спрятаться. Зато, вернувшись в свой кабинет, он запирался на ключ, доставал коньяк и пил без лимонов. А потом смелел, говорил все, что думает.

— Это разве рабочие? — спрашивал он. — Рабочий должен работать! А эти тунеядцы пьют и спят на работе... Распустили народ, демократы! Развратили рабочего! А человек обязан трудиться, иначе он не человек.

И вспоминал благодатные времена Стремянского леспромхоза, а потом лесоучастка, вспоминал скрип сапог, выездных горячих жеребцов и вожжи, которые сам держал в руках...

Иона выпил еще, поболтал остатки и с силой метнул бутылку в реку. Юзанув по лесинам, бутылка поскакала к другому берегу, словно плоский камешек, которым снимают «блинчики».

— Это вам, рыбы! — крикнул он. — За помин души!

Ощущая, как горячая волна первого опьянения охватывает голову и тело, он встал на сосновый кряж у берега, осмотрел запань. Лес шевелился на сильных речных струях, бревна бодались, толкали друг друга, теснили, а то и вовсе топили в темной воде; изредка слышался глухой стон или звон, похожий на радостный человеческий возглас. На

глазах Ионы редкостный теперь кедровый сутунок ткнулся в берег и, вспахивая песок, пополз вверх. Пачка елового тонкомера-крепежника, упершись в кедр, выдавливала его из воды.

— Ведь пробегу! — крикнул он. — Только разуюсь, и на той стороне.

Он скинул ботинки, подвернул штанины и для начала ступил на кедровый балан, однако вершина его потонула, и, чтобы не упасть, Иона прыгнул на еловую пачку.

— Пробегу! — смиряя внутреннюю дрожь, сказал он. — Вброд перейду!

И побежал.

Бревна, позванивая, уходили под воду, однако он успевал перескакивать, стремительно и безошибочно угадывая, куда поставить ногу. Казалось, ветер свистел в ушах, враз полегчавшее тело было подвижным и чутким, так что он даже не думал, как держать равновесие. Бревна выныривали позади него и долго, возмущенно крутились на одном месте.

Он помнил, что нельзя отвлекаться и думать о чем-то, но не стерпел. «Хорошо-то как! Хорошо! — про себя восклицал он, и дыхание дрожало от восторга. — Крути, верти, наматывай!..»

Приближалась середина реки, лес пошел крупный, устойчивый, можно было даже остановиться и перевести дух. Он выбрал толстую сосну, в несколько прыжков достиг ее и встал, широко расставив ноги. На той стороне щетинились обглоданные ледоходом тальники. За ними, на зеленеющем угоре, в вечерней дымке что-то прыгало и колыхалось — может, стадо коров, табун лошадей, а скорее всего накатывалась волна теплого ветра и шевелила кустарник. Весь тот берег, казалось, светился от заходящего за его спиной солнца, от нагретой земли поднималось марево. Иона вздохнул глубоко, намереваясь скакать дальше, и вдруг увидел с обеих сторон своего бревна полоски чистой воды, закрученные стремниной. Они были узкими — сколько он перемахнул таких, пока достиг середины! — но от сильного, пучащего воду течения, закружилась голова. Он присел, уцепившись руками за шершавую кору, сосна качнулась, норовя опрокинуться.

— Вот и хорошо, — вслух подумал он. — И концы в воду... Тимофей, братка, встречай.

Привстав на дрожащих ногах, Иона прыгнул в «окно», ушел с головой, но руки сами вцепились в какое-то бревно и вырвали тело на воздух. Еловый крепежник под грузом потонул, Иону понесло под плотный бревенчатый край «окна». Он успел развернуться к нему лицом, схватился руками, однако ноги уже завело под лес и тянуло самого.

И только сейчас он ощутил холод весенней воды, увидел тот берег, что недавно покинул, — крышу домика и антенну Кати Белошвейки, свет невидимого за берегом солнца. Вмиг отрезвев, он забарахтался и полез на спасительные бревна, которые тонули под ним и совсем не держали тяжести тела. Как назло рядом не было ни единого толстого дерева, к тому же намокший пиджак и жилет стесняли движения. Замерев на мгновение, он резко свел плечи и ощутил, как ткань расползлась на спине и враз освободила руки...

Он плохо помнил, сколько времени пробивался к берегу: молотил воду кулаками, карабкался по бревнам, дважды пытался встать на ноги, выбрав деревья потолще, и дважды уходил с головой в чернеющую пучину. И все это словно на одном дыхании, на одном порыве.

Когда он наконец выбрался на берег и упал на откос — понял, что оказался на другой стороне: в окнах Запани уже горел далекий свет, лес на воде растворился в сумерках, и слышалось лишь его глухое шевеление. Первой мыслью было крикнуть, попросить лодку, но вряд ли бы услышали его — километр от берега до берега... Потом он вспомнил, что чуть ниже должны быть боны и лесопропуски, через которые набивают кошели. Окоченевшие босые ноги не чувствовали ни древес-

ного мусора, ни сучьев, ни холода земли. Он добежал до тросов, удерживающих лес, и обнаружил, что бонов нет, что они еще плавают вдоль берега, прижатые течением, а натянут их тогда, когда бичи-сезонники нагуляются всласть и начнут работать.

Иона потрогал гудящий от напряжения трос, приложил к нему ухо: так слушали в детстве, когда становилось неинтересно рисковать и бегать по бревнам. Озноб колол спину, деревенил мышцы, чакали зубы. Он разделся, выкрутил одежду, снова натянул на себя, однако тепла не прибавилось, наоборот, стало холоднее, колотило так, что дергалась голова. Тогда он поднялся на берег, на тот самый зеленевший при дневном свете, а теперь темный угор, и стал бегать вокруг железобетонного мертвяка...

26

Дети знали и понимали все, может быть, чуть больше, чем окружавшие их взрослые. Они почти не плакали, за исключением поскребышка. Однако стали какие-то тихие, и если играли в свои детские игры, то негромко, без шалости, и все время старались держаться кучкой. А когда случалось, что кто-нибудь исчезал из виду, всего лишь на минуту, все бросались искать его, найдя, брали терявшегося за руку и долго не отпускали. Они играли во дворе, на крыше сарая, в непаханом еще огороде; играли в догонялки, в классики, в чехарду, но только не в прятки, потому что старшенькая запретила, и никто с ней не спорил, хотя раньше играть любили. Голящий должен был оставаться один, а им в это время хотелось быть всем вместе. Да и страшно было оставаться одному. Поиграв, они бежали в избу — глянуть на младшенькую, которая не слезала с бабкиных рук, и потом снова возвращались на улицу. В избе было неуютно и больно: бабушка в окружении соседок и подруг без конца выла.

— Ой, сиротинушки мои горемышные! Ой, да на кого вас батюшко с матушкой-то покинули! Ой, да что они наде-елали-и...

Младшенькая подтягивала ей и жалобила бабку еще больше. Сбежавшиеся с округи старушонки хлюпали носами, морщили и так морщинистые лица и, когда жалость перехлестывала через край, причитали все, хором. Дети слышали это и уходили подальше, в конец огорода, где по залогам рос прошлогодний паслен, достоявший до весны. Девчонки рвали ягодки, делили их на всех поровну и ели.

— Баба воет, — говорила Дарьюшка. — Папка плиедет — плотокол составит. Я маленькая — не вою, она болсая — воет.

— Папка не приедет, — серьезно говорила старшенькая. — И мамка не приедет. Их браконьеры убили.

— А баба сказала, они на небо улетели, — грустно промолвила вторая по счету, Анечка. — Потому что они ангелы безгрешные.

— Ангелов не бывает, — сказала старшенькая. — Все это бабкины сказки. Нам в школе говорили.

— Ну тогда они стали крылатые и просто улетели, — нашлась Анечка. — И теперь их браконьеры ни за что, ни за что не найдут.

— У меня все сопли текут, текут, — пожаловалась Наташа.—Ессе замуз не возьмут... Нос какой-то худылявый.

Если мимо их двора проезжала машина или проходили люди, они, где бы ни находились, бежали к воротам, висли на заборе и смотрели сквозь щели. А когда над головой пролетали птицы или самолеты, они задирали головенки и тоже смотрели за ними. Дарьюшка каждый раз падала на попку и махала ручкой:

— Ой, голова клузитца! Не могу плям...

Заварзин, послушав причитания сватьи, выбрал подходящую минуту, когда дети были на улице, и попросил, чтобы она не плакала и упаси бог не называла девчонок сиротками. Сватья обиделась и даже заругалась на Василия Тимофеевича, дескать, сам слезинки не прольешь

и мне запрещаешь. Я по зятю плачу, по доченьке своей, а ты ходишь — дундук дундуком, и будто сына тебе не жалко, детей—сирот круглых. Он попытался втолковать сватье, что сейчас слезами горю не поможешь, что надо думать, как дальше жить, как детей поднимать. И если все сейчас в рев ударятся, то кто же за ребятишками станет смотреть? Похоже, сватья в тот раз ничего не поняла...

Василий Тимофеевич подогнал к воротам большой грузовик, выпрыгнул из кабины и сразу попал в руки девчонкам. Они ухватились за руки, за полы пиджака; старшая повисла на шее, уцепившись сзади, а Дарьюшка протянула руки:

— Хоцю на луцки, хоцю на луцки!..

Заварзин поднял ее на руки и услышал в избе сватьины причитания.

— Баба воет, — объяснила Дарьюшка. — Ты усол — она воет...

— Сейчас, — сказал Заварзин. — Поиграйте пока...

Он вошел в избу и, не обращая внимания на соседских старушек, поднес сватье кулак:

— Видала? Еще раз услышу — не возьму! Одна тут останешься!

Старушки разом умолкли, моргали вытаращенными глазами и дыхнуть боялись. Сватья тоже оборвала вой на середине своей причети и замерла с открытым ртом.

— Хватит нервы трепать! — добавил Заварзин. — Все! Пикнешь еще — так тут и будешь... Чтоб про сиротство больше не слышал!

— Ой, что ты говоришь-то, Василий? — испугалась сватья. — Одну не оставляй! Я ведь с ума сойду, одна-то!

— А ты своим воем и меня, и ребятишек с ума сведешь!—отрезал Василий Тимофеевич. — Грузиться надо! Машину пригнал...

— На ночь-то глядя... — начала было сватья, но прикрыла рот.

— Нельзя здесь больше оставаться, — тихо проговорил Заварзин. — Ребятишкам тяжело, стены эти...

Он вышел на улицу и сообщил девчонкам, что сейчас они будут грузиться и поедут. Дети обрадовались, в печальных глазах мелькнул маленький отблеск восторга. Дарьюшка запрыгала на одной ножке.

Заварзин постоял с шофером у калитки, покурил, дожидаясь грузчиков. Пришли два уполномоченных с Твердохлебовым и начали выносить вещи на улицу. А вещей-то, по стремянским масштабам, и было всего ничего, кроме детских кроваток, зыбок да ребячьей одежонки. Был, правда, сватьин сундук, бог весть чем набитый, изъезженный снегоход «Буран» и машина, когда-то подаренная Заварзиным, и тоже почему-то неисправная. Василий Тимофеевич покопался в моторе, но так и не завел ее. Пришлось брать на буксир. Тем временем мужики сделали сходни и начали заводить двух коров. Коровы ревели, упирались, таращились на людей набухшими кровью глазами, и собравшиеся старушки тихонько плакали. Годовалого бычка и теленка со свиньей пришлось затаскивать волоком. Потом из плах соорудили загородку в кузове и погрузили вещи. Сватья вышла из избы последней, с поскребышком и иконой на руках. Присели перед дорогой кто где, и даже слегка возбужденные ребятишки притихли. Заварзин все поглядывал на улицу: должен был приехать Сергей. Не то всех ребятишек в «Волгу» не усадишь, тесновато будет, а в Тимофееву машину на буксире сажать опасно...

— Я хоть с соседями-то попрощаюсь? — пугливо спросила сватья.

Заварзин молча взял с ее рук девчушку. Та с любопытством выглядывала из ватного одеяла и ворочалась, стараясь высвободить ручку.

— Что ты ее завернула-то эдак? — сердито спросил Заварзин.— Не зима же... Ну-ко, давай ручки вытащим! Вот так!

Девочка взмахнула вольной рукой и немедленно засунула свои пальчики в рот Заварзину. Старшие девчонки окружили их, наделали из пальцев «коз» и стали «бодать» последыша. Дарьюшка прикосолапила к Заварзину и осторожно пропихнула головку под его руку...

Соседи провожали их тихо; сватья прощалась с оглядкой и шептала, предупреждала своих подружек, чтобы не плакали.

— Не любит он, уж молчите...

— Ишь, сам хоть бы слезинку уронил, и другим не дает, — ворчали старушки. — Крепкосердый, должно быть, сват-то у тебя... Ой, достанется тебе, девка.

— Дак теперь жизнь такая у меня, — косясь на Заварзина, шептала сватья, но из-за глухоты — громко. — Раз горе такое — как скажет. Ведь без него-то как? Эдакая орава... Сами-то упокоились, а нас мучиться оставили.

Заварзин не выдержал: похоже, назревал всеобщий рев. Жалость выплескивалась через край.

— Ну все, хватит! — приказал он. — Садись в машину!

Сватья расцеловалась со старушками и потрусила к «Волге».

В это время подъехал Сергей. Детей рассадили в две легковушки, меньших обложили подушками, чтобы не бултыхало на разбитой дороге, но тут заволновалась старшенькая:

— Ой, а рассаду-то, рассаду! Ведь уж взошла хорошо и большая...

— Некуда рассаду, — вздохнул Заварзин. — Да и темно уже...

— Мама посеяла, — тихо сказала старшенькая.

— Пойдем, где она?—Василий Тимофеевич покружился по двору, нашел ящик.— Раз мама сеяла — пускай растет.

Они стащили половики с парника, завернули пленку и стали копать рассаду. Одного ящика не хватило даже на капусту, а еще двести корней помидоров... Заварзин вернулся во двор и увидел возле ворот красный «Москвич». Катя Белошвейка уговаривала Сергея пересадить к ней в машину двух детей.

— Нам не тесно, — сказал Заварзин. — Уезжай, Катерина. Я тебя не просил помогать, уезжай.

Ребятишки таращились на них, и сквозь задние стекла белели их настороженные лица.

— Дождешься от тебя, — Катерина блеснула глазами. — Ты с ума сошел, Василий. Ты детей взял, а за ними уход...

— Все! — отрезал он. — Это мои дети, управлюсь!

Прихватил пару ящиков и направился было в огород, но вернулся, опустил голову.

— Если можешь, увези рассаду... Валя сеяла, пропадет.

— И за это спасибо, — бросила она и взяла из его рук ящики. — Хоть рассаду доверил.

Наконец все собрались, расселись по машинам, и Заварзин махнул рукой шоферу грузовика. Гомонящие ребятишки разом стихли, кажется, дышать перестали. Только Дарьюшка закричала:

— Поехали! Поехали! Ула-а!..

Василий Тимофеевич обернулся. Девчонки стояли на заднем сиденье на коленях и, сомкнувшись головенками, смотрели сквозь стекло на уплывающий дом...

Чтобы согреться, Иона бегал вокруг мертвяка, часто спотыкаясь о трос, и не чувствовал боли, пока не увидел в кровь разбитые пальцы на ногах. Однако согреться так и не смог, хуже того, обвязывая порванной рубахой ступни, понял, что не высидеть ему ночи на голом берегу: стоило лишь на минуту остановиться, как начинался жгучий озноб и трясучка. Тогда он вспоминал, что где-то рядом проходит дорога — гладкая, накатанная полевая дорога вдоль берега, по которой они в былые времена ребятишками играли в «поп-гонялу». По ней не то что босиком — боком катись.

Иона кое-как забинтовал раны на ногах, ступил в сторону от мертвяка и тут же потерял его из виду. Опустившись на четвереньки, он стал щупать землю руками, боясь пропустить в темноте колеи, и ско-

ро впрямь наткнулся на дорогу. Только давно неезженная дорога уже заросла травой, покрылась муравьиными кочками и кротовыми ходами, однако все же просматривалась далеко вперед. Он побежал неторопко, трусцой, постепенно разогреваясь и набирая скорость. Он старался не думать, что впереди целая ночь такого бега, а под утро станет еще холоднее, поэтому вспоминал, как играли в поп-гонялу. Голящий «поп» должен был догонять убегающих, чтобы тронуть кого-нибудь рукой и передать тем самым эстафету. Но условия игры были жесткими, суровыми, рассчитанными на терпение и выносливость, — бежать разрешалось только по прямой, в одну сторону, ни на шаг не сворачивая с дороги и без всяких хитростей и уверток. Это не простые догонялки, где часто побеждали ловкачи и шустряки; здесь приходилось выкладываться до последнего дыхания, чтобы не осалили тебя, либо осалить самому, если ты «поп». Иначе и за лето не отголишься. Случалось, убегали от Стремянки за десяток километров, а потом разворачивались и играли в другую сторону.

Сейчас Иона трусил по знакомой дороге и чувствовал одышку, хотя пробежал всего с километр. Воспоминания привычной ребячьей игры, в которой запросто покорялись и бревна в запани, и расстояния, почему-то теперь сбивали дыхание, ослабляли мышцы — видно, слишком велик был контраст, и он, сегодняшний, казался себе грузным, неповоротливым, бестолковым. Над такими в детстве смеялись, таким было тяжко жить среди мальчишек. А хочешь стать своим, наравне со всеми — сгоняй жир, тренируйся, выкладывайся. Пусть даже не выходит на первый раз, пусть отстал, но беги до конца, падай полумертвым, и тогда кое-что тебе простится. Такова мудрость и великий смысл ребячьей игры...

В какой-то момент Иона заметил, что не глядит под ноги, не выбирает путь, но и не спотыкается: ноги начали узнавать дорогу. Он сбежал с пригорка, и низинка показалась знакомой, однако пока не врюхался в длинные лывы, не мог узнать ее. Когда из-под ног полетели грязь и брызги, он вспомнил и, вспомнив, замедлил шаг.

Это здесь было то самое поле в двадцать гектаров, на котором овес ушел под снег. Это здесь вся Стремянка от мала до велика по щиколотку бродила в раскисшей земле и руками срывала колосья...

Когда-то на этой стороне реки пахали и сеяли, через каждую версту были шалаши, землянки и рубленые избушки пахарей, где в любое время года можно переночевать на топчане с соломенным матрацем и дерюжкой. Теперь же не только жилья, но и полей не найдешь: кусты, молодые березняки, догнивающие кедровые сутунки, когда-то занесенные большим половодьем. Помнится, в детстве отец показывал место, где была их, Заварзиных, земля еще при единоличном хозяйстве. Потом, когда Иона уже учился в школе, они с отцом привозили сюда деда Тимофея. Перед смертью ему очень захотелось глянуть на поле, которое он сам распахивал. Деда привезли на лодке, а от воды до земли Василий Тимофеевич принес его на руках и усадил на кучу соломы. Сам он уже не ходил. Дед Тимофей побыл на поле всего минут десять, поглядел вокруг, пощупал непросохшую землю и запросился домой. Таким же образом его увезли назад, а на следующий день он умер.

Деда Тимофея привезли из госпиталя в сорок пятом году, привезли едва живого. Ртом он не дышал, возле ключиц в нижней части горла у него была дырочка, заклеенная сеткой. И совсем не говорил, все показывал руками. Думали, что он долго не протянет — врачи говорили, — но дед Тимофей прожил больше восьми лет. Иногда он поднимался, ходил по избе, качал зыбку с Ионой, потом с Сергеем, делал деревянные игрушки. Иона помнил фигурку пильщика — мужичка с пилой в руках, которого если поставить на край стола и качнуть, то он долго качался и пилил. Однако больше дед лежал и лежа играл с ребятишками. Он выставлял руку из-под одеяла, а Иона с Сергеем

боролись с ней. Рука была желтая, всегда холодная, но сильная еще, так что они вдвоем едва перебарывали. Года два дед Тимофей вообще не вставал, и, когда ему было плохо, ребятишки махали картонкой над дырочкой в его горле, чтобы шел воздух. Дед оживал...

В год смерти деда и родился поскребыш Тимофей.

Дорога то уводила Иону в поля, то выходила на самый берег, и он незаметно для себя привык к бегу, к ночному сумрачному лесу и кустарникам по обе стороны. Он забыл о холоде, потому что разогрелся уже до пота, и лишь мокрые, деревянно шуршащие на ходу брюки напоминали о всем происшедшем. Наверное, он так бежал бы и еще, пока не кончится дорога, однако в очередной раз, когда колеи вплотную приблизились к реке, вдруг увидел на другой стороне огни, много огней. Это было так внезапно, что он остановился, теряясь в догадках.

Иона точно знал, что выше по реке километров на двадцать нет ни одной живой деревни. А тут светилось целое село — фонари на столбах, какие-то прожекторы и окна. Ожгла мысль, что он заблудился и ноги привели черт-те куда. Не мог же он пробежать двадцать километров.

Дальше он двинулся шагом, разглядывая дорогу и реку. Река в этом месте была узкая, зажатая с двух сторон материковыми берегами, и приближающиеся огни, казалось, висят над самой водой. Поравнявшись с ними, он попытался рассмотреть дома или хотя бы общий контур деревни, но яркий свет слепил и заметны были только отдельные крыши. И крыши эти казались незнакомыми.

Ниже всех огней, у самой воды, он увидел к 'тер: красноватое пламя маялось под ночным бризом и отражалось в реке. «Там же люди!—осенило его. — Раз костер горит...»

— Эй, кто-нибудь! Люди! — крикнул он.

Голос на реке показался громким и звучным. Кто-то ходил у костра—свет его на миг заслонился.

— Дайте лодку! Перевезите!

— Кто там? — спросил невидимый человек.

— Да я это, я! — обрадовался Иона. — Заблудился!

Он ждал, затаив дыхание. На той стороне брякнула цепь и через минуту заскрипели уключины.

— Навезли вас, бичей, — ворчал человек в лодке. — Нажретесь и дурью маетесь по ночам... Хозяева, в бога мать... Как щенят бы вас, камень на шею...

Иона дрожал от радости, как недавно от озноба.

— Это какая деревня? — спросил он. — Как называется?

— Во, — выругался мужик. — Ты откуда такой? С Запани, что ли?

— Я из Стремянки! — закричал Иона, хотя лодка уже была рядом. — Из Стремянки я!

Расставив руки, он подождал лодку, вцепился в ее нос и неловко полез через борт.

— Опрокинешь! — прикрикнул мужик. — А чей ты, из Стремянки?

— Заварзин, — сказал Иона. — Василия сын...

— Какой Заварзин? — оживился мужик и перестал грести. Лица его не было видно, только светлеющее пятно.

— Иона я, большак.

Брошенные на воде весла тихонько шевелились сами собой, лодку несло вдоль берега. Мужик сидел, опустив руки.

— Убили, значит, Тимофея-то? — спросил он наконец. — Вместе с женой, значит...

— Убили, — ощущая резкий озноб, вымолвил Иона.

— Осиротили детей, сволочи, — мужик достал портсигар, зажег спичку, и при ее мимолетном свете Иона увидел лысеющего человека с тяжелым лицом. — Что с ребятишками-то решили?

— Не знаю, — признался Иона.

Мужик несколько раз глубоко вздохнул, затянулся папиросой, освещая лицо, однако Иона так и не узнал его. Лодку развернуло носом к деревне, огни пропали за спиной, и лишь запечатленные зрением пятна их стояли в глазах. Мужик резко выплюнул окурок и решительно взялся за весла.

— А что тебя носит-то здесь? — с прежним недовольством спросил он.— Дома горе такое...

— Намок я, заблудился, — пробормотал Иона. — Это что за деревня?

— Яранка...

Иона привстал, качнул лодку.

— А огни? Ведь тут и нет никого...

— Погляди теперь, нет! — зло ответил мужик. — Наехали, паразиты...

И замолчал, громко сопя и взбуравливая веслами воду. А Ионе хотелось говорить, рассказывать, только он не знал, с чего начать. Лодка ткнулась в берег у самого костра, так что брызги попали на угли.

— Ты что же, мокрый насквозь? — вдруг спросил мужик. — Рваный какой-то... Грейся давай! Замерз?

Иона прильнул к огню, мгновенно окатившись паром, затем сел на пустой ящик и вытянул ноги. Повязки где-то слетели, но ссадины уже не кровоточили.

— Как ты считаешь, бог есть? — спросил Иона.

— Чего? — недобро протянул мужик.

— Бог, говорю, есть?.. Он спас меня сегодня. В запани чуть не утонул... Теперь вот ты на берегу очутился.

— Сам себя спас, — буркнул мужик. — Если б по воле божьей, так бы не изгваздал костюм-то...

Только теперь Иона разглядел, что пиджак и жилет изорваны в клочья, из дыр на плечах торчал рыжий ватин. Светились белые колени. Мужик примкнул лодку.

— Чего тебя в запань-то понесло?

— Выпил я... А потом утопиться хотел, — признался Иона. — Ну, не то чтобы специально...

— Дурак, — прорычал мужик. — Горя отцу мало?! Если свою жизнь не жалеете...

— Говорю же, по бревнам побежал, да и... Лес-то какой пошел? Значит, не смерть мне...

— Вставай, пошли в избу! — приказал он. — Утопленник... Бегом!

Иона бежал, словно по битому стеклу: болели ноги, спина, жгло исцарапанный живот. Яранку было не узнать. При свете фонарей он увидел с десяток брусовых срубов на месте, где стояли деревенские избы, выведенное под крышу каменное здание с пустыми проемами окон, и куда ни глянь — поддоны с силикатным кирпичом, кучи досок, железобетонных панелей, бетономешалки и стальные конструкции.

Мужик подвел его к сгоревшей избе, посредине которой стояла русская печь, велел обождать, а сам пошел сквозь крапиву, лопухи и нагромождение обгорелых бревен. Долго рылся там, шуршал углем и, вернувшись, бросил к ногам Ионы опорки от старых пимов.

— Обувайся... А то на другой конец топать: стекла, гады, набили — не ступишь.

Иона надел опорки, однако мужик уходить не спешил.

— Вот моя изба, — сказал он глухо. — Печь вот. На ней я и родился. Мать всех нас на печи рожала... Ничего, нич-чего! Заплатят!

И пошел вперед, словно забыв о своем спутнике.

Окна избы старика Ощепкина были закрыты новыми, белеющими в темноте ставнями. Дед с бабкой не спали, видно, поджидали кого-то. Ощепкин впустил их во двор, но только в избе увидел, что пришли

двое, и, увидев, нисколько не удивился, даже не спросил, кто, откуда и почему такой мокрый и оборванный. Иона последний раз встречался со стариком лет пять назад, и ему казалось, что Ощепкин не узнает его. Старуха, едва глянув на Иону, тут же открыла сундук и достала белые кальсоны и длинную белую рубаху, подала:

— Переоденься-ка, сынок, продрог, поди...

Иона переоделся, а Ощепкин набросил ему на плечи тулуп и, посадив за стол, подал кружку с горячим сбитнем.

— Ты хоть узнал меня, дед? — хлебая и обжигаясь, спросил Иона.

— Да как же вас не узнаешь? — вздохнул старик. — Если ночью да с шишками приходит человек, известно чей... Намедни отец твой такой же явился, нынче сын...

— Что ты городишь-то? Намедни, — перебила старуха. — Отец-то его в прошлом году битый приходил.

— Но? — чуть удивился Ощепкин. — Ишь ты, как время идет, а мне чудится — вот токо было.

Мужик, что привел Иону, сидел на пороге и курил, пуская дым в приоткрытую дверь.

— На смолзаводе был, — вдруг сказал он. — И смолзавод распахали, всю глину повывернули...

Старик будто и не услышал.

— Сколь еще терпеть-то будем, а? — у кого-то спросил мужик. — Так оно ничего, жить можно, если не думать. А как останешься один с землей да с совестью — думаешь...

— Ага, — признался Иона. — Я сегодня по дороге шел — игру вспомнил, поп-гонялу. Так тоже думал...

— Что ты думал?! — заорал мужик. — Все еще играете, в поп-гонялу! Бегаете!.. Не набегались еще?!

— Ты, паренек, завтра пораньше вставай, — как ни в чем не бывало сказал Ощепкин. — Я тебя по-за огородами провожу, чтоб эти басурмане тебя не видали. Чего доброго, опять драться полезут...

Мужик вышел на улицу, а Иона полез на печь. Возле порога лежала его одежда, скомканная, как змеиный выползок.

— Я не дрался, — сказал Иона, укрываясь тулупом. — А это что за мужик?

— Да ваш, вятский... Тоже ходит, мается, места не найдет.

Рубаха пахла свежевыстиранным и высушенным на морозе бельем. Иона пригрелся, ощущая, как блаженное тепло разливается по телу и притупляет боль, закрыл глаза и спросил:

— Слушай, дед, а бог есть или нет?

— Я, паря, не знаю, — покряхтел старик. — Тоже сомнение берет: есть — нет? Сколько уж смерти прошу — не дает. А кому жить охота — тому смерть посылает... Прости господи!

Он не видел, как вернулся с улицы мужик, услышал его голос:

— Ладно, спи... Завтра на мотоцикле отвезу. Что ноги-то бить?

Иона вздрогнул:

— Ты погоди, погоди! Я здесь побуду, полежу немного... Я ведь тоже на печи родился.

Невидимый старик бродил по избе и тихо, раздумчиво говорил:

— Что народу не хватает? Что эдакая канитель? Строят да жгут, строят да жгут — не поймешь нынче...

Дети были накормлены, умыты, уложены в постели, а все, что можно постирать и вымыть, постирано и вымыто. Но Катерина сняла с веревки подсохшее белье и взялась гладить. Заварзин молча подошел и выключил утюг.

— Хотела, чтоб на завтра меньше... — начала было она и осеклась.

— Поздно уже, — сказал он, хотя на улице было светло и лишь чуть начинал синеть весенний вечер.

— Там у меня в машине...

— Я исправил, — сказал Заварзин. — Фары не горели.

Она покивала головой, огляделась, словно припоминая что-то, и пошла к двери. Заварзин подождал у окна, когда Катерина сядет в машину, и поднялся наверх. Он хотел заглянуть к детям в комнату, но увидел старца, с баульчиком и фонарем в руках, тяжелая доха прижимала к земле.

— Куда ты, Семеныч? — шепотом спросил Заварзин.

— Пойду я, — сказал Алешка. — У тебя теперь есть за кем ходить, пойду. Я бы, Василий, с ребятишками поводился, да силы не те, какой из меня помощник? Пойду. К своим пойду. Должно быть, помру скоро, пускай они и хоронят. А то у тебя здесь ребятишки, напугаются еще...

Заварзин взял из его рук баул, подхватил под руку и повел по лестнице вниз.

— Брательника с кумом во сне видал, звали, — сказал он внизу.— Приходили за мной. Будто мы на Пижме-то березовый сок пили, ребятишки еще будто. Они мне березку подсочили, а сами дальше пошли. Я пью, а сок-от сладкий-сладкий, да эдак бежит хорошо... Брательник-то с кумом кричат мне и эдак рукой машут, подзывают... Пойду. Пойду березового соку попью. Давно не пивал...

Они вышли на крыльцо, но Алешка вдруг сел на ступеньки, подвернув под себя полу дохи.

— Ты меня послушаешь, Василий? — спросил он. — Сядь со мной и послушай. Я вот помирать собрался, а боюсь. Пока живой-то — не страшно, как-нибудь совладаю с собой. Но помру когда и — все. Придут и заберут мою душу... Ты не знаешь ли, Василий, как их провести-то можно?

— Кого? — спросил Заварзин.

— Да архангелов, — серьезно сказал Алешка. — Когда они по мою душу придут. Пока жил, думал, ничего! А собрался помирать, душу жалко... Ведь они с ней что захотят, то и сделают. В огонь бросят — ничего, боюсь, мучить станут.

— Ты не думай об этом, — сказал Заварзин. — Жизнь у тебя худая была, какие там грехи за тобой?

— Ты же про меня, Василий, ничего и не знаешь, — зашептал старец, отыскивая глазами лицо Заварзина. — Никто про меня не знает. Я ведь сколько народ-то обманывал. У министра-то, у Столыпина, я не был. А каравай-то, который общество дало, по дороге с товарищем съел. И в Германии-то я тоже не был... И церковь я зажигал. Грозу подождал, облил купола керосином и спичку сунул. В церкви-то ведь твой прадед сгорел, Степан-то... Ты уж меня прости. Кто мне еще более простит-то?.. Раньше как бывало: покается человек и снова живет. На том и держался народ. А я тебе перед смертью каюсь.

— Я же не поп, грехи-то отпускать, — проговорил Заварзин и привстал: возле ворот остановилась машина, во двор вошел Сергей.

— Ты мне Степана только прости, — прошептал Алешка. — Я за него прошу... За остальное уж как-нибудь. Я обведу их, архангелов-то, если придут. Я же хитрый. Они мою душу поищут...

— Я тебе гостя привез, — сказал Сергей и кивнул на калитку. За ним входил Иван Малышев.

Старец суетливо поднялся, подхватил баульчик с фонарем и застучал ладонью по ступеням, отыскивая клюку.

— Где Иона? — спросил Заварзин.

— А вот у гостя спроси, — Сергей подал Алешке палку. — Он тебе много чего расскажет... Жив твой большак, жив.

— Здорово были, — пробурчал Малышев и встал у крыльца, широко расставив ноги. — Я к тебе пришел, Тимофеич...

— Вы тут разбирайтесь, а я пойду, — Алешка нащупал клюкой

дорогу. — Только в какую сторону-то — покажите. Совсем уж темно стало и керосину нет...

— Сережа, проводи Семеныча, — сказал Заварзин. — Только из рук в руки... Понял?

— Сам... Сам пойду! — старец поднял клюку. — Не найду, думаете? Найду! Нечего меня по рукам таскать! Хватит! Сам!

Сергей отобрал у него баул, взял под руку и повел к воротам.

— Тимофеич! Ты наш депутат! Тогда скажи мне, что творится?! — Иван сел на крыльцо, выругался.

— Ребятишек разбудишь, тише. — Заварзин прикрыл дверь. — Окна одинарные, в избе все слыхать.

Иван глянул на окна дома, понятливо сбавил тон.

— Скажи, какого хрена?.. Ты посмотри, что они делают! Ты в Яранке давно был? Видал, как они пашут? Видал?

— Не видел...

— Поехали, я тебе покажу! — опять закричал Иван. — Болото делают! Пятнадцать гектар в сутки! По плану!

— Погоди, Иван, — Заварзин опустился рядом. — Куда же я сейчас поеду? Погоди, не могу.

— Что годить-то? Ждать, когда они все изнахратят? Нет, я ждать не буду! Я за тобой пришел. Идем, мы им устроим! Хозяева, в бога мать...

— Вдвоем-то мы ничего не сделаем, Иван. Посмеются, и все...

— Ну и сиди тогда! — Иван вскочил. — А я пойду, заведу бульдозер и эту контору к чертовой матери! Лучше в тюрьму сяду, чем смотреть на такое!

— Завтра у моего поскребышка именины, — сказал Заварзин. — Год исполняется. Ты приходи...

— Именины? — возмущенно спросил Малышев и отвернулся. — Нашел время гулять...

— Приходи. Я утром пойду гостей звать, а ты так приходи, сам. Именины дело серьезное. Человек только год на свете прожил. Целый год!.. Иван, у тебя же гармонь была. Ты же играл. Приходи с гармонью, а то моя так и лежит порванная...

Заварзин обнял его за плечи и ощутил, как вздрогнула спина под рукой и затряслась, сгибаясь и каменея. Руки и лицо Малышева были измазаны черной землей, грязные потеки ее засохли на шее, а косой шрам от виска и до ключицы, побагровев, в сумерках казался свежим, кровоточащим.

— Не плачь, Иван — попросил Заварзин. — Увидит кто...

И сам почувствовал, как сдавило горло и невозможно уже дышать, не всхлипывая. И моргнуть страшно...

— Мы ведь с тобой такое... — сказал он, — такое пережили... И сейчас переживем, не плачь.

И заплакал сам.

Темная дырочка уха без ушной раковины на голове Ивана смотрела, как пулевая пробоина.

27

И эта страшная рана зажила, хоть и ослепила медведя, сделала неспособным жить в одиночку, одному добывать пищу.

Теперь можно было полагаться на обостренный слух, на обоняние и еще на своего поводыря. Около месяца, пока он, почти обездвиженный, лежал в трущобах на берегу ручья, собака кормила его тем, что добывала у людей. Но когда ей не удавалось зарезать даже ягненка, она приносила пищу с помоек—плесневелый хлеб, тухлую рыбу и кости. Случалось, что он, как щенок, ел ее отрыжку...

Потом, когда медведь начал подниматься, они быстро научились

охотиться вдвоем. Собака находила лосиную матку, которая отстаивалась днем на чистых болотах, приводила его к этому месту, и медведь ложился в засаду. Собака заходила с другой стороны и осторожно гнала лосиху с детенышами на него. Пугать зверей было нельзя: сорвавшись, лесная корова могла резко уйти в сторону. Поэтому собака не лаяла, а всякий раз появлялась на глаза лосихе в нужном месте, как бы подправляя ее движение. Таким образом и выводила на засаду. Первый раз у них вышла промашка—лосята с маткой проскочили мимо зверя совсем рядом. Медведь сделал запоздалый скачок и ударился головой о сушину. Нужно было угадать движение лосихи и точно определить расстояние до нее. Во второй раз он угадал. Неожиданно появившись перед отступающими зверями, он сшиб лосенка и вслепую бросился за маткой, чтобы отпугнуть ее и сбить желание защищаться. Лосиха ушла, уводя за собой последнего детеныша.

Затем они сделали вместе удачный набег на пасеку. Ночью собака вела его по гарям в сторону старых вырубок, где держались сохатые, а он вдруг почувствовал близкий запах пчел и меда. Оставив поводыря, он свернул на этот запах и ощупью пошел к леваде. Собака догнала его, проводила до прясла и встала в растерянности. Но в этот момент залаял пасечный кобель, и все обошлось. Собака махнула через прясло, заставила пса трепетать перед ней, и пока лишенный воли охранник елозил на спине перед сильным противником, медведь проник на пасеку и унес улей. В кустах за минполосой он вытряхнул его содержимое и, отмахиваясь от пчел, выел соты. Тем временем собака лежала поодаль, забившись в траву: разозленные пчелы легко пробивали короткую шерсть и жалили тело. К тому же дог не ел меда...

Несмотря на довольно сытую жизнь после болезни, все-таки надо было уходить из этих мест. На гарях появились трактора и люди. Сначала они пахали землю возле брошенной деревни, и в этом не было никакой опасности. Однако скоро бросили пахать и в разных местах гарей поставили вагончики, пригнали бульдозеры, экскаваторы и начали утюжить землю, сталкивая вывороченные пни и валежник в огромные кучи. Когда вокруг вагончиков были расчищены широкие площади, люди стали рыть траншею. Рыли вдоль и поперек, отрезая тем самым гари от шелкопрядников. Можно было и это выдержать, но однажды днем вспыхнули острова сухостойника и горы пней среди раскорчеванной и изрытой земли. Дымом застлало все вокруг; по ночам его прижимало к земле, так что трудно становилось дышать. В дыму, как в тумане, они проходили несколько дней, ближе прижимаясь к пасекам, но и там пищи не было. Люди стали уходить с пасек, вывозить ульи и бросать избы. Зверь и собака шли от одной пасеки к другой и везде заставали либо торопливые сборы, либо вообще пустые разоренные дома с пустыми левадами. Некоторые оказывались уже заселенными другими людьми, теми, что корчевали и рыли гари. А на месте, где были ульи, теперь стояли трактора. На пасеке, в некогда заповедном углу, вообще ничего не осталось. Разве что яма на месте избы, набитая проросшей картошкой, да столбы, на которых когда-то висела колючая проволока.

Надо было уходить. Люди почему-то работали спешно, торопливо, и от вагончиков, от бывших пасек круги расчищенных территорий увеличивались с каждым днем, захватывая пространство гарей и шелкопрядников. Они пока еще были небольшими, эти отвоеванные у медведя территории, но дым и тракторный гул разносились повсюду, и скрыться от него стало невозможно даже в трущобах шелкопрядников. Казалось, человек стремился скорее застолбить, пометить своими метами отобранную землю. Бросал чистить и рыть гарь в одном месте и за один день переезжал на другое, внедряясь все глубже и глубже. Но и там долго не задерживался, оставив за собой круг изрытой земли и пылающую гору валежника. В течение месяца, с тех пор как медведь после болезни начал выходить на промысел, вся его территория ока-

залась помеченной, очерченной человеческими знаками, а пасеки разоренными. Надо было уходить, и путь оставался один — к кромке живого леса, в самую гущу шелкопрядников, лишь кое-где тронутых пожарами. Там была территория другого зверя, с которым приходилось уже сталкиваться после ранения прошлым летом. Однако поводырь не знал того места. Ко всему прочему, собака начала исчезать куда-то на всю ночь и возвращалась по утрам, без добычи, но часто в крови. По запаху медведь определил, что в деревне начался собачий гон.

И тогда он пошел один. Он знал, куда нужно идти, помнил направление, но шел медленно, не доверяясь ни слуху, ни обонянию. Нос забивало дымом, треск машин доносился со всех сторон. Медведь вышел уже на пахоту, когда его догнала собака и потрусила следом. Теперь он вел ее. Целый день они тащились по шелкопрядникам, по самым гиблым местам, где кроме мышей не было никакой пищи. На ночь медведь залегал в буреломнике, а собака опять бежала в деревню. Но когда они ушли на расстояние, куда уже не доносился гул тракторов, а дым был лишь по утрам, собака больше не оставляла его. Определив направление, она убегала вперед, подолгу где-то пропадала и, вернувшись, скулила призывно, поторапливала. Наконец они выбрались на опушку шелкопрядника, и медведь сначала уловил запах меты другого зверя. Он побродил вдоль опушки, обнюхивая деревья, нашел сухостоину с «пограничным знаком» и, встав на задние лапы, начертал свою грамоту, в полсажени выше, чем была хозяйская. Ощущение близости противника будоражило его, вызывало желание схватки. Он отыскал старый след «хозяина» и, забыв о собаке, пошел по нему, разжигая себя тихим утробным ворчанием. Однако поводырь выскочил ему навстречу и завертелся возле морды, поскуливая и предлагая остановиться. Медведь приподнялся на лапах, опершись передними о валежину, и вдруг ощутил привычный запах старой гари и близкой пасеки. Потом он услышал стук топора и громкое пение человека.

До глубокой ночи медведь и собака лежали возле неширокой гари, пока в другом конце ее не стихли все звуки. Иногда медведю не хватало терпения, он начинал ворчать, приподниматься на дыбки, но собака усаживала его или вовсе укладывала и принималась лизать зажившую, но еще раздираемую зудом рану. Она не чувствовала тех запахов, что дразнили зверя. Вернее, относилась к ним равнодушно. Будоражило ее другое—от человеческого жилья пахло мясом, причем свежим, кровавым. Единожды вкусив еще горячего лосиного мяса, она уже не могла забыть его сладости...

Ночью они подошли к пасеке. Выскочившая навстречу собака тявкнула несколько раз и осеклась. Через мгновение дог стоял над хозяйским псом, который, откинув лапы, скулил жалобно и подобострастно. Тем временем медведь прошел вдоль проволочной изгороди, нащупал свободный пролет между столбами и тихо ступил на территорию пасеки.

А собака, усмирив сторожа и увлекая его за собой, обежала строящуюся избу кругом и остановилась перед свежей, растянутой на стене медвежьей шкурой. Рядом, накрытая куском толя, стояла большая кадка, от которой пахло мясом. Дог стянул толь, но кадка оказалась закрытой плотно деревянной крышкой. Поскулив и слизнув засохшую кровь с ее боков, собака приступила к шкуре. Хозяйский пес, чуть осмелев, тоже потянулся было к ней, однако дог сморщил нос и показал ему клыки.

Они ушли с пасеки лишь под утро. Человек, уставший за день на работе, так и не проснулся, хотя сторож, проводив гостей до опушки шелкопрядников, вдруг залаял вслед, готовый в любую минуту отскочить на спасительное расстояние. Под его брех они углубились в сухостойную тайгу и залегли в буреломнике. Весь день собака настороженно прислушивалась к скрипу леса, к треску жучка-древоточца, изредка вскакивала, когда недалеко с хряском рушилась подгнившая

у корня лесина. Сквозь шум шелкопрядника доносился собачий вой на пасеке. Несколько раз дог выбегал на гарь и, забравшись на колодину, лежал там, всматриваясь в очертания строящегося дома. В этот день топор почему-то не стучал. А человек ходил по гари возле избы и громко пел песни. Он пел, пока не охрип. И тогда в глухом углу погибшей черной тайги слышался только собачий вой...

Вечером медведь вдруг забеспокоился. Он поднялся с лежки и ворча стал бродить, нюхать землю, отфыркивая ее запах. Он продирался сквозь завалы, натыкался на деревья, закладывая большие круги, пока не вышел на свой вчерашний след. Собака настигла его, забежала вперед, но медведь обошел ее и упорно двинулся по своему следу в обратном направлении.

...Через два дня они вновь вернулись на гари. Корма здесь не было: от дыма и гула ушло все живое, и сколько они ни бродили по выжженной и изрытой земле, ничего, кроме мышей-полевок и воронья, не встретили. Но и люди почему-то исчезли, вместе с тракторами и вагончиками, оставив за собой недорытые канавы и догорающие, чадящие костры. За несколько суток, с частыми остановками, они прошли все гари из конца в конец, затем повернули назад. Собака тянула зверя поближе к жилью, однако тот норовил пройти границей шелкопрядников. Он каким-то образом находил толстые, отдельно стоящие сушины, поднимался на задние лапы и драл когтями звенящую от крепости древесину. В это время дог лежал в стороне, дожидался, когда медведь отойдет, и тоже, обнюхав дерево, оставлял свою мету.

За все это шатанье по пустым гарям единственной добычей был кот, пойманный собакой на месте, где стоял вагончик. Дог отъел ему голову, а тушку принес медведю. Медведь обнюхал кота и есть не стал. Едва они отошли, как на кота набросилась стая воронья, разорвала его в мгновение ока, разлетелась по сторонам, чтобы в одиночестве склевать свой шмат, и только кошачья шерсть долго еще клубилась в замершем от удивительной тишины воздухе. Собака по-прежнему влекла зверя к человеческому жилью, а он с медвежьим упрямством лез в глубь гарей. Он ждал появления пищи и добычи. Он будто знал, что после всех бедствий и пожаров земля все равно не останется свободной, что рано или поздно сюда вернутся зверьки и звери, наконец вырастет ягода, вылезут грибы после дождя. И все окружающее вновь наполнится живым миром, где каждый займет свой этаж и свое место в нем, ибо свято место пусто не бывает не только среди людей, но и в природе.

Измученные голодом и бесконечными переходами, они вышли на закаменевшую под солнцем пахоту, и вдруг медведь, идущий впереди, лег, вжался в исковерканную землю. Совсем рядом он уловил пронзительный запах человека...

Сначала всем селом искали убийц. Разъезжались на лодках по реке, на машинах и мотоциклах по дорогам и проселкам, проверяли самые глухие углы и многолюдные места, расспрашивали всех встречных и поперечных, задерживали подозрительных и вели под ружьем в милицию. За неделю прочесали весь район, допросили с пристрастием всех известных стремянским мужикам браконьеров (а известны им были все), тряхнули «нефтяных королей» с базы отдыха, мелиораторов и рабочих-пахарей из Яранки, которые корчевали гари; навели такого шороха, что гул пошел по округе.

Съехавшись в Стремянке либо где-нибудь на перекрестке дорог, много говорили, будоражили друг друга, разжигались и вновь бросались на поиски. Каждый уже знал, что все это напрасно, что искать таким образом убийц бессмысленно — не сидят же они на месте! — однако стоило лишь собраться в кучу, как возникал какой-то массовый зуд поиска.

Спустя неделю, когда мужики начали уставать от собственной бестолковости, кому-то пришло в голову попробовать поискать в реке тела погибших Тимофея и Валентины. Где-то достали акваланги, сделали «кошки» и стали прочесывать дно во всех подозрительных местах. И еще несколько дней жили, захваченные единой целью...

Бросив наконец бесплодное занятие, мужики вернулись домой, однако расстаться не могли — собирались вечерами у церкви, шумели, спорили по пустякам, чуть ли не драться схватывались, будто маялись от какой-то неведомой, распирающей их энергии. Неизвестно, как бы все пошло дальше, если бы не пропал старец Алешка. На его поиски снова двинулись всем селом. Искали днем и ночью, помня, что он ходил всегда с фонарем. Пешком исхаживали гари вдоль и поперек, ездили по дорогам, стреляли, подавая сигналы, гудели автомобильными сиренами, кричали, звали и снова спрашивали всех встречных. Говорят, Алешку видели на тракте, будто у какого-то шофера он просил керосину, и шофер тот будто заправил фонарь старца соляркой. И еще спросил, мол, куда ты идешь, но старец не пожелал разговаривать и подался в сторону города. Потом будто видели его бульдозеристы из мехколонны нефтяников недалеко от Яранки, на гарях. Будто и там он просил керосину, и там ему дали солярки да еще в бутылку налили про запас. И будто видели ночью какой-то огонек на пашне и на гарях, который медленно двигался над землей, колыхался так, словно его нес человек. Такой же огонек видели на берегу реки, возле парома, затем в полях недалеко от райцентра. А спустя неделю этот блуждающий огонек видели чуть ли не все в округе, или хотя бы знали людей, которые видели. Кто-то даже пробовал догонять его, бежал следом, наперерез, навстречу, но неуловимый светлячок исчезал, едва к нему приближались.

Видели многие, говорили многие, только вот Алешку найти так и не смогли. Еще позже уже стало невозможно отделить вымысел от реальности. Искать Алешку перестали, надеясь теперь лишь на случай. Только его внучатые племянники, объехав всю округу, исходив гари вдоль и поперек, не отступились, наняли у нефтяников вертолет и стали облетывать на малой высоте, буквально прочесывать всю прилегающую к Стремянке местность.

Деда они своего так и не нашли. Но зато увидели землю, на которой жило несколько поколений вятских переселенцев. Никто в Стремянке ни разу не поднимался над ней, никто не смотрел на нее с высоты. Тут же, когда братья Забелины приземлились и рассказали, что видели, всем сразу же захотелось немедленно посмотреть своими глазами. В вертолет набилось столько желающих, что он едва оторвался от земли.

Они ждали увидеть драные, обомшелые крыши старых изб, кривые улочки, бестолково поставленные дома; ждали заросшие, запущенные дедовские поля, забитые гниющим лесом луга, мертвые шелкопрядники; ждали черноту выжженной земли с пятнами ожогов, изуродованные целинными плугами пашни, «марсианские» каналы — одним словом, ждали увидеть разоренную, пустынную территорию, которую и землей-то назвать трудно.

Однако чем выше поднимался вертолет, тем земля становилась все краше, словно кто-то затушевывал следы раззора и запустения. Она виделась сверху совсем не такой, какой всегда была внизу; она узнавалась до последнего козьего копытца и одновременно казалась неведомой, первозданной и сияющей.

Вертолет и так уже поднялся высоко, но засидевшиеся на земле мужики кричали пилотам — выше, выше! — и таращились в иллюминаторы...

Через день полеты окончились: платить за аренду вертолета стало нечем.

Вместе с полетами кончилась и страсть к поиску, будто, поднявшись над землей, увидели и нашли все, что хотели.

Или наоборот, с высоты открылось то, о чем не думали никогда, что не подозревали и что не могли разглядеть на земле.

И тихо наконец стало в Стремянке.

Утро начиналось с петушиного крика, затем просыпались хозяйки, управлялись с коровами, топили печи, а чуть позже поднимались мужики, и тогда заводились моторы, стучали топоры, гремело железо. Однако все эти звуки напоминали ровный гул пасеки в пору медосбора.

Сергей считал себя в какой-то мере виновным в исчезновении старца Алешки.

В тот вечер, когда отец попросил проводить старца домой, к племянникам, Сергей благополучно довел его до первого переулка, и тут Алешка заявил, что никуда он дальше не пойдет, так что сопровождение ему не нужно. Сергей попытался уговорить, потом попробовал вести за руку, но старец вывернулся из своей дохи и потрусил к лесу. Тогда Сергей догнал его и где уговорами, где насильно привел-таки к дому Забелиных. Братья вместе с женами выскочили навстречу, стали упрашивать войти в дом, каялись, винились перед старцем. Готовы были на колени встать среди улицы, только бы простил их Алешка.

— Виноваты мы, дедушка! — чуть ли не в голос кричали братья. — Вот перед чужим человеком, перед свидетелем каемся — виноваты! Прости, если можешь, не держи на нас сердца. Уж собирались идти за тобой. Василия Тимофеевича просить хотели, чтобы позволил нам взять тебя назад! Вспоминали мы, как сами сиротствовали, как по чужим избам жили, по чужим полатям спали. А теперь ухаживать за тобой будем! Книги тебе читать хоть и день и ночь, только зайди в дом и живи у нас! Нам и так сраму хватает, дедушка! Обманывали тебя, смеялись. Прости нас.

Жены их при этом ревели, ребятишки тянули старца за руки и тоже просили. Алешка сначала ругался, хотел вырваться, но потом то ли разжалобили его, то ли устал он сопротивляться и согласился. Сергею надо было остаться, поговорить с ним еще. Тогда бы, может, ясно стало, что старец попросту обманывал племянников. Лишь бы отвязаться от них, усыпить бдительность и сделать по-своему.

Позже Сергей вспомнил, что, когда вел Алешку к дому, тот бормотал ему об архангелах, которые скоро прилетят за его душой. И ему, Алешке, надо сделать так, чтобы душа не попала им в руки. А еще спрашивал, есть ли бог. Мол, ты ученый, должен знать. Если бога нет — нет тогда ни ада, ни рая. Но куда же в таком случае девается душа человеческая после смерти? Человек-то, говорил, может умереть, но неужели и душа умирает? И сам себя уверял, что нет, улетает куда-нибудь и живет, и смотрит сверху или снизу на живых — как ей, душе, будет угодно.

Все последнее время Сергей жил в Стремянке с таким ощущением, будто ему опять дали тесноватые сапоги и он, как это случилось на дороге в российскую Стремянку, сначала не заметил их тесноты, а когда хватился, то уже растревожил старые и набил новые мозоли. И с каждым днем ходить по земле становилось больнее...

Ноги и впрямь болели, поскольку последнее время он много ходил пешком. Искал свою пропавшую собаку, погибшего Тимофея с Валентиной, искал отца, большака и, наконец, Алешку. И когда уже искать было некого, все равно ходил с таким ощущением, будто все еще ищет. Лазил по изрытым гарям, по проселкам, по зарастающим лесовозным дорогам и просто по шелкопрядникам или лесопосадкам. Уходил он с первыми петухами, с какой-то тихой и настороженной радостью просыпаясь от их крика. Сначала бродил по селу — от дома к ре-

ке, от реки до старой церкви, смотрел, как хозяйки выгоняют коров за старую поскотину, как потом затапливают печи на летних кухнях и как поднимаются над Стремянкой первые, легкие дымы. И вместе с дымами кончалась тишина. Тогда Сергей выходил на один из проселков, во множестве вытекающих из села, и брел в глубь молодых лесов и гарей. Но и там вскоре начинался шум — трещали бульдозерные пускачи, трещал сухостой и пни под ножами, трещали древесные стволы в огромных кострах и гремело вездесущее железо.

Как-то раз, еще в светлеющих утренних сумерках, после первых петухов, он шел от реки к церкви и вдруг заметил на пустыре дрожащий, призрачный огонек. Пустырь, где когда-то ребятишки играли в лапту, с некоторых пор был раскопан, завален стройматериалами и горами земли: Михаил Солякин начинал строить дом. Сергей прибавил шагу, стараясь не потерять из виду огонек, и оказался возле мощного, разлапистого фундамента в котловане. Кругом не было ни души. И огонек, поскакав по железобетонным блокам, вдруг растворился в воздухе начинающегося дня. По каким-то доскам Сергей поднялся на фундамент и, запинаясь об арматуру, прошел по всему периметру. В котловане стояла вода — накануне прошел сильный ливень. А в погожие дни со всей Стремянки собиралась сюда ребятня. Они считались, делились на команды, после чего одна половина занимала крепость, другая шла на приступ. Их никто не гнал, потому что Михаил давно не появлялся на стройке. Сергей встречал его то на пароме, то на берегу реки у села, а однажды чуть ли не столкнулись в Яранке... Но ни разу и словом не перебросились. Завидев Сергея, Солякин усмехался, подбоченившись. Затем не спеша уходил прочь. Сергей тоже не испытывал большой охоты видеться с ним, однако, если вспоминалось, как бежали из Стремянки по теплой, грязной дороге, на душе становилось так печально, что в этот момент он бы простил грехи и обиды всем, кто был грешен перед ним или чем-то обидел. Такое состояние длилось мгновения, ошпаривало, будто кипятком, и он опасливо оглядывался по сторонам, боясь, чтоб кто-нибудь не оказался рядом. Но окажись Михаил — скорее всего обрадовался бы.

Сергей сделал еще один круг по пустырю, огибая фундамент, заглянул в сарайчик, где хранился цемент; огонек словно в воду канул...

По утрам, выходя из дома, он брал горбушку хлеба в карман куртки, но не съедал и приносил ее целиком назад, чтобы, прокравшись в спальню к ребятишкам, оставить им «посылку от зайчика». Хлеб за день черствел, напитывался запахом гари, пота и леса...

Была весна, в живых лесах, по-детски тонких и голенастых, распускалась легкомысленная и прозрачно-зеленая листва, тянулись подснежники, мохнатые стебли сон-травы, задумчивая медуница и уже перезревшая колба. Но за живым молодняком начинались серые, в черных ожогах, безрадостные гари, пахнущие гнилью и болотом шелкопрядники. Всю весну над всем живым и мертвым орали трактора и реял вездесущий дым. Потом незаметно наступило лето, заматерели листья на молодняке, отцвели подснежники с медуницей, но засинели на солнцепеках семейки кукушкиных слезок, с купеческим размахом распустились кусты марьиного корня, одуряюще запахло цветущим багульником и, наконец, выбросила розовые кольца изнеженная саранка.

А изорванные бульдозерными гусеницами и лопатами гари по-прежнему оставались черными, безжизненными. Лишь кое-где набрали цвет и ждали своего часа острова кипрея да вездесущий осинник выметал фанерно-жесткие лопухи листьев. Там же, где целинными плугами, словно муть со дна, подняли пласты засыхающей в камень глины, там, где собирались сеять, пока еще ничего не росло. В низинах и летом стояла вода, а на буграх лежала окаменевшая земля, прикрыв собой плодородный чернозем.

Сергей никогда не заходил далеко по этой пашне, старался быть ближе к лесопосадкам, к живым лесам, держался за них, как бы дер-

жался берега в полую, дурную воду, отправляясь на лодке. И в этот раз не зашел бы далеко, если бы снова не увидел над изуродованной землей маленький бегущий огонек. Сумерки над пашней казались плотнее, и брезжущий этот свет двигался в них со скоростью идущего человека.

Сначала он пошел на огонек, затем побежал, выворачивая ноги на пахоте. Светящийся язычок пламени, казалось, тоже сначала двинулся ему навстречу, еще немного, и он был бы рядом. Сергей закричал, замахал над головой сорванной с плеч курткой, однако огонек неожиданно пошел в сторону, качаясь над землей так, если бы его нес человек. И сумерки отодвигались вместе с ним к недалекому горизонту. Сергей свернул за ним, но больше не кричал. Он бежал по вспаханному склону, поднимаясь вверх, и вверх же тянул призрачный огонек. На вершине холма Сергей почти настиг его, казалось, протяни руку и достанешь, но огонек неожиданно оторвался от земли и, качаясь в мареве, поплыл в небо...

Он встал, переводя дух, и на какой-то момент выпустил огонек из виду. Над дальним горизонтом еще светилось белесое небо, однако из-за шелкопрядников поднимался край синюшной грозовой тучи и тень ее медленно закрывала землю. Потом Сергей все-таки увидел исчезнувший свет. Только он уже раскалился и из желтого превратился в сверкающий белый. Впрочем, то могла быть и вечерняя звезда...

Сергей проследил за стайкой диких голубей, неприкаянно мечущихся над пашней, и сел. Он снял сапоги, размотал сбившиеся портянки и, босым ступив на землю, ощутил ее сырость и шероховатую твердь. Кровь стучала в голове и эхом отдавалась в натруженных ногах. Он хотел сесть поудобнее, чтобы расслабить их, но замер, вглядываясь в синеву сумерек.

В двадцати шагах от него, прижавшись к земле, неподвижно лежал медведь. Сергей хорошо различил его горбатую спину и огромную мохнатую голову, но страха почему-то не почувствовал, хотя не решался двинуться. Прошло несколько минут, прежде чем Сергей увидел стремительный бег черной собаки. Он машинально вскочил, закричал:

— Джим! Джим, ко мне!

Собака на мгновение остановилась, вскинув уши, взвизгнула и бросилась к Сергею. От удара лапами в грудь он чуть не упал, схватив голову дога, прижался к ней и ощутил горячее собачье дыхание. Однако в следующий момент Джим вывернулся из рук и встал на четыре лапы.

Медведь полусидел на земле и, опустив голову, тихо ворчал.

И только сейчас Сергей связал одновременное присутствие здесь зверя и собаки.

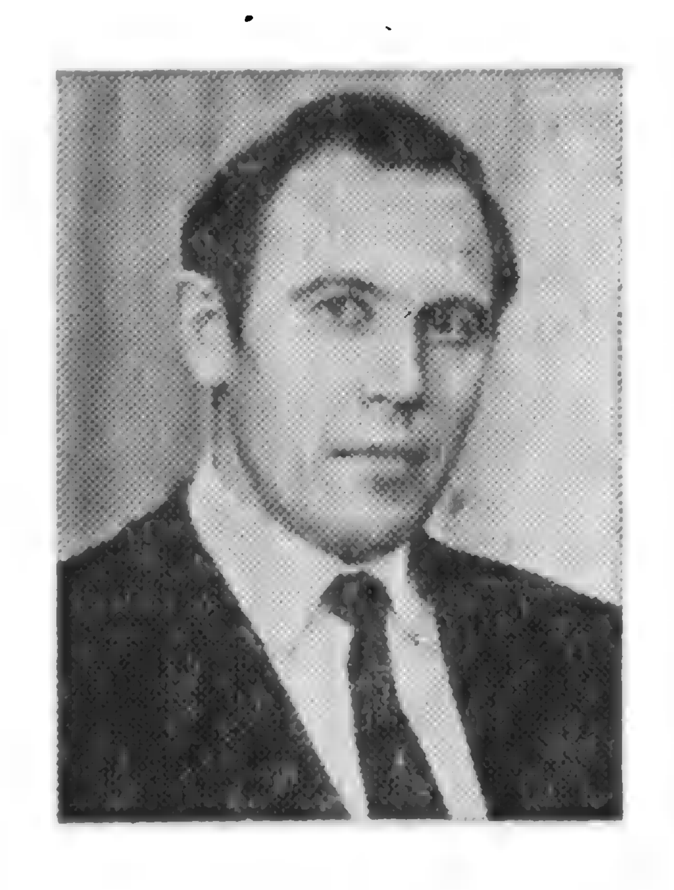
Джим понюхал землю возле босых ног Сергея и потрусил назад. Можно было еще окликнуть его, позвать или просто догнать. Хотя бы для того, чтобы снять ошейник...

Он сидел долго и, не глядя на часы, угадывал время. Сначала вызвездило, свежий ветер высушил рубаху на спине, затем лопатки свело от холода, но, странное дело, босые ноги на земле оставались теплыми и чувствительными. Он вспомнил старинную примету: если земля не холодит ног — пора сеять.

Потом невидимый самолет распахал упругое небо, развалил его надвое, и та половина, что была ближе к солнцу, начала медленно светлеть...

Томск — Вологда.
1983 — 1986.

Геннадий **МИХАЛЕВ**



По крестьянской мерке

Град

Хлеба горели. Хмурился отец.
Чернел лицом под астраханцем
жгучим.

Под занавес июня, наконец,
На горизонте заклубились тучи.
Я в пляс пошел по выжженной
траве,
Желанную прохладу предвкушая.
Но, надвигаясь, в темной синеве
Росла полоска дымчато-седая.
Не мог никак взять в толк я —
отчего
У взрослых вместе с ней росла
тревога,
Спасти, на небо глядя, от чего
Соседка горячо молила бога?!
Я был безмерно первым каплям
рад.
Негодовал, что в дом меня загнали.
Но вдруг такой забарабанил
град —
Стропила крыши, охнув, застонали.
Зловеще небосвод белел в окне,
И мячики скакали ледяные,
И ахал гром, и все казалось мне,
Что целят в дом наш молнии
шальные.
Гроза прошла. В полях, лугах —
везде
Табун как будто яростный
протопал.
И, к небу ветви черные воздев,
Стоял ошеломленно голый тополь.

И голосом чужим отец сказал:
— Теперь хлебам ничто помочь
не в силах.
И стыли слезы в маминых глазах.
И в дверь бедою зябко засквозило.

* * *

Уже загустевала темнота,
И затихали куры по насестам,
Когда в село под отчие врата —
Не частый гость — я заскочил
проездом.
Я подошел нарочно не с крыльца—
Чтоб возвести в квадрат эффект
сюрприза.
Взглянул в окно: дремавшего отца
Увещевал неслышно телевизор.
То ль от экрана падал свет такой—
Голубовато-дымчатый, неяркий,
То ль стал отец и впрямь
совсем седой
И сгорбленный, и непривычно
жалкий.
Мой молчаливый добрый человек!
Родней тебя на свете — дети разве.
Что ж я виню распутицу ли, снег,
И месяцами жду к тебе оказий?!
Неужто в полный голос кличет
кровь
По телеграммам только, не иначе?!
О как мы мчим тогда под этот кров,
Растерянно и покаянно плача!
...Я постучал в оконный переплет.
Отец очнулся — веря и не веря.
Всмотрелся настороженно —
и вот
Уже в сенях распахивает двери.
И, радостное что-то бормоча,
Меня, коля щетиной, обнимает.
А я — и рад, и жду —
из-за плеча
Вдруг, как бывало,
мама просияет!

Мать

Манили томами полки,
Но некогда ей читать —
Устало воткнув иголку,
Ложилась за полночь мать.
Чтоб сызнова рано утром
Подняться и хлопотать...

Как стала такою мудрой,
Так мало читая, мать?!
Книг столько осилив, дети
К ней беды свои везли.
Никто не умел на свете
Распутывать так узлы.

И лишь после горькой тризны
Смогли наконец понять:
Питала свой ум при жизни
Великой любовью мать!

* * *

Я по крестьянской мерке сшит.
Не так высок. Скорей — приземист:
Удобней сено ворошить,
Орать, горстями сеять семя.
Не без крестьянской хитрецы. —
Не от того ль глаза в прищуре?!
Всех курских соловьев — скворцы
Милей моей степной натуре.
Здоровьем — в пращуров —
не квёл.
Гуж выбираю осторожно.
Но, впрягшись, я тяну, как вол,—
Не споро, может, да надежно.
Я честно холкой тру ярмо.
По службе продвигаюсь в гору...
Напрасно только, все равно,
Меня забрал у поля город!
Пока спит поутру семья
И на замке моя контора,
Без дела трудно маюсь я.
Стихи, вы мне одни — опора!
По белой ниве я веду —
Не без огрехов — как умею! —
За бороздою борозду
И зерна слов с надеждой сею.

* * *

Кто где рожден, тот тем и лечит душу:
Пустыней — мавр, тайгою — сибиряк.
А я люблю колосьев шелест слушать —
Я по рожденью своему — степняк!

На чебреце настоян и полыни,
И густ, и горек знойный дух полей.
Мне терпкий аромат его поныне
В сто крат и роз, и ландышей милей.

Заботы с плеч. Вновь ласточек я вижу!
По крутоярью мчит табун, пыля.
Взметнувшись к облакам над отчей крышей,
Приветливо мне машут тополя.

И, тихое услышав обещанье,
Воздать за ласку золотом в страду,
Колосьев дозревающих шуршанье
Я на людской язык переведу!





Александр МОСТОВОЙ

В ПОЛДЕНЬ

РАССКАЗ

В ИЮЛЬСКОМ небе — ни облачка. Ослепительный диск солнца застыл над разомлевшей от жары землей. На дачной улице за закрытыми наглухо ставнями домов — никаких признаков жизни. Густой воздух, напоенный запахами земли и вялой зелени, стоит недвижно, и не верится, что в мире возможны ночь и прохлада, что бывает зима.

Жарко.

Возле поселкового магазина двое рабочих асфальтируют улицу. Степан Криулин, худой, высокий, с повязанной платком, как у бедуина, головой, разгребает деревянным скребком асфальт. Голая спина Степана лоснится на солнце африканской чернотой. Федя, его напарник, длинношеий парень с торчащими лопатками, носит асфальт из большой кучи, бросает его под скребок Степану. Потом они берутся вдвоем за ручку катка и ровняют дорогу. Асфальт разглаживается и начинает блестеть. Работа эта нравится Феде, но Степан кривит худое, носатое лицо:

— Дорвался, как голый до бани.

Голос у Степана низкий, отрывистый. В лице и в жилистом теле какая-то пружинистость, как у хищной птицы, и Федя в который раз думает, что, живи Степан в другое время, скажем, в гражданскую войну, — махать бы ему шашкой, скакать впереди конной лавы в атаку — столько отваги в нем и решительности. «Комиссару нужна отвага, — размышляет Федя, — а Степану она на что? Чтобы асфальт ровнять?»

Пусто на улице, как на кладбище. Ослепительный солнечный зной плывет над дорогой, за которой, блестя чешуйчатой гладью на солнце, лежит море. Степан тоже смотрит на дорогу, на море и думает, что все это — и дорога, и море — было, есть и всегда будет, и что и в море, и в нестерпимом блеске солнца, и даже в этой жаре есть какая-то загадочная завершенность, которой нет в его, Степановой, жизни. И это почему-то злит Степана, и хочется ему вырваться из опутавших его, точно паутина, мыслей, и ходят от этого желваки под сухой кожей, сверкают глаза антрацитовым блеском.

— Выгорит роба-то, — говорит он Феде со злостью.

Гимнастерка, брошенная Федей на забор, сверкает на солнце медными пуговицами. А Степану видится такая же гимнастерка на его, Степановых, плечах... «Всего ничего и прожил, а десяти лет — как не было, — думает Степан. — Как корова языком слизала».

Точно так же блестели пуговицы на его гимнастерке, когда он впервые переступил порог конторы СМУ-7 десять лет назад. А был он

тогда, не в пример Феде, горячим, быстрым на всякое дело. Брался за любую работу, да так, что уже через месяц назначил его начальник СМУ Усиевич бригадиром. Сказал тогда только одно Аверьян Семенович:

— Нравится мне, как ты вкалываешь, Криулин. Если не скиснешь — далеко пойдешь.

— Чего киснуть? — спросил Степан, чувствуя, как в груди ласково перекатывается от радости сердце.

— Работа такая. Горячая. Некоторые скисают.

— Ну это посмотрим, — весело отрезал Степан.

И не то чтобы рвался он в верха, не то чтобы угождал начальству или глаза мозолил... Нет. Но что-то затронул в нем Усиевич. И понесло Степана, как по быстрой воде. Со следующего дня стал ходить он на работу в чистом костюме. Зойка, жена, забеспокоилась даже.

— Ты, Степан, на кого глаз положил? — смеялась она. — На работу как на демонстрацию ходишь.

— Так у меня в бригаде все ребята так ходят, — отшутился Степан.

— Ребята. Они молодые, небось, а ты женат и жена у тебя член профкома. Смотри.

— Вот я и равняюсь на тебя. Хочу достать. Хоть прыгай — так ты забралась высоко.

— Смотри, допрыгаешься. Такие с верхов падают.

Но Степан только шире махал лопатой, как веслом. Несло его по самой стремнине, как казалось ему. А в конце марта было собрание по итогам квартала. Докладывал плановик Оперехин. Народ молча прел в жарком красном уголке конторы. Ждали, когда Оперехин скажет насчет прогрессивки. Рядом со Степаном старик Буденов рассказывал-гудел, как он воспитывает молодую сноху. В президиуме, как всегда улыбчивый, невидяще смотрел в зал Усиевич.

— Итак, товарищи. Сегодня могу поздравить вас с прогрессивкой, — закончил Оперехин, и народ дружно захлопал.

— Вопросов к докладчику нет? — поднялся Усиевич. И тогда Степан вскинул руку.

— Криулин? — удивился Усиевич. — Слово просишь?

— Ага. Два слова, — отрывисто бросил Степан и полез через составленные стулья. А когда выбрался на трибуну и глянул в зал, в груди у него екнуло. Сотни глаз смотрели на него.

— Только я без бумаги, — сказал он чужим голосом.

— Давай, Степа. Катай, пока горячее, — хохотнули в зале.

— Я вот про что. — Степан перевел дыхание. — Прогрессивку мы фактически не заработали. Асфальт ведь до птицефермы не дотянули? А между прочим, было запланировано. Так какая же тут прогрессивка?

Степан глянул в зал и осекся. Люди угрюмо смотрели на него и молчали, и по этому молчанию понял он вдруг, что случилось что-то такое, чего ему теперь не исправить во веки веков. И он заспешил:

— Я почему так говорю? Ведь мы можем и так, если поднатужиться, сделать дорогу... И получить эту самую прогрессивку, гори она синим пламенем, на вполне законном основании.

Степан не мог больше смотреть в зал и глянул в президиум. Там сидел Усиевич и тоже смотрел на Степана. Смотрел с любопытством, как на портрет, а не как на живого человека...

— Так, значит, ты хочешь отказаться от прогрессивки? — спросил серьезно Усиевич.

Степан, неожиданно для себя, кивнул головой. И тут зал, как это бывает при большом напряжении, буквально раскололся от хохота. Смеялись все: и Усиевич, и старик Буденов, который, усевшись на пол, хлопал по нему брезентовыми рукавицами.

— А зря смеемся, товарищи, — сказал Усиевич, когда шум стих.— Степан Криулин прав ведь... По его вине не дотянули мы асфальт до фермы... И, стало быть, сейчас он проявил высокую сознательность... Предлагаю так и записать в протокол: лишить Степана Ильича Криулина прогрессивки за истекший квартал... Точка.

И пока секретарь писала, Усиевич весело смотрел на Степана.

Но это еще было не все. На следующий день в бухгалтерию прибежала Зойка и, узнав в чем дело, при всех обругала Степана последними словами.

— Тоже мне, праведник нашелся. Жердь обожженная, — орала она. — Чучело асфальтовое.

С той поры Степана будто подменили, будто зажил в нем еще один человек, кроме него — злой и насмешливый. И стал Степан выпивать, а выпив, ругался по-черному. А иной раз и плакал. В остальном же все шло-катилось как прежде... И вот уже десять лет минуло с того дня... Давно ушел на повышение Усиевич Аверьян Семенович, давно сняли с бригадиров Степана. Он теперь уже не «бугрил», как шутили в бригаде. Но если в веселую минуту мужики, вспомнив то давнее собрание, подтрунивали над ним, он смеялся вместе со всеми.

А с Зойкой Степан все же разошелся. Уже второй год Степан жил с Федей в общежитии строителей в длинной комнате с двумя телевизорами. У Степана был цветной — единственное, что отдала ему Зойка, а у Феди — черно-белый. Их так и прозвали: два телевизора. Дома Степан оберегал Федю от своих друзей-собутыльников, особенно в дни получки, когда общежитие ходило ходуном. На работе же ругал почем зря. Вот и сейчас: смотрит он на Федю злыми блестящими глазами и кривит худое, носатое лицо.

Неожиданно на пустой улице раздается чей-то голос, и Степан с Федей одновременно поворачиваются на звук. Из переулка выбегает пудель, следом за ним выкатывается белая фигура дачника в панаме. Пудель подбегает первым и останавливается, доверчиво разглядывая Степана и Федю. Дачник тоже подходит, но смотрит недоверчиво, с усмешкой.

— Отдыхаем? — спрашивает он тонким голосом.

Степан, не меняя положения, как большая усталая птица, смотрит на него снизу и молчит.

— В такую жару и отдых хуже работы, — снова заговаривает дачник.

Пудель при звуке голоса хозяина машет хвостом и обнюхивает Степанову обувь.

— Нам работа завсегда как праздник, — возражает Степан, тыча пуделю в нос соломинку. Пудель сердито фыркает, отходит к Феде.

— Значит, стимул есть. — Дачник вытирает пот со лба, обмахивается панамой и совсем уже по-свойски спрашивает: — Договоримся к гаражу дорожку провести?

— Хоть к аэропорту, — роняет Степан. — Расчет наличный за дело личное.

— Люблю толковых людей, — оживляется дачник. — А усадебка моя вон там, в переулке. Только надо прямо сейчас, с минуты на минуту асфальт привезут, а он даже в такую жару долго не лежит. Твердеет.

— Это мы понимаем, — кивает Степан безучастно. — А цену знаете?

— Договоримся, — подхватывает дачник Степанов тон.

— Тогда прибудем по расписанию, — Степан легко встает и начинает собирать инструмент. — Подъем, солдат! — кричит он Феде.

— А Кузьмич насчет плана говорил... Не сделаем, мол, премия

полетит, — нерешительно замечает Федя, вслед за напарником неохотно поднимаясь с земли.

— Делов-то. Да каждый Иван имеет свой план, — смеется Криулин. — Кроме плана, Федя, есть у человека еще и личная жизнь.

Федя бросает в тележку скребок и берется за ручку. Степан толкает впереди себя каток, скалит белые зубы, балагурит:

— А премия все одно будет, Федя, потому что она начальству нужнее, чем нам с тобой... Понятно? И выводят ее не на асфальте, а на бумаге... Уловил, Федор?

Федя молчит, катит тачку с лопатами. Сзади Степан тарахтит катком. Когда они подъезжают к воротам дачи, оттуда выкатывается синяя «Волга». За рулем сидит дачник — без панамы, потный от жары. Пудель весело бежит за машиной.

— А асфальта нет, — говорит Федя.

— Телок ты еще, Федор, — усмехается Степан. — Не такие дефициты достают.

Степан бросает каток и уходит во двор. Хлопнув дверцей машины, следом за ним уходит дачник. Федя садится у каменной стены на скамейку и разглядывает фасад дома с резными окнами, террасу, увитую диким виноградом. Окна дачи занавешены циновками, а на коньке крыши застыл в беззвучном крике петушок. Солнце все так же неподвижно висит на самой макушке неба. Прохлада не чувствуется даже здесь, у каменной стены. Федю клонит в дрему. Но вот на гравийной дорожке слышатся громкие шаги. Степан с дачником выходят на улицу.

— А ведь это мраморная крошка, — говорит Степан, зачерпнув ладонью камешки из кучи и показывая их Феде. — Не дорого? — обращается Степан к дачнику.

— Для себя ничего не жалко, — булькает тот тонким смешком.

— Красиво жить не запретишь, одним словом? — хрипло хохочет Степан.

— Хорошо сказано. — Дачник с любопытством разглядывает Степана. — Вы просто Эзоп. Кстати, он был рабом и тоже, может быть, строил дороги в Древнем Риме.

— Рабы, они даром работали, — возражает Степан. — А я с вас за гараж цену возьму двойную, как за работу в крытом помещении, — деловито уточняет он.

— Так вы и без того с меня берете вдвое против государственной, — сгоняя с лица улыбку, замечает дачник. — А за гараж, выходит, вчетверо?

— Точно. Вчетверо, — соглашается Степан, выкидывая из тачки лопаты. Федя разматывает бечевку, а дачник садится на лавочку и сердито смотрит на Степана. Пудель ложится у ног хозяина.

— Собственно, почему такой грабеж? — спрашивает дачник.

— А я объясню сейчас, — балагурит Степан, бросая на землю инструмент. — Я сейчас все нарисую, и... будет ясненько.

Федя знает, что Степан любит покуражиться над новым человеком, сейчас — его время, его коронный номер, и он хочет получить за него все, что положено артисту. Он ждет оваций.

— Вы лицо частное? Частное. А потому у нас с вами не может быть гармонии, напротив — сплошная дисгармония. Наш с Федей труд течет тоненьким ручейком сторонкой... и мимо, — Степан делает движение рукой, как рыба хвостом. — И вот за эту самую дисгармонию вы и должны платить вчетверо!

— Замечательно, — кивает головой дачник. — Толково и доходчиво.

— А вот если на этот вопрос смотреть уже с точки зрения политической, — плавая в волнах собственного удовольствия, добавляет

Степан, — то тут мы с вами вступаем в договор двух антагонистических классов. Вы хотите содрать шкуру с нас, а мы с вас. — Степан подходит к пуделю и рычит на него: — Р-р-р!

Пудель поднимается и прячется за хозяина.

— Прекрасно, — замечает дачник. Видимо, ему интересен разговор со Степаном. — А между тем мы с вами в этот самый момент оба дерем шкуру с государства. — Он улыбается и ласково щекочет пуделя за ушами.

— Это вы почему так решили? — спрашивает Степан в некотором замешательстве.

Дачник пожимает плечами:

— Ясно почему. Поскольку, как вы изволили заметить, мы — союзники и получаем каждый свою выгоду, — платить ведь тоже кто-то должен. — Дачник весело смотрит на недовольное лицо Степана и на молчаливого Федю. — Вот государство и платит, милейшие.

— Мы-то лично деньги берем с вас, — возражает Степан.

— Тьфу все это, — дачник действительно плюет в сторонку. — Я плачу, верно, но ведь вы не работаете в это время там, где должны, а значит, ваш труд не вливается в труд республики. Следовательно, внакладе остается государство.

— Государство у нас богатое, всем хватит, — неуверенно замечает Федя и хмуро смотрит на дачника.

— Это точно, на наш век хватит, — соглашается дачник. Но чувствуется, что и он уже теряет интерес к разговору. Он поднимается и идет в глубь двора.

Степан с Федей начинают разравнивать мраморную крошку катком. Степан все время молчит, но, когда дачник уходит в дом, говорит неожиданно:

— Теоретически он прав, а все равно сволочь.

Федя молчит, и Степан вдруг взрывается:

— Ведь ты, Федя, пень! Как же мне с тобой работать? Не понимаю.

Степан садится в тени покурить. Федя один толкает каток. Степан курит, жадно затягиваясь, и от синего дыма, от жара, которым все вокруг пышет, кажется, наливается злой силой. Он враждебно, почти с ненавистью, смотрит на работающего Федю. Степан готов снова взорваться, но в это время дверь открывается и на крыльцо выходит дачник с пластмассовой канистрой и стаканами в руках. Он ставит канистру на землю и разливает пиво. Стаканы запотевают, и дачник торжественно приглашает Степана и Федю:

— Прошу к столу.

— Сервис, как на пляже, — замечает Степан. Он берет стакан в руки, пьет, лицо его постепенно разглаживается. — Холодное, аж зубы ломит...

— Красиво жить не запретишь, — подмигивает дачник Степану. — А вы, молодой человек? — спрашивает он Федю.

Но тот качает головой и отходит подальше, словно боясь соблазна.

— Он презирает, — кивает на Федю Степан. — У него принципы...

Дачник тоже пьет пиво, вздыхает и блаженно улыбается.

— А к чему принципы, к пиву? — спрашивает он. — Я бы и врагу своему при такой жаре предложил холодненького, а уж вам — и подавно, вы-то мне не враги. Напротив даже: я вам симпатизирую и где-то понимаю... — Он берет стакан и подносит Феде: — Пейте.

Федя нерешительно берет стакан и пьет маленькими глотками холодное горьковатое пиво.

— Я так жизнь понимаю, — разглагольствует дачник. — Все мы люди, все мы человеки, все работаем из-за денег, и какие высокие слова ни пиши на плакатах, одна лишь копейка и лежит в основе всех наших желаний... И все вокруг нее вертится. Правильно, молодой человек?

Федя не отвечает, аккуратно ставит стакан на камень возле канистры и отходит в тень забора. А Степан, который уже захмелел слегка, подзадоривает дачника:

— Значит, все вокруг этой самой копейки и вертится?

— В абсолюте, конечно, все сложнее, — возражает дачник. — Но вот для вас сейчас, когда на улице тридцать пять по Цельсию, а вы жаритесь на солнце и вкалываете, вместо того чтобы пойти позагорать, — для вас больше ничего нет, и ничего не надо, кроме рубля.

— Значит, рубль всему голова? — замечает Степан, наливая себе пива.

— Абсолютно, — кивает дачник.

— Ну, а вот если мне принцип дороже рубля? — вмешивается неожиданно в разговор Федя.

Дачник поворачивается к нему и долго рассматривает наивное мальчишеское лицо с блестящими от волнения глазами.

— Принципы? — улыбается он. — Принципы — это хорошо! Это прекрасно! Только рубль и принципы уничтожает. Вы мне принципы, а я вам рубль, вы опять принципы — я вам два сверху...

Дачник подмигивает Степану, а тот с непонятным озлоблением говорит:

— Съел, Федя?

Федя, сердито блестя глазами, смотрит то на улыбающегося дачника, то на Степана, но дачник умиротворенно говорит:

— Вы не обижайтесь, молодой человек, ведь Маркс еще сказал: «бытие определяет сознание...» Значит, в конечном итоге, все стоит на рубле — на рубле, и еще раз на нем, подлом. И ничего, кроме этого, нет!

Федя хочет что-то возразить ему, но в это время пудель срывается с места и бежит к воротам. Слышен шум подъехавшего грузовика. Вслед за пуделем идет дачник. Пахнущий смолой и асфальтом самосвал въезжает во двор.

— Вот — тоже принципы, — говорит дачник. — Сто тысяч без капитального ремонта, а частнику асфальт привез.

Самосвал опрокидывает кучу асфальта и уезжает, оставив во дворе запах бензина.

— Значит, принципов нет? — хмельно и весело спрашивает Степан, когда дачник затворяет ворота. Затем подходит к дачнику, берется за пуговицу пиджака и молча крутит ее.

В лице Степана какая-то враждебность. Дачник забирает пуговицу из его рук и недоуменно спрашивает:

— Собственно, в чем дело?

— В панаме, Аверьян Семенович, — подмигивает ему Степан. И минуту, пока дачник осоловело смотрит на него, беззвучно, как только умеет он один, смеется круглым ртом. — Не узнали? А я вас сразу признал, несмотря на усы. Раньше их у вас не было ведь? А вообще-то вы почти не изменились.

Слова Степана добродушны, но глаза смотрят с колючим блеском. Дачник отходит от него на шаг, снимает панаму и озадаченно вытирает пот со лба.

— Не помню, — говорит он неуверенно.

— Ну еще бы. Где там. Таких, как я, у вас за жизнь было не пересчитать, а вы у меня один, Аверьян Семенович. — Степан ласково щурится. — В СМУ-7 работали?

— Было дело. Давно, впрочем, было.

— Давно-то давно, но на нашем веку ведь все-таки? А век у нас с вами общий, потому что мы с вами... как это называется, Федя? — оглядывается он на напарника, который удивленно смотрит на Степана и дачника.

— Ну, пенек, — ласково кивает на него Степан. — Вот если, скажем, люди в одно время жили, как Пушкин и Лермонтов, кто они такие есть?

— Современники, — неуверенно произносит Федя.

— Точно. Так вот мы с вами, Аверьян Семенович, тоже современники. И значит, все, что мы сделаем, на нас всех ложится... На вас, на меня и на него даже, — кивает он в Федину сторону.

— Постой-постой, — морщит лоб дачник. — Это вы что-то насчет прогрессивки такое сделали... Хотели получить, а вам не давали.

— Как раз все наоборот. Не я хотел получить, а мне давали, — усмехается Степан, — а я отказался, не взял...

Дачник снова морщит лоб и смотрит на Степана. На морде у пуделя то же выражение догадки, что и у хозяина.

— Вспомнил, — почти весело говорит дачник. — Как же, анекдот был с вами. Я даже в тресте потом рассказывал... Ну и смеялись же мы. Но теперь, надеюсь, вы поняли, в чем дело? — Дачник оживился и с интересом смотрит на Степана. — Укатали сивку крутые горки?

— Нет, — вздыхает Степан. — Не укатали. Ведь я, как этот каток. Другим катаю, а самому хоть бы что.

Дачник смотрит на Степана, и лицо его становится серьезным.

— Тогда я вам не завидую. Тяжело живется, видать?

— Да уж можно бы тяжелее, да некуда, — вздыхает Степан, и на минуту на лице его появляется выражение, какое бывает у людей, вдруг увидевших свою жизнь со стороны.

— Вы идеалист, — замечает дачник с уверенностью многоопытного доктора, определившего диагноз больного. — Как зовут-то?

— Степан Криулин.

— Правильно. Теперь я все вспомнил. Так вот, Степан Криулин, вы плутаете между придуманной жизнью и реальностью... Что, не понятно?

Степан смотрит на него молча. Дачник шевелит пальцами, словно подбирает слова. Потом улыбается.

— Вот смотрите сюда. Что это? — показывает он на короткую уродливую тень у ног Степана.

— Тень будто бы.

— Ваша тень, — уточняет дачник. — Похожа она на вас? Если бы кто-то захотел определить по тени, какому человеку она принадлежит, определил бы?

— Трудновато, — качает головой Степан.

— То-то... Ну что, убедительно? — оглядывает дачник Степана и Федю взором победителя.

— Умный вы человек, Аверьян Семенович, — вздыхает Степан.

Аверьян Семенович улыбается. Его забавляет эта неожиданная ситуация, он даже жалеет, что никто не видит его сейчас в роли учителя этих рабочих.

— А от чего зависит тень? — спрашивает он теперь уже Федю.

— От солнца, — неуверенно произносит тот.

— Прямо в точку попали, молодой человек! — радостно смеется Аверьян Семенович. — А солнце, доложу я вам, — это сама жизнь, и она-то как раз создает нам ту реальность, от которой нам никуда не деться. — Аверьян Семенович, кажется, вдохновляется собственными словами. — И никуда нам не деться от нее, от жизни. Печет она нас, жарит, палит, а мы терпим.

— Ну вы-то, положим, в холодке прожили, — вставляет Степан враждебно, но Аверьян Семенович не слышит его слов.

— Вот и выходит, что жить можно, конечно, и по книгам, но с поправкой на реальность, — совсем торжественно заключает дачник.

— Что-то вы тут загнули, Аверьян Семенович, — говорит Степан. — По-вашему выходит, что ничего этого и нет...

— Чего нет? — вскидывается дачник.

— Ну вот скажи мне, ударники труда есть?

— Вне сомнений, — соглашается дачник. — Но если подходить с точки зрения экономики, так и их нет, потому что они ведь тоже за рубль работают.

— Постой-постой, — говорит Степан. — Вот мне в прошлом году грамоту вручали, так, может, и ее тоже нет?

— Грамота есть, — усмехается дачник. — Но если бы вы вместо нее получили те самые бумажки, по которым, между прочим, в магазинах отпускают товар, уверяю вас, это был бы совсем другой коленкор. А ведь на грамоту ничего не приобретешь?

— Ничего, — соглашается Степан. — Ловко вы разобрались... А вот скажите, что есть соревнование?

— Один из обрядов коллективной жизни общества, — роняет дачник.

— Понятно, — кивает Степан. На сухом его лице натянулась кожа, нос обострился, и голос начинает звенеть.

Федя с опаской смотрит на него.

— А пятилетка за четыре года?

Дачник досадливо морщится. Он опять чувствует какую-то опасность, исходящую от Степана.

— А встречный план?.. — Криулин подходит к дачнику вплотную и в упор смотрит на него. — А как же теперь с мечтою человечества? Или это тоже тень и ничего более?

Дачник берет канистру и идет к крыльцу. Пудель бежит следом.

— Ведь мне теперь, как твоему пуделю, лежать в тени и кость глодать! И больше ничего не осталось, — бросает ему вслед Степан.

— Почему же? — говорит с крыльца дачник. — Это уже крайности. Мечта мечтою, а жизнь жизнью.

И тут Степана словно прорывает. Бросив с маху рукавицы на землю, он идет к крыльцу. У пуделя поднимается шерсть на спине. Он рычит на Степана.

— Нет, ты постой, — говорит Степан. — Ты мне этот пунктик растолкуй яснее.

Аверьян Семенович пожимает плечами и пятится к двери.

— Не надо, Степа, — просит Федя.

Когда Степан заведется — к нему лучше не подходи. Федя знает это и все же осторожно берет его за плечо.

— Сам согласился, — бормочет Федя. — Теперь чего шуметь.

— Нет. Пусть он мне расскажет, на какую ногу мне эта мечта, где ничего, кроме рубля, не светит...

Но Аверьян Семенович исчезает за дверью... Пусто на крыльце. Пусто и во дворе, и за воротами дачи. Только знойный воздух густо завис над землей.

Федя берет лопату и разбрасывает асфальт по размеченной дорожке. Но Степан неожиданно командует:

— Кончай! Поехали!

Федя недоуменно смотрит на него.

— Асфальт ведь остынет. Не разобьешь потом.

— А хрен ему в ноги. — Степан машет рукой. — Не бери в голову. — Он опять повеселел, посветлел лицом. — Не такое теряли, а это — мелочи...

Федя собирает инструмент. Они впрягаются в каток и везут его со двора. На крыльцо выходит дачник.

— Алло, товарищи! — кричит он.

Федя оборачивается. На лице дачника недоумение и растерянность. Феде кажется, что даже одежда обвисла на нем, как парус без ветра. Федя отворачивается и невольно убыстряет шаги.

— Сейчас я ему выдам информацию, — говорит Степан.

— Брось, Степа, — просит Федя, но Степан отпускает ручку катка и останавливается.

— В чем дело, товарищи? — тяжело дыша, спрашивает дачник, подходя к Степану. Во всей его фигуре чувствуется какой-то укор. Пудель тоже укоризненно смотрит на рабочих. — Какие претензии?

Степан отводит глаза. Невольно у него мелькает мысль: «А может, зря мы с ним так-то?!»

— И пиво ждет, и рыбка есть, — берет Степана за руку дачник.

— Да не тяни ты, — говорит Степан брезгливо. — Не пудель же я тебе. — И решительно «впрягается» в каток.

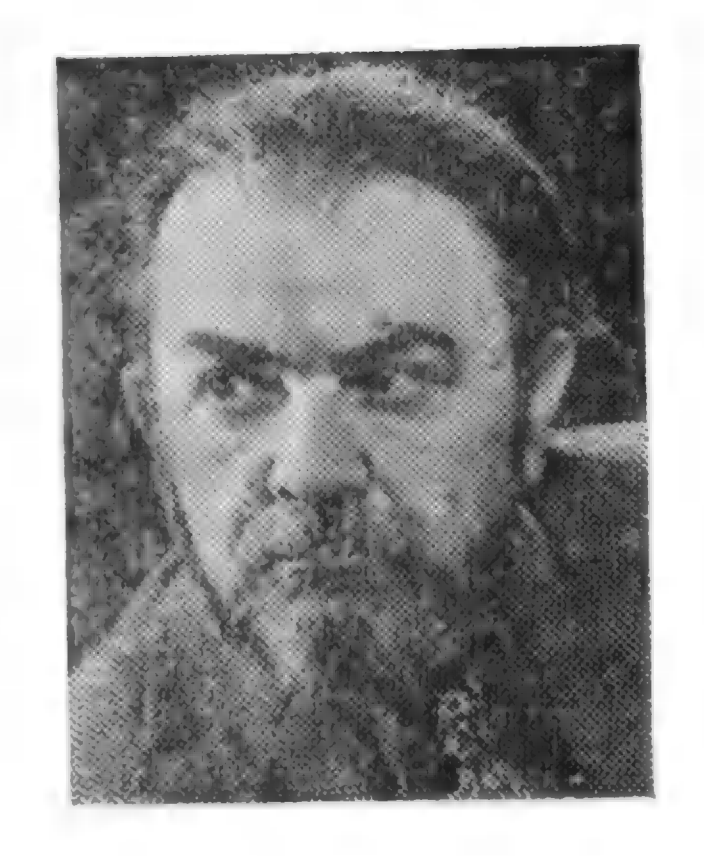
Они идут с Федей по пыльной дороге, и короткая уродливая тень катка соединила их, как соединяет только общая ноша. Аверьян Семенович смотрит им вслед и чувствует, как нестерпимая, тяжелая, черная ненависть заливает глаза, гулко стучит в висках. Ему кажется, что он никогда еще и никого так не ненавидел, как этого худого человека, похожего на бедуина. Аверьяну Семеновичу хочется крикнуть что-то обидное, злое.

— Вредитель! — кричит он в спину Степану. — Я на тебя найду управу!

Пудель лениво лает вслед уходящим.

— Давай, давай, адрес тот же, Аверьян Семенович! — белозубо смеется Степан и машет рукой: — Адье, Аверьян Семенович!

Степан и Федя уходят. На улице устанавливается горячая, нестерпимая тишина, как перед грозой. Пахнет пылью и асфальтом. Жарко...



Геворг ЭМИН

Зрелость

Микаэлу Налбандяну*

Умел он слышать соловья за посвистом зимы.
Он тонок был и нежен был не менее, чем мы.

Но для страны его пришла тяжелая пора,
И понял он, что острый меч сейчас важней пера.

И лиры трепетной его порой касался меч —
И лопалась тогда струна, и обрывалась речь...

Поющий песни о весне, что мастерство твое! —
Попробуй кровь свою отдать за торжество ее!

* * *

Больше одной строкой,
Меньше одной строкой —
Разницы в этом нету,
В сущности, никакой.
Друг мой, сказал ты что-то
Или же промолчал —
У вековечной книги
Нет концов и начал.
Больше пядью земли,
Меньше пядью земли —
Мудрые люди и в этом
Разницы не нашли.
Что бы прирост владений
Нынче ни означал —
Боль Земли не имеет
Ни концов, ни начал.
Больше вестью одной,
Меньше вестью одной —
Нету и в этом тоже
Разницы, мой родной.
Сколько бы ты ни принял
И ни послал гонцов,
А новизна не имеет
Ни начал, ни концов.
Больше на день один,
Меньше на день один —
Этот прибыток-убыток,
Право, неуследим.
Ибо, по твердому мненью
Истинных мудрецов,
Ход времен не имеет
Ни начал, ни концов.
Больше жизнью одной,
Меньше жизнью одной...
Да, но другой не будет,
Кроме этой, земной.
Все повторится снова —
Небо, трава, волна,
Только не мы с тобою.
Каждая жизнь — Одна!

* Микаэл Налбандян (1829—1866) — выдающийся армянский поэт, революционный демократ, друг Чернышевского и Герцена.

* * *

Я поздно понял
(Это ли не драма?),
Что мне для счастья
Не хватало грана...
Не быть любимым,
А любить — и полно!
Не суесловить,
А внимать безмолвно,
Не брать от жизни
(Не хватать тем паче),
А раздавать,
Не мысля об отдаче.

Не осуждать других
Со строгим видом,
А отпускать
Обидчикам обиды.
Не уступать словес
Дешевой тяге —
Семь раз подумав,
Предавать бумаге.
Не уступать
Ни целого, ни части
Любой беде —
И только в этом
Счастье!

* * *

Когда на свете появился я,
Когда на белый свет я народился—
О, как я плакал, милые друзья!
И как весь свет при этом веселился!
Хочу, чтоб я удел свой оправдал
И мой последний день вполне удался —
Чтоб мир при этом горестно рыдал
И чтобы я... хотя бы улыбался...

С армянского.
Переводы Л. ГРИГОРЬЯНА.

* * *

Нет ничего труднее, чем поверить
в смерть близкого, и я б не верил, что бы
ни простучали комья в крышку гроба,
какой бы мерой ни случилось мерить
и горечь горя, и тоску утраты,
как ни блистали б от росы лопаты
в руках у нас над свежею могилой, —
я все равно бы не поверил, милый...

Но я увидел маму возле камня
могильного. Дрожащими руками
она сдвигала камень и твердила:
«Ты слышишь, мальчик, сладенький мой, милый?..»
И отвечали камни, травы, звери —
так наша мать молила ей ответить...

А ты — молчал. А я тогда поверил,
что умер ты, что нет тебя на свете.

С армянского.
Перевод Бориса СЛУЦКОГО.



ПРОТИВ ЗЛА — ВСЕМ МИРОМ

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ О ВРЕДЕ ПЬЯНСТВА И АЛКОГОЛИЗМА

НЕМНОГИМ более года прошло с того времени, когда всенародный поход против пьянства обрел букву закона. Сегодня, пожалуй, нет ни одного поселка, ни одной деревни, где не сказывалось бы благотворное влияние трезвого образа жизни. «Во имя здоровья общества и человека,— подчеркивал на XXVII съезде КПСС Михаил Сергеевич Горбачев, — мы пошли на решительные меры, повели бой с традициями, которые складывались и насаждались веками. Не обольщаясь достигнутым, можно сказать, что пьянка потеснена с производства, меньше ее стало в общественных местах. Оздоровляется обстановка в семьях, сократился производственный травматизм, укрепился порядок». Лозунг «Трезвость — норма жизни», прозвучавший пять лет назад на страницах нашего журнала в статье калининского писателя Петра Дудочкина, стал важнейшим нравственным лозунгом нашего времени.

Надо отметить, что взволнованный голос писателя-гражданина, обеспокоенного судьбой народа, и раньше сливался с голосом здравого смысла. Во многих произведениях Василия Шукшина, опубликованных в журнале, красной нитью проходила тема борьбы за человека, обманутого призраком нетрезвой свободы. Это — и философская сказка-притча «До третьих петухов» (№ 1, 1975 г.), и рассказы «Други игрищ и забав», «Привет Сивому» (№ 9, 1974 г.), «А поутру они проснулись...» (№ 6, 1975 г.).

Приковывали внимание читателей к трагедии гибнущего от алкоголя человека и произведения Виктора Астафьева («Царь-рыба», №№ 4, 5, 6, 1976 г.), Валентина Распутина (повесть «Прощание с Матерой», №№ 10, 11, 1976 г., рассказ «Не могу-у», № 7, 1982 г.), Николая Шундика (роман «Древний знак», №№ 4, 5, 1982 г.)... Каждый из них, глубоко исследуя проблему пьянства, не мог не показать страданий и краха семьи, людское горе.

Теперь против этого уродливого явления мы поднялись всем миром. Идет борьба за человека. И все же, как ни странно, кое-где можно услышать: а не круто ли, дескать, повернули? До сих пор находятся скептики, которые сомневаются: надо ли так жестко вести борьбу с пьянством, ограничивать продажу спиртного? Все это, дескать, вызывает недовольство у определенной части людей... Особенно много защитников алкоголя среди работников торговли, которые никак не хотят расстаться с «выгодным» товаром. Ограничение пьянства кое-кто из них рассматривает даже как ущемление прав личности.

В письмах, поступающих в редакцию, сторонники спиртного, пытаясь обосновать свою позицию, приводят и другие, на их взгляд, убедительные аргументы. Если алкоголь — яд, говорят одни, то почему не пить его, как лекарство, малыми дозами? Лучше прожить на несколько лет меньше, утверждают другие, чем влачить серенькое существование аскета-трезвенника, добровольно лишившего себя удовольствия посидеть за бокалом вина в кругу друзей.

Можно было бы, пожалуй, не обращать внимания на подобные высказывания, граничащие с абсурдом, если бы попытка «облагородить» «зеленого змия» носила единичный характер. К сожалению, защитники «культурного винопития» пока еще довольно многочисленны. Их лжефилософия порой находит поддержку у непосвя-

щенных, сбивает с толку молодых. Вот почему считаем своим долгом вновь обратиться к многочисленным письмам, поступающим в адрес нашей редакции и писателя Петра Дудочкина, опубликовавшего в разное время ряд статей как в нашем журнале, так и в центральной печати о вреде пьянства и алкоголизма. Обратиться потому, что письма эти — подлинный голос народа. Из них зримо, во всей неприглядности встает облик страшного, беспощадного врага, столкнувшего в пропасть многих людей.

И пусть те, кто еще живет старыми представлениями о якобы безобидности культурного пития, кто еще по-прежнему относится к алкоголизму и пьянству с этаким добродушием и иронией — дескать, не так страшен зверь, как его малюют, — пусть они еще раз задумаются, прочитав эти письма, к чему ведет «винная» забава — «на троих», «с устатку», «со встречей», «с получки». Пусть задумаются над своей судьбой, страданиями родных и близких...

«Мне 34 года, живу в небольшом лесном поселке, работаю воспитателем в детских яслях. Образование среднее медицинское, замужем; двое сыновей — 13 и 6 лет. Муж рабочий, пьет. Прежде я тоже пила по праздникам шампанское. Сейчас — ни капли алкоголя. Уже четыре года занимаюсь бегом. Чувствую себя прекрасно. А вот мужа переубедить никак не могу. Вначале он тоже пил по праздникам, а потом и без всякого повода. Я видела и понимала его падение. Возила лечиться. Но лечения хватало на год, а то и того меньше. Потом ему в городе Перми вшили «эспераль». Не пил шесть лет. Радовалась. Думала, что он навсегда расстался с «зеленым змием». Но по истечении действия «эсперали» муж снова запил. Должно быть, страха смерти не стало. Он из тех, кто на словах «за культурное питье», но на деле у него ничего из этого не получается. А вокруг такие же друзья. Стараюсь доказать им, что спиртное в любых дозах — яд. Дети меня понимают, а вот муж нет. У самих наркологов, к сожалению, тоже часто проскальзывают слова о безвредности умеренного потребления алкоголя. И он верит им, а не мне. Вот, к примеру, что пишут в своей книжечке «И что такое плохо!» главный нарколог Пермской области Д. Г. Кигель и тележурналистка Г. М. Лебедева:

«Наше общество — общество отнюдь не аскетов. В иные моменты — при встрече Нового года, в наиболее торжественных случаях — взрослый человек может себе позволить выпить рюмку-две хорошего вина, бокал шампанского. И если эта мера — бокал, рюмка по большим праздникам — не нарушается, то здоровью человека (взрослого!) не будет нанесен слишком сильный урон».

Считаю, такие публикации (а их еще немало) на руку выпивохам!..»

Г. БОЧКОВА **(Пермская область).**

«Ликвидировали бы полностью производство спиртного, торговлю им, и не было бы проблемы пьянства.

Врачи пугают, что если отобрать у алкоголика вино, то он будет испытывать боль, близкую к сильнейшей физической. Ничего подобного. Опыт еще 1914 года показал, что боль эта переносится легко: ни один алкоголик не умер от воздержания...

Говорят: начнется самогоноварение. Но опыт двадцатых годов убеждает, что самогоноварение с введением сухого закона свертывалось. И это логично: при сухом законе каждый пьяный — нарушитель. Стоит пойти за ним, и он приведет вас туда, где этот самогон продают, производят. Поэтому при сухом законе самогоноварением мало кто занимался — опасно. Надо было варить ночами, а пить в подвалах. Какой же интерес? А разрешили торговать водкой, стало безопасно: самогоноварение удвоилось. Попробуй узнай, от чего пьян — от водки или самогона?..»

А. РЕЩИКОВ **(Ленинградская область).**

«Изменения есть, и, я бы сказал, большие. По крайней мере, в нашем районе. В последнее время не валяются пьяные, редко можно встретить на улице человека «под градусом», не стало пьяной бравады и «хвасти», беспардонного мата недорослей. Меньше совершается преступлений и правонарушений.

Правда, в нашем районе приняты и дополнительные меры против пьянства. Нет

свободной продажи винно-водочных изделий. Каждый взрослый человек может купить в месяц только одну бутылку водки или вина по талону, который выдается на предприятиях, в учреждениях, где человек работает. Кое-кто ездит в соседние районы за водкой, но туда каждый день не наездишься. Другие готовят брагу и самогонку, но теперь идет энергичная борьба с самогоноварением.

Думается, если бы в других районах тоже существовала нормированная продажа спиртного, или почти «сухой закон», то наше общество стало бы лет через 25—30 здоровым...»

В. ШКУРАТОВ **(Иркутская область).**

«Как хорошо стало! В центре города закрыли магазин «Напиток». В свадебный зал никто не носит шампанского. На автобусной станции нет заведения, приглашающего на пиво. Теперь тут другая вывеска-призыв: «Квас»!

В кофейной каждое воскресенье организуют обед — семейный, без алкоголя. А на предприятиях и в колхозах проводят вечеринки с песнями, танцами, без спиртного — словом, идет пропаганда безалкогольных традиций.

В районе уже есть добровольное общество трезвенников — сто первичных организаций, в которые вступило 1574 человека. Хотя, конечно, и у нас еще много любителей выпить. Поэтому впереди еще немалая работа».

Д. ШИЛИПЕНЕ **(Литовская ССР).**

«Полное избавление общества от пьянства и алкоголизма возможно только тогда, когда прекратится производство и торговля алкогольными напитками. Мы, трезвенники, одержали некоторую победу, добились прекращения пропаганды «культурного» винопития, ограничения времени работы магазинов, торгующих винно-водочными изделиями. Но пока не добились главного — прекращения торговли ядами, вытравляющими сознание людей, калечащими потомство...»

Н. ОСТРОВСКИЙ **(Одесская область).**

«Большое спасибо Вам за статью «Трезвость — норма жизни». С нее и началась борьба с пьянством. Медицина считает алкоголиков больными. На самом деле это распущенность...».

Н. ПУЗЫРЕВ **(г. Устинов).**

«У нас стали продавать вино и водку (точнее, все спиртное) с 17 часов. Народ доволен. А у алкоголиков кислые «мины». Так им и надо! Ни грамма не жаль тех, кто с выпивкой несет в свой дом беду и слезы...»

С. СОЛОХОВ **(Краснодарский край).**

«В городской столовой «Аушра» в прошлом году провели опрос посетителей — туристов, которые приезжают с разных концов нашей страны. Спрашивалось: за что они, за дальнейшее повышение «культуры пития» или за полную трезвость? Более 95 процентов написали — за трезвость.

Почему понадобился такой опрос? Когда я проводил в санатории «Лиетува» дискуссию «За культуру пития» или за «Трезвость—норму жизни»?—получил анонимный упрек: якобы на социологических исследованиях в городе Горьком были опрошены только трезвенники. На нашем опросе присутствовали все приехавшие туристы...»

В. КАЛЬНЭНАС **(Литовская ССР).**

«Сколько горя сваливается на матерей, когда они теряют близких из-за пьянства. Я работаю в животноводстве. Муж мой был шофером. Пил. На машине с моста слетел в речку, чудом спасли его, но сняли с машины на пять лет. И он повесился. Ему было 49 лет.

Пьянство у нас пока не остановлено. Гибнут молодые люди. Как боязно смотреть на это. Пока водка несет в наши семьи несчастье — нет нам покоя. Как хочется, чтобы ваши публикации послужили хоть каким-то тормозом против этой жуткой беды народа».

Е. ТОКАРЕВА **(Челябинская область).**

«...Жена Петра, мать троих детей, вела пьяный образ жизни. Долго боролся Петр за счастье детей, но Зинаида не слушалась. И однажды в отчаянии Петр ломом убил

жену, которую искренне любил. Потом сам над ее трупом повесился... Если бы я пошла по своим деревням собирать подписи за сухой закон, уверена — в списках были бы тысячи...»

Бабушка, на руках которой осталось трое внуков-сирот (Уржумский район Кировской области).

«Сколько слез, сколько убытков из-за этой водки. Изболелось сердце, глядя на пьяных. Гибнут люди... А мою фамилию не пишите — тут не любят, что пишут про это. Надо какие-то другие меры, крутые...»

К., колхозница (Новгородская область, Волотовский район, село Сливитино).

«Работаю на заводе. Вижу, как рабочие, пойдя на обед, — выпили. Пришли с обеда — еще добавили. А в три часа один другому распорол ножом живот... Да разве все опишешь? За девять месяцев в нашем городке 195 подростков были доставлены в милицию, из них 82 в нетрезвом состоянии (это учащиеся школ, училищ, техникумов. И девушки среди них)... Название улицы и номер своего дома пишу только для вас — не указывайте в печати...»

М., работница (Ленинградская область, город Сланцы).

«Дальше терпеть алкоголиков нельзя! Нужно принимать самые решительные меры в государственном масштабе. Поэтому просим не прекращать борьбу за ликвидацию пьянства. Народ всегда поддержит вас и скажет «спасибо!»...»

Ветераны труда Завода имени Лихачева (Москва).

«У меня муж трижды судим. И все за содеянное по пьянке... Я вот пишу вам и не вижу строчек от горьких слез...»

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА С. (Саратовская область).

«Сколько городов, станиц, сел, поселков, и везде от винопития свои трагедии. У нас два дня назад пьяного, валявшегося в силосной яме, задавил трактор. Или другой случай. Недавно был товарищеский суд Муж и жена пьют. А у них двое детей. Лишили родительских прав. А ведь крепкая семья — крепкая держава. В хорошей семье вырастают и хорошие защитники Родины.

В нашем красивом селе — только бы жить да радоваться. Новый Дом культуры, сад, городского типа магазин, прекрасная площадь, добротные жилые дома. А водка все грязнит и топит... Вот бы сухой закон...»

Н. ЛЕЖНЕВА (Краснодарский край).

«В моем родном селе десятки людей на почве пьянки покончили жизнь самоубийством. Мой двоюродный брат в расцвете лет повесился. Сейчас, когда слушаю или читаю, что усилена ответственность за самогоноварение, недоумеваю: где же это усиление? Самогонщики отделываются штрафом... В винсовхозах нашего района почти весь виноград (двадцать тысяч тонн) — на вино. Столовых сортов винограда возделывается не более пяти процентов... Соки делать совхозы не хотят. Хлопотно. Вино проще... Надо прекратить в стране продажу алкогольных напитков... Запретить переработку винограда и фруктов на спиртное...»

Агроном-виноградарь Н. ПЕТРЕНКО (Херсонская область).

«У нас только в одном колхозе имени Горького за три с половиной месяца трое молодых семейных мужчин по пьянке повесились, а трое, тоже пьяные, разбились насмерть на мотоциклах. Еще один перепился и умер. Еще трое, напившись, полезли в магазин — их посадили в тюрьму. А еще трое вторично отправлены в ЛТП. Как быть? Необходимо восстать против пьянства. Говорят, сухой закон невозможен. А тиранство пьяниц в каждой семье возможно?..»

ЧЕРНЫШЕВА (Запорожская область).

«Я не в силах молчать. Когда же все-таки настанет день, чтобы измученные матери, несчастные жены, обездоленные дети без страха могли ждать с работы своих

сыновей, мужей, отцов, зная, что они придут ласковые, чистые, трезвые?.. Выход один: сокращать выпуск водки. Нельзя губить людей... Пишу об этом не первый раз...»

В. КУЗЬМЕНКОВ, рабочий **(Архангельская область).**

«Сегодня у нас в поселке хоронили женщину. В прошлом была учительница, работала судьей. Сгорела пьяная. Жутко. Только и слышишь: «Застрелился. Удавился. Зарезали. Сердце отказало. Под поезд пьяный попал. Замерз во хмелю...» Больно, очень больно терять людей из-за пьянства... У нас в Курганской области с 20 сентября по 10 октября на дорогах по вине пьяных 17 человек погибли, а 76 получили раны и увечья. Это только на дорогах... Пока писала письмо, узнала, что с перепою умер еще один человек... А водка все еще льется рекой, будто никому нет дела до гибнущих людей. Про падеж скота разговор идет, а про людей забыли...»

Е. МЕЛЬНИКОВА **(Курганская область).**

«В музее города Семипалатинска я читал газеты периода становления Советской власти. Они были насыщены материалами об искоренении пьянства. Мы тогда были бедны, новая рубаха — большая радость. Почему же сегодня, когда мы неизмеримо богаче, не хотим вовсе отказаться от винного дохода?»

Г. ПОПОВ **(город Братск).**

«Странная позиция занята некоторыми газетами в деле избавления от пьянства — уводят читателей в сторону от главного. Не надо много говорить. Требуется врубаться в этот «пьяный забор» всем скопом. Настоящих трезвых людей у нас достаточно в каждом районе. Дело за строгим законом...»

Л. ВЛАСОВ **(Краснодарский край).**

«Хорошо, что у нас запрещены наркотики. Так будем же последовательны: вино тоже наркотик...»

А. ЕРЕМИН **(город Горький).**

«Считаю, что самым реальным вкладом в дело борьбы с алкоголизмом было бы запрещение или по крайней мере резкое сокращение производства и продажи спиртных напитков... Вообще надо прекратить обманывать самих себя. Ведь если выпускается такое огромное количество спиртного, да еще закупается немало за рубежом, то кто-то же должен все это выпить. Не для того же все это производится, чтоб выливать в реки!..»

А. АЛЬШИЦ **(город Калуга).**

«Мне 86 лет. Ветеран Октябрьской революции, гражданской войны. Делегат третьего съезда РКСМ. По профессии агроном. Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. Ныне — персональный пенсионер. Всю жизнь не пил, не курил... Уверен, партия и правительство и в дальнейшем будут принимать самые строгие меры по избавлению общества от пьянства, которое стало архиопасным...»

И. ГУРЕЕВ **(город Кишинев).**

«В нашем селе нередко хороним то алкоголика, то его жертву. Ни одна самая тяжелая болезнь не приносит столько бед и убытков, как пьянство. Много семей не могут нормально жить и трудиться из-за пьянства. Верим, что будет узаконен трезвый, безводочный образ жизни...»

И. ДМИТРИЧЕНКО **(Краснодарский край).**

«Просьба к вам — добиться выработки строгого закона в борьбе с пьянством. Я бы за сухой закон могла собрать в подворном обходе столько подписей, как под воззванием за мир...»

А. БРАВАРСКАЯ **(Чечено-Ингушская АССР).**

«У нас каждая проданная бутылка спиртного равнозначна потере одного рабочего человеко-дня. Пьянство хуже чумы и холеры. Война без войны. Поэтому считать водку хоть сколь-либо доходной отраслью народного хозяйства — это преступление...»

Н. ЛУШНИКОВ **(Курганская область).**

«Должны же все понять в конце концов, что если боремся за мир, за разоружение, против атомной бомбы, то нельзя пропадать от бомб «зеленого змия». Мы согласны любые налоги платить, лишь бы водки не было. Надо спасать народ от «пьяной чумы...»

А. Ш., учительница **(Волгоград).**

«В дореволюционных требованиях рабочих к администрации Ленских приисков было и требование закрыть винные лавки. Первые Советы в Иванове тоже требовали закрыть питейные заведения. А в наше время иные торгующие организации не считаются с нормами морали и трезвыми желаниями масс...»

А. ЧИСТОВ **(Калининская область).**

«Когда во время уборочной в магазине не торговали водкой, в домах был мир, и работалось хорошо, и никто не умер от трезвой жизни. Тут, кроме сухого закона, ничем не поможешь. Да разве мой муж при сухом законе пришел бы пьяный? Да я сама бы раскопала то заведение, что спаивает. И, думаю, каждая жена пришла бы на помощь. А сейчас? Магазинное спаивание — законное...»

Х., колхозница **(Тюменская область).**

«Как бы хорошо было, если бы водку вообще не продавать. В крайнем случае продавать ее по карточкам. Как это организовать — не знаю. Но придумать что-то, чтобы людей не калечить, надо».

А. МИРОНОВА **(Тульская область).**

«На нашем кладбище чаще всего хоронят умерших от пьянства, а не от других болезней...»

Н. ЗИНЧЕНКО **(Крымская область).**

«Я работаю уже 37 лет. Знаю, что более-менее уважающий себя человек в рабочее время пить не станет и за водкой не пойдет...»

Рабочий Р. МЯТНИКОВ **(Кустанайская область).**

«Работаю в совхозе инспектором по кадрам. Вижу, как бурно растет количество алкоголиков. В нашем селе живет подполковник в отставке, стал алкоголиком, бросил семью, растерял характер. При встрече со мной плачет, а вот бросить пить не хватает силы воли...»

А. МАЛИКОВ **(Липецкая область).**

«Правильно вы ставите вопрос, что с пьянством надо бороться на два фронта: и с теми, кто пьет, и с теми, кто наливает, способствует этому, независимо от того, кто есть кто,— шутник, рекомендующий «обмыть» получку, или не умеющий трезво смотреть на жизнь руководитель... Но начинать надо не с шутника, а с руководителя, вот кто должен нести первую ответственность...»

В. ЧЕРНОВ **(город Шяуляй, Литовская ССР).**

«Никакие полумеры не помогут, если не прекратить выпуск спиртных напитков. Почему так получается, что у нас в Орле самовар не купишь, нету, а рюмок всяких и бокалов сколько угодно? Да и чаю хорошего порой не найдешь...»

Е. ШУРОВА **(Орел).**

«Верю в трезвую жизнь для всех и надеюсь, что так и будет. У нас такой замечательный, работящий народ. Неужто пьянство нам надобно?»

ДАНИЛОВА **(Волгоградская область).**

«Я пенсионерка, мне жить-то осталось всего ничего, но жаль будущие поколения. Как посмотрю — совсем юные ребята и девчата, а идут, шатаются пьяные. И такое нередко. Что за потомство у них будет?. »

Т. ТКАЧЕВА **(Кемерово).**

«Проблема пьянства не изживет себя до той поры, пока не прекратит свое существование в таком обилии сам продукт — вино, водка...»

В. ПОТЕХИН **(Брянская область).**

«Я мать четверых детей, по поручению всего нашего большого дома обращаюсь с просьбой: требуйте запрета на продажу водки — люди гибнут. А то мы одеты, обуты, хорошо питаемся, все есть, а радости нету...»

Н. Г. **(Сыктывкар, пос. Лесозавода).**

«Я не знаю статистики по всей стране, но в моей родной деревне, где было около двух с половиной тысяч человек, а сейчас и того меньше, за мою жизнь по пьянке и от пьянки погибло более ста человек. Так, например, родители встретили сына из армии брагой, а через три дня похоронили».

ДОЛГОПОЛОВ-ПОЗЕМКИН **(Москва).**

«Свою жизнь я погубил водкой. Сколько потеряно! Вот уже шесть лет сижу в заключении и еще семь лет сидеть. И это в тридцать три года. Есть о чем подумать. Ведь у меня была жена, двое детей. Какие были прекрасные годы! Но водка, она все сломала...»

С. РАМАЗИН **(Пермская область).**

«Как биологу, мне известно, что состояние опьянения нравится обезьянам. Среди них в неволе могут быть алкоголики, если ставить хмельное в клетку регулярно... Когда приходилось перевозить большого кабана, ему давали самогону, и тот лежал, розовый, спокойный, только похрюкивал, позволял положить себя в кузов грузовика и перевезти куда надо... Китайцы настаивают на водке зерно, раскладывают его на полях, где кормятся дикие гуси, те опьяняются так, что не могут взлететь...

Хронических алкоголиков-животных в природе нет, если не считать человека...»

Н. Ш. **(Киев).**

«Кто бы что бы ни написал о пьянстве, действительность намного кошмарнее... Последствия для здоровья и особенно для генофонда сопоставимы с масштабами чумы или холеры минувших веков...»

Профессор И. БЕСТУЖЕВ-ЛАДА **(Москва).**

«Мы все время и справедливо «крестили» белогвардейские части и японских самураев за то, что они употребляли спиртное. На этих примерах мы утверждали свое превосходство над капиталистической армией, показывали, на какую низость идет буржуазия, взбадривая и одурманивая солдат. Мы, трезвые, победили всяких самураев. Нам, людям сильным духом и телом, совсем ни к чему опиум».

А. ПОЧТАРЬ **(Запорожская область).**

«Работаю проходчиком в объединении «Белорусский». Страшно вспомнить дурное прошлое. Восемнадцать лет с темными днями и ночами в пьяном и полупьяном угаре. Потом одумался, отрезвел. Трезвой жизни не нарадуюсь. Все на лад пошло. Если бы знали пьющие, как это здорово — не пить!.. Но 18 (!) лет потеряно. Безвозвратно. Навсегда...»

В. ЛОГИНОВ **(Минская область).**

«Хочу поблагодарить вас за заботу о людях, а также за смелое обличение тех, которые могли бы сделать многое, чтоб люди не гибли от пьянства. Я родила четырех детей — три сына и дочь. Муж пил. Жили в скандалах. Сажали его в тюрьму. Стал от пьянки инвалидом, умер. Сыночки в него пошли, тоже пьют. Какой пример своим детям, моим внукам, могут показать они. Да и вопрос, что это будут за дети, если они появятся на свет...»

Н. ДАМБАЕВА **(Кемеровская область).**

«Все мы знаем, что без хорошего здоровья, без трезвого образа жизни к коммунизму не прийти. Не подумайте, что я настроена пессимистически, нет. Но беда в том, что борьба с пьянством и другими извращениями жизни ведется пока полумерами. Отстранились от настоящей борьбы иные ответственные лица, живут только сегодняшним днем и только для себя».

Н. НИКОЛАЕВА (Ростов-на-Дону).

«У меня маленький сын. Отец приходит с работы почти всегда навеселе и говорит ему: «Расти скорее, вместе будем водку пить». Разве за такую жизнь погиб на фронте мой дедушка. У нас есть спиртзавод. Сколько спирта выносят через проходную, воруют, продают, перепродают, наживаются. Была проверка ОБХСС в магазине — даже там спирт обнаружили в трехлитровых банках... Многие в поселке прямо-таки обалдели с постоянного перепою, ходят, как чумовые...»

_В._ (Воронежская область, Новохоперский район).

«В селе, в котором я живу, за последние два года погибло от пьянства десять человек в возрасте до сорока лет. Какой-то разнобой у нас в пропаганде получается. Во-первых, в спектаклях и фильмах пьют по всякому поводу и без всякого повода. Во-вторых, чтоб книгу хорошую купить, — играй в лотерею, повезет — продадут, да и то не то, что хочешь. На ряд изданий подписка ограничена. А водка и вино — без всяких ограничений. Вот и получается: когда тянешься к культуре — от ворот поворот, а собьешься с пути и повернешься к злачным заведениям — пожалуйста, ворота нараспашку...»

И. ВОРОНИН (Читинская область).

«Высылаю листы с подписями моих знакомых за сухой закон (58 подписей). Кое-кто из пропойц надо мной смеялся: «Ты что же, Михайловна, против государственной политики идешь? Водкой-то государство торгует». А я в ответ: «Смеется тот, кто смеется последним». Над подписями, как видите, крупными буквами написан наш общий призыв: «Мы против «зеленого змия», мы за сухой закон, чтобы наконец в наши семьи пришел долгожданный покой, чтобы от пьяниц не было больше бед...»

Л. ПАНАСЕНКО (Харьковская область).

«6 августа пьяные ехали на «Волге», сбили женщину с детской коляской. Девочка погибла, мать сошла с ума, все кричит: «Где моя Ира? Дайте мне Ирочку!» Вот вам и выгода от водки...»

Л. ШАТНИНА (Калининская область).

«В Новошмаковском детдоме 96 детей, из которых только двое не имеют родителей, а у остальных родители или спились, или лишены родительских прав; в Маслянинском детдоме без родителей лишь семеро детей из 105, в Барышевском—трое из 115...»

В. ЛЕБЕДЕВ (Новосибирск, Академгородок).

«С какими трудностями мы отстояли свою Родину, сколько отдано жизней. Восстановили страну. А теперь в такое светлое время нет радости в жизни из-за алкоголизма. Хватит терпеть! Народ протестует. Мы, сорок один человек из села Майкопского, просим ввести сухой закон. Считаем, что только сухой закон в наше время может быть спасением, в чем и расписываемся. И. Дмитриенко, Л. Милованова, А. Еременко, В. Митрофанова, Т. Кайдош, Ермак и другие. Лист с подписями прилагаем...»

И. ДМИТРИЕНКО, коммунист, бывший танкист (Краснодарский край).

«Всю жизнь прожила в деревне. Не так давно получила благоустроенную квартиру в поселке, где проработала на фарфоровом заводе более тридцати лет. И теперь, когда прихожу домой, радуюсь. Спасибо нашему правительству за заботу о нас. В то же время берет обида: что это мы такие покладистые, все еще бережем «зеленого змия»? А от него столько бед. Среди его защитников немало и руководителей. А почему? Да потому что сами до сих пор попивают тайно. Но нам все видно. Вот и возмущаешься:

когда же они отчитаются за все?.. Сколько випито, сколько умерло от вина, сколько стало инвалидов. А сколько украдено и пропито!.. У нас в поселке пьяницы обокрали три магазина, сожгли винный, несут фарфор с завода...

Видим мы и другое: молодые парни нигде не работают, а пьют. На какие деньги — почему-то никому нет дела. Работники милиции тоже порой пьют. Пьют, несмотря на указы. Подпольно... Считаю: должен быть полный запрет. В том числе и запрет показывать пьянку по телевизору. А то ведь как было до сих пор, какую бы кинокартину ни показывали — в ней обязательно пьют вино. Мы, дети войны, этого не видели. Теперь же — одна карусель: рюмка за рюмкой, тост за тостом. Читаешь постановления и радуешься, ждешь, надеешься, что с пьянством будет покончено раз и навсегда. Ан нет. Видимо, какими хорошими ни будь постановления, одними ими проблемы не решишь. Против этого зла нужно бороться всем миром».

В. ПАНОВА **(Ярославская область).**

«Не парадокс ли: большинство людей готовы голосовать двумя руками за трезвый образ жизни. А пьянство так и мешает жить. Правда, теперь выпивох приструнили. А прежде что было, когда у нас на нефтестанции Бекишиво правил коллективом Виктор Евгеньевич Лапшин. Вот был забулдыга так забулдыга! Потрепал людям нервы. В район и не езди — ни к прокурору, ни к секретарю райкома — управы не найдешь... Вот и подумайте, будет ли при таком начальнике хорошая работа в коллективе?

Иногда читаешь статьи и диву даешься: одни сваливают на вино, другие говорят — не вино виновато, а пьянство. Но что порождает пьянство? Известно что. Пока нет в магазине, и не пьют. Как только появилось, сразу и запой начинается.

Растила я сына, хоть на него радовалась, теперь и он запил, как и его отец. Не помогло и наркологическое лечение. Обидно, неплохим был, с армии благодарственные письма получали. Вернулся. Женился. А жизнь не получается, значит, и у внученьки детство будет искалеченным. Вот и горит душа: зачем я на свет родилась, чтоб кипеть в этом аду?

Как-то во время запоя мужа пошла я к управляющему, спросила: где он? Четыре дня не вижу. А управляющий мне ответил: «А вы знаете, что сегодня весь совхоз похмеляется? А раз домой не ходит, значит, его допекли». Иногда хочется руки наложить, чтоб не видеть и не слышать ничего. Пьянство — это то же самое убийство — и пьющих и непьющих».

Е. ПЕТРОВА **(Омская область).**

«Сухой закон для самих себя — вот что избавит от пьянства! У нас его объявили и приняли на комсомольских собраниях некоторые студенческие группы. Одно из обязательств так и гласит: «Не пить спиртного и не угощать спиртным». В других вузах Новосибирска тоже созданы общества трезвости».

А. ЛЮЛЬКА, аспирант Новосибирского государственного университета **(Новосибирск).**

«А у нас пока — заповедник пьянства. Жуть берет, что творится вокруг. Взять нашу деревню, в которой чуть больше пятидесяти домов. Не буду перечислять все дворы по порядку, назову только некоторые.

Кузнецовы-Узиковы. Он по пьянке задавил на тракторе молодого мужика, отца двоих детей. Два года отсидел, вышел, опять стал пить. В пьяном виде утонул. Она тоже пьет. Уволили с работы — рядом на ферме работала. Теперь на льнозавод ходит за два с лишним километра. Пить не бросила. Двое детей.

Таракановы. Он и она пьют. Его посадили. Она уехала в другой район. Там опять пьянка. Трое детей.

Козловы. Он в парнях по пьянке сидел. Теперь ему уже на шестой десяток. Недавно в пьяном виде ножом ткнул того, с кем выпивал. А у того трое малолетних детей... Жена пила-пила да и в пьяном угаре утонула.

Суриковы. Все пятеро — пьяницы. Старшая дочь от усердных возлияний умерла. Младший сын по пьянке своровал мешок комбикорма. Отсидел, опять пьянствует, работает непостоянно. Двое детей.

Лемеховы. Пьянствовали-пьянствовали, угодили в больницу. Она оклемалась, продолжает пьянствовать. Он после больницы немного попил — не дотянул до пенсии, сошел в могилу.

Терехины. Сын перепил — умер, второй сын сидел в тюрьме, тунеядствует. Корзинки сплетет — пропьет. Дочь пила-пила — муж отрубил ей голову. Внук, сын этой дочери, из тюрьмы только выйдет, опять попадает. И все по пьяной лавочке.

Не так давно состоялось отчетно-выборное профсоюзное собрание. Прежде на собраниях оделяли всех трешкой. А тут дали по пять рублей. Все повалили в лавку. Столовая гудела дотемна. На другой день слышу: Пилипчук избил свою, а Мишин свою жену. Перепились, расскандалились. А у всех по куче ребятишек. Нет, надо от этой грязи решительно избавляться. Здоровая семья — это крепкое государство».

***Н. Н., селькор* (Ярославская область).**

«Посылаю Вам списки-подписи тех, кто требует сухого закона. Желающих так много, что список может быть бесконечным.

С уважением к Вам и благодарностью А. Миронова и все наше население поселка Молочные Дворы Плавского района Тульской области: Коротчикова, Токорев, Яковлев, Александров, Беккор, Куропаткина, Садовникова и другие, 61 подпись».

А. МИРОНОВА.

«Собрали 213 подписей, можно собрать тысячи, но для этого надо время. Все подписываются с готовностью, только люди не верят, говорят: не будет этого. Неужели не будет? Неужели русский народ не достоин того, чтобы избавить его от лютого недруга — «винного» горя? Может, я что-то не так понимаю, но одного хочу: чтобы полностью исчезло спиртное, чтобы была дисциплина, чтобы люди хорошо работали, а не пили, начиная с утра. Шлю вам газету. Прочитайте статью «С чего начинается рейс». Недавно в нашей области произошла катастрофа: КамАЗ врезался в пассажирский автобус, погибло двадцать человек, остальные покалечились. И все потому, что шофер сделал выручку магазину на шесть рублей. Как же дешево ценится жизнь! А она ведь одна. Так зачем же ее разменивать на спиртное?..»

***А. ТЯНТОВА* (Волгоградская область).**

Итак, правдивое слово народа в защиту трезвого образа жизни сказано. Выплеснулось то, что долго копилось и, гневным валом катясь на «зеленого змия», сорвало с него нарядную мантию, в которую он так искусно рядился многие годы. Отвратительный в своей обнаженности, он корчит теперь жалкие гримасы, стараясь вызвать сочувствие у нестойких. Он унижен, но все еще силен и опасен. И чтобы обезвредить его, надо быть к нему до конца беспощадным.

И последнее. Не будем обижаться на горькую правду, высказанную в письмах читателей. Она — как очищение, как спасительный дождь, который должен обернуться в конечном счете добрыми всходами.

Евгений ЧЕКАНОВ

Дефицитный кирпич

СОВРЕМЕННАЯ БАСНЯ

Рассказ короткий будет прост,
Точь-в-точь как жизнь сама.
Решили звери строить мост,
А кирпича нема.

— Да, нынче худо с кирпичом,—
Смекнул лесной народ, —
Пошлем медведя толкачом...
Медведь сказал: — Идет!

Но через десять долгих дней
Пришел, повесив нос.
Со всей солидностью своей
Ни штуки не принес.

— Послать лису!—раздался хай,—
Иначе дело дрянь.
Крути хвостом, кути-гуляй,
Но кирпича достань.

— Достану, братцы!..— Но и та
Пустая приплелась.
Никто не дал ей ни черта,
Такая вот напасть.

Лесная дрогнула семья.
Но, отметая грусть,
— И я!..— взревел осел.— И я
На что-нибудь гожусь!

— Иди! — сказал народ лесной, —
Достань хоть третий сорт.
Пускай ты, малый, и дурной,
Да чем не шутит черт...

Вернулся он через денек,
Копытами стуча.
И тепловоз за ним волок
Вагоны кирпича.

Пришел унынию конец,
Весь лес возликовал.
Орали звери: — Молодец!
Но как же ты достал?

— Да пустяки, — заржал осел
От редкой похвалы, —
Я в учреждение пришел,
Там тоже есть ослы.

И я им, значит, свой вопрос...
Не повернув башки,
Спросили только: «Вдоль ваш мост,
Иль поперек реки?»

А я сказал: «Конечно, вдоль!
Тут нужен не вагон...»
Они ответили: «Изволь,
Бери хоть эшелон!»

...Взлетел осел под небеса
Под возгласы «Виват!»,
Медведь сказал: — Пойдем, лиса,
Пускай себе галдят.

Теперь им крику до утра.
И нам с тобою, мать,
Давным-давно уже пора
Методику менять...

Пора и мне кончать рассказ,
Правдивый и простой.
Нет, он конечно не про нас —
Про дальний лес густой.
Про лис, ослов, про медведей,
Про темный тот народ...

У них не так, как у людей,
А все наоборот.



КРИТИКА

Николай УТЕХИН

ЦЕННОСТИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ И МНИМЫЕ

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОБЛЕМАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОЗЫ

В ЛИТЕРАТУРЕ последних двух десятилетий производственная тема заняла довольно странное положение: сохраняя за собой почетное место в праздничных отчетах, она почти никогда не удерживала его в серьезных аналитических обзорах. Странность эта была настолько очевидной, что ее заметила не только зубастая, но даже и дифирамбическая наша критика.

Но вот в последние годы, как казалось, был найден выход, ведущий к разрешению возникшего противоречия. Производственную тему стали толковать как тему трудовой деятельности вообще. Художественное и общественное ее значение обеспечивалось включением в один ряд всех лучших современных произведений, в которых так или иначе затрагивалась тема труда. Но стоит ли обманывать самих себя: как бы расширительно ни рассматривалась эта тема, ясно, что прямое отношение к ней имеют лишь те произведения, в которых именно *процесс труда, трудового становления человека* оказывается в центре художественного исследования. Конечно, при желании почти в каждом прозаическом произведении мы найдем героя-труженика; да и как же иначе может быть в литературе социалистического реализма. Однако нельзя не сознаться, что и при самых сильных натяжках довольно трудно, сохраняя объективность, подверстать под рубрику «литературы о людях труда» — «Прощание с Матерой» В. Распутина, «Буранный полустанок» Ч. Айтматова, «Грядущему веку» Г. Маркова, «Закон вечности» Н. Думбадзе и другие подобные им произведения. А кроме того, все эти ухищрения критики совершенно не интересны читателю и никак не отвечают на тот главный вопрос, который он продолжает задавать писателям: «Почему литература, посвященная главному делу нашей жизни — труду, главному созидателю всех ее благ — рабочему и крестьянину, не поднимается до тех художественных достижений, которыми отмечены лучшие произведения нашего современного искусства?».

Недовольство производственной прозой высказывают уже не только читатели и критики, но и сами ее творцы. «Попытки писателей моего поколения вылепить... достоверный портрет» человека труда—«я не считаю удачными (включая и собственный мой опыт), — пишет автор известных романов о производстве М. Колесников, — в наших романах и повестях, даже если они сделаны мастерами слова высокого ранга, преобладает некая дьявольская умозрительность, подменяющая, но не заменяющая горячую плоть жизни. Мы, разумеется, старались, впитывали чужой опыт, а когда дело касалось производства, то даже пытались постичь технологию, не гнушались засучив рукава положить кирпич на стройке... Но, увы... чего-то, наверное, самого главного недоставало в наших книгах. Правды жизни? Возможно». В том же критическом ключе рассуждает и А. Кривоносов, напоминая об «уже навязших в зубах разговорах о художественной немощи одностороннего живописания производственного быта, заколдованном вращении вокруг выполнения плана, борьбы за пере-

довую технологию, о тиражировании ходульных передовиков и всякого пошиба рутинеров — словом, об откровенно конъюнктурном наборе мнимой социальной активности, не выходящей порой по своей значимости за узкие рамки специфических интересов производства».

Нередко просчеты произведений на тему труда объясняются и поверхностным знанием писателями специфики производства, и будущее этой литературы связывается с приходом в нее рабочих, инженеров, колхозников, знающих суть дела не со стороны, а изнутри. Но, как известно, даже блестящее знание рабочих профессий не определяет еще высокого художественного уровня произведения. Слабость романистики первого послевоенного десятилетия не в последнюю очередь объяснялась и чрезмерной детализацией в изображении технологических процессов (например, «Высота» Е. Воробьева); и некоторые произведения по этой причине не случайно называли «беллетризованной производственной инструкцией». Все это лишний раз доказывало, что полноценную в художественном отношении литературу создают все же не экономисты и технологи, а «человековеды». То же подтверждает и развитие так называемой полудокументальной прозы инженеров, рабочих, строителей, которая при всех ее достоинствах не всегда, как уже отмечалось в критике, способна художественно исследовать и обобщить реальные факты действительности (произведения Н. Подоровой «Баба Гутя, Бурлов и другие», М. Круля «Обследование деятельности» и других авторов).

Высказывается и такая мысль: сложности в художественном освоении темы, в воссоздании ярких, запоминающихся характеров людей труда связаны и с тем, что «центр тяжести интересов огромного количества людей переместился к быту, устройству своих личных дел» (А. Шавкута). И социологи в последнее время все чаще указывают на происходящий среди работников производства процесс бытовизации интересов (В. Ядов), на временную «тенденцию к падению или относительному снижению ценностей труда», на то, что «вековечное, издревле присущее человеку трудолюбие, устремляющее к созиданию, теперь застает себя посреди тесной толпы водворившихся в душе иных — внетрудовых, недеятельных мотивов» (Г. Батищев).

Действительно, у части населения престиж труда, трудовой деятельности, к сожалению, падает. Но именно поэтому особое значение приобретает все более заметно проявляющаяся в нашем обществе тенденция рассматривать труд не только как средство заработка, материального благополучия, но и как важнейшую потребность жизни человека, как цель и смысл его существования. Борьба этих противоположных тенденций как раз и является наиболее благодатной почвой для развития «производственной литературы». Ведь разве не борьба за новое отношение к труду в 20—30-е годы вызвала к жизни романы М. Шолохова, Л. Леонова, Ф. Панферова, Н. Ляшко о рабочих, инженерах, крестьянах — произведения, ставшие классикой нашей литературы.

«Затишье темы, усталость темы» критик М. Синельников связывает с «факторами общественного свойства». «Борьба с негативными явлениями, — пишет он, имея в виду борьбу литературы «за практическую реализацию новых подходов, новых идей организации экономической жизни», — оказалась трудным делом... В самом деле, если много и много раз ставятся проблемы, не получающие должного движения, развития в реальной жизни, то... возникает состояние известной предубежденности к теме. Бывает, изменяется, мельчает и сам характер проблем». Эти размышления критика особенно замечательны тем, что прямо, хотя и невольно для их автора, указывают на симптомы действительного «заболевания» производственной прозы. Но поскольку речь об этом «заболевании» еще впереди, то я не стану сейчас останавливать на нем внимание, а ограничусь лишь замечанием о том, что выводы М. Синельникова конечно же нельзя рассматривать как аргумент, оправдывающий просчеты литературы о производстве. Мельчает, увы, не только «характер производственных проблем», но, как говорят, и сам человек, почему-то не спешащий излечиться от своих пороков с помощью лекарств, любезно предлагаемых ему изящными искусствами. Падение нравов отмечалось и в прошлые века, но в литературе все же появлялись и Шекспир, и Пушкин, и Бальзак, и Диккенс, и Достоевский, и Байрон, и Тургенев...

Вообще о «производственной прозе» в последние годы высказывалось много разных и зачастую очень дельных соображений. Особенно интересной стала дискуссия в «Вопросах литературы» (№ 8, 1984), в которой вместе с писателями и критиками участвовали и представители общественных наук. Обсуждение разделило всех на две группы: одни рассматривали тему в самом

широком смысле — как тему трудовой деятельности вообще, другие — ограничились проблемами, связанными лишь с литературой, непосредственно исследующей современное производство. И все же участников дискуссии разделили не различия в толковании темы, а прежде всего их методологические позиции, хотя, конечно, и разный подход к теме был далеко не случайным.

«Производственники» — назовем их так — основную задачу литературы о труде видели в обнаружении ею «острых, больных проблем хозяйственной, социальной практики», в борьбе с «негативными явлениями», «серьезными недостатками хозяйствования», «гримасами бесхозяйственности», с приписками, извращением принципов премирования, с несбалансированностью в планировании и т. д. (М. Синельников). Причем многие слабости производственной прозы объяснялись неспособностью ее творцов разобраться во всей сложности встающих перед экономикой и ее управлением проблем, конъюнктурным отношением некоторых писателей к самой теме, отсутствием у них гражданской смелости и социальной зоркости в постановке действительно важных и актуальных вопросов развития производства, пренебрежением к новейшим достижениям социологической науки.

Сторонники более широкой интерпретации темы рассматривали труд прежде всего как «мировоззренческую категорию», как «нравственную форму существования» человека (В. Хмара), как «фундаментальный нравственный фактор, определяющий духовные и нравственные ценности социалистической личности...» (Ф. Кузнецов); обращали внимание на необходимость воспитания «высоких нравственных ценностей» у юных граждан (Г. Батищев), говорили о поэзии и радости труда, «человеческой совести, как конечной цели в системе нравственных ценностей», о таком «нравственном качестве в труде», которое превращало бы его из «акта чисто механического и потому до отвращения подчас тяжелого в акт нравственный и творческий», и которое порождается «причастностью к общему делу, к людям, к обществу... одухотворенному единой нравственной (и экономической) целью» (Ф. Кузнецов).

Средства от недугов производственной прозы предлагались тоже различные: с одной стороны — новый, более современный подход к теме, профессиональное знание достижений научно-технического прогресса, точный расчет, социологические выкладки, а с другой — лекарства уже устаревшие, патриархальные. Если одни в борьбу за грядущие победы производственной прозы вступили, подобно Ахиллу, с надеждой на неуязвимость и силу божественного оружия, вдохновленные верой в могущество богов современного прогресса — науку и рационализм, то другие — подобно гомеровскому же Нестору — более рассчитывали на житейский опыт, на мудрость и силу обычаев и традиций.

Когда я знакомился с материалами дискуссии, мне все время казалось, что нечто подобное уже случалось в нашей критике, что спор этот напоминает... ну, конечно же, знаменитый спор «физиков» и «лириков», возбуждавший умы два с лишним десятилетия назад. Однако за теми порой школярскими баталиями, принимавшими подчас самые легкомысленные, бурлескные формы, скрывалась очень серьезная борьба с утвердившимся в связи с бурным развитием естественно-научных знаний позитивистским подходом некоторой части интеллигенции к жизни, выразившимся в преувеличении общественной значимости этих знаний и приуменьшении роли духовных, нравственных ценностей. Тогда некоторым людям, увлеченным открытиями в области физики, техники, социологии, генетики, биологии т. д., казалось, что лишь с помощью точных наук и могут быть разрешены не только производственные, экономические, но и социальные проблемы нашей жизни. Все то, что не объяснялось наукой, что не заключало в себе практической пользы и не давало ощутимого положительного результата, считалось (в том числе и гуманитарные знания) несовременным, непрогрессивным, лишенным какой-либо ценности. Именно на основе подобных воззреий складывались за рубежом, и в известной мере у нас, разного рода технологические, технократические концепции, суть которых заключается в обожествлении научно-технического прогресса и признании его (а не производственных и социальных отношений) определяющей роли в развитии общества. Если внимательно приглядеться к развитию нашей литературно-общественной мысли за последние двадцать лет, то можно заметить, что в известном смысле борьба между «физиками» и «лириками» и не прекращалась. Менялись лишь декорации и костюмы ее участников, хотя, конечно же, под воздействием времени эволюционировали и их роли, не изменяя при этом своей сущности — так же, как, скажем, Тартюф Мольера превращался в Бежарса Бомарше.

Разумеется, взгляды «физиков» можно назвать позитивистскими лишь условно. И речь идет не о тождественности их воззрений позитивизму как одному из идеалистических направлений в буржуазной философии, объявляющему единственным источником подлинного знания конкретные, эмпирические, точные науки и отрицающему познавательную ценность философии как определенной системы идей и взглядов на мир и на человека в его отношениях с этим миром. Я говорю лишь об их направленности, в известной мере схожей и созвучной пафосу позитивизма, той его особенности, которую так остроумно охарактеризовал английский историк и философ Р. Коллингвуд, определивший позитивизм как «философию, поставившую себя на службу естественной науке, так же как философия средних веков была служанкой богословия». Чтобы яснее представить сущность взаимоотношений, сложившихся в 60-е годы между нашими «физиками», усматривающими лишь в «положительных» науках реальную и единственную ценность, и «лириками», ориентирующимися прежде всего на ценности нравственные, духовные, на социально-исторический опыт народа, позволю себе еще раз сослаться на суждения о позитивизме того же Коллингвуда, интересные для нас как раз тем, что высказаны они представителем именно исторической науки, методологически близкой искусствознанию и литературоведению. «Позитивизм, — замечал ученый, — был не чем иным, как методологией естествознания, поднятой до уровня всеобщей методологии, так как естественные науки отождествлялись для него с познанием вообще». «Следовательно, критика позитивизма неизбежно должна была казаться восстанием против науки, равно как и восстанием против интеллекта».

Как мы помним, именно так и воспринимались «физиками» упреки «лириков» в практицизме, голом рационализме, пренебрежении нравственной и эстетической сторонами жизни, и не случайно в это же время, в 70-е годы, «деревенская проза», стремившаяся утвердить «идеальные» духовные ценности, подвергалась со стороны некоторых критиков яростным нападкам за идеализацию, патриархальность и консерватизм.

Но в том-то и дело, что критика прогрессистских, рационалистических взглядов «физиков» не была восстанием ни против естественных наук, ни против интеллекта, ни против прогресса. «Лирики» выступали против теории, утверждающей, что положительные науки, в том числе и социология (в позитивистском ее понимании), являются единственным видом объективного знания, против методологии, ограничивающей интеллект лишь одним «типом мышления, характерным для естественных наук».

Как это ни покажется странным, но «патриархальные заклинания» «лириков», их убеждения, опирающиеся на народные представления, в большей степени оказывались зачастую созвучными результатам подлинной науки, чем «точные расчеты» и «научные прогнозы» «физиков» в самых разных областях знания, будь то социология или экономика. Но это лишь кажущаяся странность. «Источники наиболее важных сторон научного мировоззрения, — писал выдающийся русский ученый В. И. Вернадский, — возникли вне области научного мышления, проникли в него извне, как вошло в науку извне всеохватывающее ее представление о мировой гармонии, стремление к числу. Даже столь обычные и более частные, конкретные черты нашего научного мышления, как атом, влияние отдельных явлений, материя, наследственность, энергия, эфир, элементы, инерция, бесконечность мира и т. д., вошли в мировоззрение из других областей человеческого духа. И не только вошли, но и продолжают входить, так, что отделение научного мировоззрения и науки от одновременно или ранее происходившей деятельности человека в... философии, общественной жизни или искусстве невозможно... поскольку... все эти стороны человеческой души необходимы для ее развития, являются той питательной средой, откуда она черпает жизненные силы, той атмосферой, в которой идет научная деятельность».

Давайте обратимся к областям знания и деятельности человека, привлекшим в последнее время внимание литературы. Если взять, к примеру, экологию, то увидим, что не «научные» прогнозы и рекомендации прогрессистов-«физиков» по тотальному преобразованию природы, а основывающиеся на, казалось бы, отсталых, народных представлениях о гармонии и органической взаимосвязи всего живого на земле доводы «лириков» определили в конечном счете характер и направленность подлинно научного подхода к исследованию среды обитания человека и практической деятельности государства по ее сохранению и защите. Что же касается ценности «точных расчетов» прогрессистов, то лучше всего о них свидетельствуют загуб-

ленные Севан и Балхаш, истребленные кедровые леса в Сибири, нарушенный водный баланс в бассейне Каспия, Иртыша, засоленные плодородные земли на юге России, осушенные болота Полесья, на восстановление которых теперь приходится затрачивать огромные средства, так как выяснилось, что «бесполезных» болот нет; они предусмотрены самой природой естественными резервуарами влаги на случай засухи — о чем, кстати, не раз говорилось в художественной литературе: вспомним, например, произведения М. Пришвина.

Именно «заклинания» «лириков», их борьба за сохранение духовных, нравственных ценностей способствовали развитию «учения о ценностях» (аксиологии), считавшейся у нас, как это явствует из энциклопедических словарей, даже в 60-е годы «ложным, ненаучным направлением в понимании общественных явлений». И, увы, не столь уж действенными и универсальными оказались установки позитивистски ориентированных экономистов и социологов на пользу, выгоду, экономическую заинтересованность работника. Как показывают публицисты, пишущие о проблемах современной деревни (скажем, И. Васильев), учет «духовных и культурных ценностей и заветов» крестьянства, знание особенностей всего уклада сельской жизни оказывается важнее голого экономического расчета. Ведь появившийся в деревне рубль (основа материальной заинтересованности и прогресса, по мнению наших «позитивистов», сельскохозяйственной экономики) начал вдруг, как образно выразился писатель, «баловать». Крестьяне перестали выращивать овощи и стали покупать их у государства. Но и это оказалось не главной бедой. Гораздо хуже, что рубль стали обожествлять, к нему стали относиться как к святыне, его начали «культивировать», «выращивать» в устроенных по самым новейшим образцам полиэтиленовых парниках, на почвах, облагороженных «позаимствованными» с совхозных полей удобрениями.

И это имеет прямое отношение не только к сельскохозяйственному, но и к промышленному производству. Если последней и конечной целью для работника является рубль, то ведь совсем не обязательно добывать его не разгибаясь, в поте лица на колхозном поле или у токарного станка. Можно, например, заняться спекуляцией, воровством в торговле, стать взяточником и т. п.

Рассуждения наших приверженцев английского философа Бентама (сводившего нравственность, в том числе и трудовую мораль, лишь к полезности поступка, в конечном счете к личному интересу) о пользе и выгоде невольно заставляют вспомнить замечательный рассказ В. Шукшина «Наказ» о молодом, вооруженном «экономическими теориями» председателе колхоза Григории Думнове и его дяде, опытном и мудром мужике Максиме. Разговор у них зашел о том, как заставить ленивого работника хорошо и честно трудиться. Естественно, выпускник института Григорий немедленно «выдвинул свой научный аргумент»: «Надо, чтоб ему это невыгодно было экономически» бездельничать, но тут же и спасовал и был вынужден «поубавить наступательный разгон» перед житейскими доводами отсталого, как ему вначале казалось, старика. Так как рассказ Максима Думного поучителен не только для молодого председателя, но и для наших «экономистов», позволю себе привести его полностью.

«Вот у нас пастух, Климка Стебунов, пропас наших коров два месяца, собрал деньги и послал нас всех... «Не хочу!» И все. А ведь ему экономически вон как выгодно! Знаешь, сколько он за два месяца слупил с нас? Пятьсот семьдесят пять рублей! Где он такие деньги заработает? Нигде. А он все равно не хочет... Гуляет... Пропьет все до копейки, опять придет... И мы опять его, как доброго, примем. Да еще каждый будет стараться накормить его как получше... Вот тебе и экономика, милый Гриша. Окончи ты еще три института, а как быть с Климкой, все равно не будешь знать. Тем более что он — трудовой инвалид».

Конечно, можно сказать, что Климка-пьяница — исключение, что его привилегированное положение объясняется общим экономическим беспорядком на селе. И как бы чувствуя не полную для племянника убедительность примера, дядя вспоминает и о другом деревенском феномене: «Наспроть меня Геночка вон живет Байкалов... Молодой мужик, здоровый — ходит через день в пекарню, слесарит там чего-то... Вот так работа, елкина мать! Сходит, семь болтов подвернет, а на другой день и вовсе не идет...

— Сколько же он получает? — поинтересовался Григорий.

— Восемьдесят пять рублей. Хуже бабы худой. Доярки вон в три раза больше получают. А Генке — как с гуся вода: не совестно, ничего... Дак он и дома ни хрена не делает! День-деньской на реке пропа-

дает — рыбачит. И ничего ему не надо, ни об чем душа не болит...».

Не хочет вот человек работать, и никакой выгодой его не проймешь. И не случайно серьезная социология не ограничивается чистым экономическим расчетом и, указывая на опасность акцента на внетрудовые мотивации труда (выгоду, пользу), все чаще говорит о необходимости развития у молодежи уважения к общественно полезной деятельности, о мерах по совершенствованию социалистического соревнования, о значении народных, нравственных, трудовых традиций в воспитании подрастающего поколения, то есть о том, к чему так долго призывали «лирики», что утверждала на протяжении последних десятилетий так называемая деревенская проза.

В своих предвидениях, рекомендациях и предостережениях «деревенская проза» с ее народными, патриархальными представлениями о земле, общественном укладе, о труде оказалась куда дальновиднее «позитивистской» нашей науки при решении и экономических, и экологических, и социальных проблем именно потому, что за ее представлениями стоял многовековой опыт поколений. Но вот этого-то и не могли понять нападающие на нее в свое время прогрессисты. Абсолютизируя точные, положительные науки, они совершенно не учитывали уроков истории и не видели, что боги их всегда оказывались бессильными перед мощным и вечно движущимся потоком жизни и уступали в конце концов место новым богам, также не долговечным. Они никак не хотели уразуметь, что точно и верно прогнозировать будущее, видеть последствия настоящего способна лишь одна социальная практика, опирающаяся на опыт предшествующего развития, что наука не цель, а лишь инструмент, средство общественного развития.

Именно подобная, односторонняя направленность мышления и определила особенность подхода к теме труда части принявших в организованной «Вопросами литературы» дискуссии критиков и прозаиков, которых мы условно назвали «производственниками». Дело в том, что с позитивистской позиции, с которой любой вид знания и деятельности рассматривается лишь с точки зрения его конечного результата, нет и не может быть никакой разницы между понятиями «труд» и «производство». Для них труд это и есть производство, то есть преобразование мира с точки зрения *результата, продукта преобразования.* Они и сами не отрицают этого, утверждая в качестве главной цели литературы о труде борьбу с негативными явлениями в экономике, успешное решение назревших производственных проблем и т. п.

Но труд, как известно, — не просто преобразование природы, создание материальных условий существования человека, труд это преобразование мира *с точки зрения участвующего в нем человека,* это «прежде всего процесс... в котором человек своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой» *, деятельность человека, когда он не только перестраивает мир, но и *создает сам себя.* Труд, таким образом, является категорией не только экономической, но и философской, исторической, социально-нравственной, основывающийся на определенных традициях, представлениях, идеалах. Но как раз эта сторона труда менее всего и значима при позитивистском подходе, ибо нравственность не научна и подсчету не поддается, а значит, и в расчет не принимается: чего нельзя пощупать, того и нет.

В принципе наши «позитивисты» хотели бы избавиться от нее вообще, исключить ее из обсуждения, как нечто являющееся лишь помехой в серьезном деле, путающее все карты. Именно на этом и настаивает, например, критик Л. Коробков, упрекавший писателей за то, что они стремятся «перевести» производственный конфликт в «сферу нравственных исканий». «Кто выигрывает при такой операции—прозаик, критик литературный герой, читатель? — недоумевает он и тут же отвечает, — никто, разумеется. Да и о каком выигрыше речь, если вместо того, чтобы детально разобраться в вопросе, закрыть проблему, разговор переносится в такую тонкую, смутно-неуловимую сферу, где она (проблема) в принципе неразрешима?..». При чем тут, мол, какая-то нравственность, когда есть «деловая этика», «регулирующая течение дел в сфере социально-государственного и хозяйственного управления...» (вспомним «моральную арифметику» Бентама). Подобно Генриху II, наши «позитивисты» могли бы сказать, что «абсолютной добродетели не существует; все зависит от обстоятельств», что нет нравственных или безнравственных людей, а есть лишь условия, которые заставляют их быть нравственными или безнравственными, а в упомянутой дискуссии они приходят к выводу, что «нет плохих работников, а есть низкооплачиваемые», «нет нерадивых производственников, а есть плохая организация производства». Именно с этим лозунгом и поя-

* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 188.

вился на театральной сцене знаменитый Чешков.

В критике много говорилось о «несостоятельности» Чешкова как руководителя производства, о недопустимости используемых им «сугубо рациональных», жестких методов управления, о невнимательности к людям, нравственному аспекту трудовой деятельности. Но стоило бы в большей мере обратить внимание на тот социальный идеал, который воплощается в созданном И. Дворецким образе «делового человека». Если обстоятельно проанализировать сам характер взаимоотношений Чешкова с его подчиненными и те требования, которые он предъявлял к организации производства, то станет очевидным, что его представления об идеальном общественном устройстве основываются на принципах очень сходных с принципами прагматизма и утилитаризма, в свое время утверждавшимися Бентамом и Миллем. Сущность «деловой этики» Чешкова вполне может быть раскрыта словами героя новеллы В. Ф. Одоевского «Город без имени», где писатель сатирически воссоздает образ как раз самого Иеремии Бентама: «Польза и одна польза — да будет вашим и первым и последним законом! Пусть из нее происходить будут все ваши постановления, ваши занятия, ваши нравы; пусть польза заменит шаткие основания так называемой совести, так называемого врожденного чувства, все поэтические бредни, все вымыслы филантропов — и общество достигнет прочного благоденствия». Разумно организованное производство героя И. Дворецкого — это и есть иллюстрация к тому самому царству «разумной необходимости», которая возвращает нас к объективному идеализму Гегеля, к идеалам казармы вульгарного и мелкобуржуазного социализма, превращающим человека лишь в средство для достижения некой абстрактной цели, в шестеренку огромного общественного механизма.

Как мы помним, именно против этого объективистского царства «разумной необходимости», лишающего человека своей воли, своего разума, низводящего его до роли «клавиши», «органного штифтика», всю жизнь страстно боролся Ф. Достоевский. Утверждаемая Чешковым модель идеального производства мало чем отличается и от идеала буржуазного технократического общества, которое превращает человека в вещь, в котором отношения между людьми являются «не непосредственно общественными отношениями самих лиц в их труде, а напротив, вещными отношениями лиц и общественными отношениями вещей» (К. Маркс). Но это все из области идеала организаторов, подобных Чешкову.

Для того же, чтобы его воплотить, необходимо было решать насущные, реальные проблемы организации производства. Но вот здесь-то волей-неволей нашим «прогрессистам» и пришлось неожиданно споткнуться о те самые нравственные проблемы, которые ими раньше всерьез и не принимались. Так как отказаться от своей «науки» они естественно не могли, они поспешили онаучить саму нравственность, включить ее в систему своих «позитивных» представлений. Все чаще и чаще в литературно-критических статьях и выступлениях «производственников» можно было встретить призывы учитывать *нравственный момент* при решении производственных конфликтов, создавать в произведениях характеры людей «социально активных», «обладающих чувством ответственности за порученное дело» и т. п.

Но давайте внимательно вслушаемся в эти призывы, и нам станет ясно, что речь здесь идет не о нравственной жизни человека труда, а о «нравственной стороне производственного конфликта», что, собственно говоря, индивидуальные свойства характера работника их интересуют прежде всего *с точки зрения пригодности его, соответствия его требованиям современного производства.* Это совсем не та нравственность, которую проповедовали «деревенщики», а скорее некая прибавка, дополнение к профессионализму Чешкова, которая, как выяснилось, оказалась необходимой в механизме управления экономикой и с которой поневоле приходилось считаться.

Но идеалом-то для «прогрессистов» по-прежнему оставалась построенная на точном научном расчете такая организация производства, при которой нет места никаким нравственным мотивам и всякого рода эмоциям и энтузиазму. И в этом смысле особенно показательно программное, можно сказать, заявление одного из основоположников современной производственной прозы, автора романа «Иду на грозу» Д. Гранина, раскрывающее не только ее цели, но и сущность: «...Когда перед нами будет предприятие с... руководителями, работающими не столько на энтузиазме, сколько по программе, предприятие без штурмовщины, где важна не инициатива, а график, действующее ритмично, выполняющее на 100 процентов план во всех своих звеньях, то делать на таком предприятии писателю станет нечего». Добавить что-нибудь к сказанному трудно. Действительно, литературе, занимающейся проблемами про-

изводства, а не проблемами человека, на таком предприятии делать абсолютно нечего.

К сожалению, даже и «лирически» настроенные критики и прозаики, исследующие эту тему, в своих суждениях и выводах порой как бы невольно перенимают терминологию и даже тип мышления своих оппонентов, способствуя неверной ориентации литературы о производстве. Да, они не устают напоминать прозаикам и драматургам о необходимости художественного исследования прежде всего нравственного аспекта производственных конфликтов, постоянно упрекают их за односторонность, схематизм, нежизненность воссоздаваемых ими характеров героев.

И надо сказать, писатели внимательно прислушиваются к этим рекомендациям. Более того, именно этими рекомендациями, а не внутренней энергией самой темы, не ее объективными предпосылками во многом в последние годы определялось и развитие современной производственной прозы, идущей подчас за критикой как на помочах. Скажем, раскрыта в общественном мнении несостоятельность традиционного для литературы конфликта между новым и старым на производстве, «не отражающего зачастую объективных противоречий действительности», и литература послушно отвернулась от него, хотя эта коллизия была и остается одним из острейших противоречий нашей жизни. Осуждены критикой рационализм и черствость Чешкова, и немедленной реакцией на это явилась целая серия произведений, учитывающих значение «человеческого фактора» во взаимоотношениях людей на производстве — «Пуск» И. Герасимова, «Из жизни деловой женщины» А. Гребнева, «На том стоим» Е. Воеводина и другие. Стоило обратить внимание на схематизм, нежизненность, функциональность героев производственной прозы, и ее творцы стали, как теперь говорят, «утеплять», «оживлять» своих выращенных по рецептам новейшей технологии гомункулусов, наделять их «свойственными человеку» всякого рода капризами, причудами и слабостями, не имеющими, конечно, никакого отношения ни к сущности изображаемых характеров, ни к общему замыслу произведения; заставлять их, вопреки логике повествования и здравому смыслу, разводиться с женами и заводить любовниц, читать древнеегипетскую прозу, охотиться с фоторужьем и т. п. Стремясь хоть как-то «очеловечить» своего героя, производственная литература постепенно, но все более решительно стала погружаться в быт. Но тут же раздался новый предостерегающий окрик критики: бытоописательство было квалифицировано как «бескрылое» и оказалось под запретом.

Естественно, такого рода рекомендации не могли способствовать решению проблем, с которыми столкнулась производственная проза, и хоть в какой-то мере удовлетворить писателей, стремящихся серьезно исследовать тему труда. Поэтому вполне понятно недоумение А. Кривоносова, который в упомянутой уже статье сам начинает задавать вопросы критике. «О чем часто спорят даже серьезные критики? — спрашивает он. — Какой человек лучше — «деловой», но жесткий прагматик или «очеловеченный», гуманный, «вникающий в потребности людей?». Какая черта должна стать преобладающей — «деловая» или «нравственная»? Какая из них больше всего подходит для производства, как будто живой человек (а он является реальным, а не «литературным» участником производства) в одном случае может быть только «деловым», в другом — только «нравственным». Ведь добросовестный, квалифицированный труд и есть свидетельство высшей человеческой нравственности».

Конечно, позиция критики здесь несколько упрощена прозаиком. Серьезная критика ставит перед производственной литературой и проблемы более сложные. Она, например, совершенно справедливо призывает писателей уяснить, что «мало... нравственного преломления производственных коллизий. Производственная пьеса... роман могут выделиться из литературного потока, обрести долгую жизнь лишь тогда, когда писатель достигает глубинной общественной первоосновы конфликтов и характеров, когда художественный анализ всего происходящего становится социально-психологическим, социально-нравственным» (Ю. Кузьменко). Она, в частности, указывает и на то, что «нам не хватает темы труда в другом, более глубоком... горьковском смысле, темы труда как важнейшего фактора формирования философии жизни» (В. Хмара), «народного взгляда на труд человеческий как основу всего сущего и как единственную по-настоящему надежную основу осмысленности человеческого бытия», как на «фундаментальный нравственный фактор, определяющий духовные и нравственные ценности социалистической личности» (Ф. Кузнецов). Со всем этим нельзя не согласиться. Но вот

что любопытно. Пишущие на тему труда прозаики и драматурги по большей части остаются глухи к этим призывам и гораздо активнее откликаются на практические, но, увы, не приводящие к желаемым результатам рекомендации критиков: «примирить требования рациональности, делового подхода с душевностью, человечностью», «отразить нравственную сторону производственного конфликта», «отступить от уже сложившихся схем в изображении людей труда и придать им более жизненности, достоверности, полнокровности» и т. п.

Происходит же это во многом потому, что, врачуя недуги производственной прозы, критика все свое внимание сосредоточила по преимуществу на последствиях заболевания, а не на его причинах. Под влиянием идей «позитивистского» прогресса в производственной прозе в последнее десятилетие незаметно произошла *подмена человеческих ценностей ценностями производственными, экономическими*. Именно к этой подмене прямое отношение имеют слова М. С. Горбачева на XXVII съезде КПСС о том, что «известный перекос в сторону технократических подходов ослабил внимание к социальной стороне производства...»

Ценность человека в производственной прозе стала определяться степенью его пригодности и соответствия требованиям современной технологии. Проблема человека — главенствующая проблема литературы превратилась в проблему «человеческого фактора» (!), который ей, мол, необходимо учитывать. Дело здесь не в самом понятии, а в том, что оно из понятия экономического, социологического, и очень важного с точки зрения управления производством превратилось в термин литературный, эстетический. Своего рода «технократический перекос». В сложившейся ситуации призывать творцов производственной прозы к «нравственному преломлению производственных конфликтов», к «усилению нравственного и социально-психологического аспектов изображаемого» — значит просто затемнять и запутывать существо дела.

Да, для писателей, как и для всех советских людей, чрезвычайно важны успехи и достижения нашего социалистического производства, и они не должны оставаться в стороне от поставленного на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС вопроса о том «как и за счет чего страна сможет добиться ускорения экономического развития». Но ведь само по себе производство не является целью общественного развития. Оно не является даже целью экономического планирования, налаживанию которого посвящают свои произведения некоторые писатели. Кстати, сами плановые органы в своей деятельности совершали подмену, имеющую общие корни с заблуждениями наших литераторов-«производственников». «Происходит крайне неприятная в практике планирования подмена цели средствами, — пишет в «Правде» (№ 29 за 1986 г.) академик Г. Поспелов, — ибо само по себе производство — лишь средство достижения главных целей общества». Тем более ни само производство, ни его проблемы не могут быть целью для литературы.

Критики в последнее время задают вопрос: почему вдруг осваивающая, казалось бы, патриархальную и вообще ненадежную во всех отношениях тематику «деревенская проза» оказалась несоизмеримо выше по своей художественной значимости и даже современнее, чем проза производственная, разрабатывающая материал самый что ни на есть актуальный и прогрессивный? Один из участников уже упоминаемого обсуждения верно заметил, что в отличие от «производственной литературы» «деревенская проза» ставит и решает «фундаментальные общественные вопросы», такие, например, как «проблемы духовного наследия народа или жизни окружающей нас природы», касается «онтологических» струн человека» (В. Хмара). В. Ковский одной из существенных причин этого явления считает что «художники, пишущие о деревне, такие, как тот же В. Шукшин, или Г. Матевосян, или В. Белов, воспринимают происходящие здесь процессы в масштабах «мук истории», драматических преобразований человеческого сознания в целом и до этого масштаба постоянно поднимают весь свой даже «производственный» и «бытовой» материал... И, напротив, разве не мешает сплошь и рядом прозе «индустриальной» чрезмерная «специализация» ее проблематики, отсутствие больших социально-философских обобщений?».

Все это, безусловно, так. И все же не это главное. В принципе можно назвать немало романов и повестей «производственного» жанра, в которых ставятся фундаментальные проблемы общественного развития. Коренное же отличие «деревенской прозы» от основного массива современной «производственной литературы» заключается не в особенностях ее тематики и проблематики, а прежде всего в том,

что все общественные вопросы она рассматривает (и в этом она наиболее полно соответствует самому понятию «литература») *с точки зрения человека, его существования в мире*. Именно благодаря этому она и сохраняет свою определенность даже при отходе от традиционной для нее темы. «Зоринский цикл» рассказов В. Белова, «Пожар» В. Распутина, «После» бури» С. Залыгина уже на ином, «недеревенском» материале разрабатывают, по сути дела, те же коренные проблемы человеческого бытия, что и в произведениях о деревне.

Конечно же и у авторов «производственной прозы» в центре внимания находится человек. Но в том-то и дело, что оценки героя и его поведения выводятся здесь не из сложившегося в нашем сознании идеала личности, а из лежащих вне ее неких надличных ценностей, диктуемых производством, экономикой, требованием текущего момента. Это не значит, конечно, что у писателя вообще нет концепции личности, однако, ставя перед собой в качестве главной цели раскрытие того или иного производственного конфликта, он может показать своего героя лишь как совокупность тех самых далеко не идеальных отношений, которыми характеризуется в настоящее время наше производство.

Так получилось, что в прозе из цепочки общественных взаимоотношений «человек — производство — человек» как-то незаметно выпало третье и самое главное звено. И именно с этим и связаны все ее и социальные и художественные просчеты. Отсюда и схематизм изображаемых ею характеров, ибо на производстве вся деятельность личности зачастую сводится лишь к ее определенной функциональной роли — особенно в части выполнения ею своих прямых служебных обязанностей. С этим же связана и весьма характерная для производственных романов и повестей (повесть Ю. Гейко «Испытание», например) несовмещаемость общественной и личной, бытовой деятельности персонажей, а также, подмеченное уже в критике, стремление писателей к изображению именно руководителей производства или быстрому выдвижению своих героев в сферу управления хозяйством и пренебрежение художественным исследованием жизни простого труженика, работающего на обычном, далеко не престижном предприятии, несмотря на то, что его труд и определяет во многом успехи нашей экономики. Стремление это вполне понятно: ведь производственную проблему, которую ставит в своем романе тот или иной автор, не под силу решить рядовому исполнителю, у него нет власти, необходимой для этого. И не случайно М. Колесников делает своего героя кузнеца Алтунина заместителем министра в последней книге трилогии («Школа министров»).

Но самое-то главное заключается в том, что подмена ценностных ориентаций неизбежно приводит к обеднению и нравственного и социального содержания литературы. Взаимоотношения между людьми низводятся до уровня внутрипроизводственных, а нравственность — к деловой этике, к производственной морали, где все зачастую сводится к вопросам: «Нужно быть честным на работе или не нужно?», «Отказаться от незаконно полученной премии или не отказываться?», «Хорошо нужно работать или плохо?», «Как примирить жесткие требования технологии, деловой подход с душевностью, вниманием к людям?» и т. д.

Возьмем, например, если не самое значительное, то уж, наверное, весьма популярное произведение «производственного» жанра — пьесу А. Гельмана «Протокол одного заседания», в котором получили отражение, казалось бы, все основные характерные для него коллизии. Намеченный в пьесе действительно важный социальный конфликт между высокой социалистической сознательностью рабочего коллектива и несовершенными, не отвечающими духу этой сознательности производственными отношениями, между социалистическим идеалом и исторически-конкретной формой его воплощения *подменен*, по сути дела, традиционным внутрипроизводственным конфликтом между склонным к компромиссам осторожным управляющим трестом Батарцевым и передовым бригадиром Потаповым. Но и сам поединок происходит не на равных. Сила, против которой должен был выступать Батарцев, — в целом вся существовавшая в то время система управления строительством, увы, не равна той, которой объявил бой Потапов. Взваливать вину за то, что происходит в тресте, на Батарцева — значит уходить от серьезной постановки действительно серьезной социальной проблемы. Правда, автор дает понять, что дело не только в Батарцеве, выдвигая наряду с мотивом вины и мотив беды управляющего трестом, демонстрируя тем самым более широкую, диалектическую постановку проблемы, но ввиду того, что в центре драматургической коллизии все же остается

вина руководителя, он тем самым еще более затемняет, затушевывает само существо дела. В подобной же ситуации более зрелой оказывается позиция молодого героя повести А. Черноусова «Практикант» Андрея Скворцова, считающего чистейшим идеализмом обвинение в просчетах нашего производства лишь одних «несознательных» людей.

Нельзя не заметить и явного несоответствия между высокой сознательностью бригады, ведущей борьбу с неорганизованностью в тресте во имя, как заявляет Потапов на заседании парткома, утверждения коммунистических идеалов, и тем главным мотивом, которым руководствуется бригада, отказываясь от премии. Дело заключалось в том, «что эта замечательная премия бьет рабочего по карману! Невыгодно нам получать эту премию!», в том, что премия не может компенсировать тех потерь в заработке, которые связаны с постоянными, вынужденными их простоями из-за нехватки материалов, бесхозяйственности. Причина, безусловно, веская. Но все же странным кажется, что именно эти практические соображения бригады, а не высокая сознательность рабочих, часть которых все же получила премию, не надеясь на благоприятные изменения на стройке, оказалась главной пружиной «нравственной», по мнению некоторых критиков, коллизии пьесы. Странно и то, что, отказавшись от премии, рабочие не отказались от приписок, за счет которых им и начислялась часть зарплаты и о которых ни словом не обмолвился писатель, так как упоминание о них могло разрушить созданную им схему. А ведь в реальном, а не выдуманном тресте при бесхозяйственности, нехватке материалов и постоянных простоях, с чем и боролась бригада Потапова, при отсутствии бригадного подряда приписки неизбежны — иначе рабочим просто не на что будет жить.

Когда мы говорим, обращаясь к писателям, посвятившим свои произведения теме труда, о необходимости нравственного, социального «наполнения» производственных конфликтов, призываем их воссоздавать характеры людей социально активных, отвечающих требованиям научно-технической революции, мы ставим проблему как проблему литературную с ног на голову. Когда же мы задаемся вопросом, *какое производство необходимо для человека, какие производственные отношения наиболее полно соответствуют его идеалу,* что мешает реализации его возможностей как развитой социалистической личности, вот тут-то мы как раз и ставим этот вопрос — и как социальный и как нравственный.

Именно такой подход к теме характерен, например, для недавно опубликованной повести В. Распутина «Пожар», в которой производственная деятельность одного из ангарских леспромхозов оценивается прежде всего с точки зрения работающего в нем шофера Ивана Петровича Егорова, являющегося выразителем сформировавшихся веками народных представлений о труде, работе человека на земле. В свете этих представлений писателю с большой художественной убедительностью удалось раскрыть всю неестественность сложившихся в Сосновке отношений, отчуждающих человека от результатов его работы, овеществляющих его, отнимающих у него радость труда, на который не случайно Иван Петрович «смотрел как на каторгу», и самой логикой повествования подвести читателя к выводу о необходимости немедленного и коренного их изменения.

Надо сказать, что подлинно гуманистическим пафосом социального исследования производственных конфликтов были отмечены и некоторые произведения 70-х годов: например, повесть А. Каштанова «Заводской район» или рассказ Б. Екимова «Не бросить...», в которых показано, как практика установившихся на том или ином заводе производственных отношений, характеризующаяся волюнтаризмом в управлении экономикой, несбалансированностью планов, бесхозяйственностью, в конечном счете приводила к «психологическому понижению» человека, к сужению его духовных, творческих возможностей, к извращению нравственных отношений между работниками, «искажению... просто человеческих истин». Но, к сожалению, этот робкий призыв возвращения к человеку, прозвучавший в названных и немногих других произведениях («Шахта» А. Плетнева, например) производственной литературы, был заглушен шумным хором голосов, зовущих прозаиков и драматургов не отставать от прогресса и прикладывать все силы для скорейшего решения назревших производственных проблем.

В результате производственная литература, призванная, как и всякая литература, чутко откликаться на нужды и заботы народа, первой угадывать назревающие, стоящие на очереди вопросы общественного развития, оказалась в хвосте нашего общего движения. Обожествляя научно-технический прогресс, она измени-

ла своей сущности, главному своему предназначению, в известной мере извратила смысл самого «ускорения социально-экономического развития страны», который при социализме, как отмечалось на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС, заключается прежде всего в «создании благоприятных условий для гармонического развития личности».

Поскольку литература воплощает общественный, нравственный, эстетический идеал, основой которого является концепция личности, то именно этим идеалом, а не лежащими вне человека ценностями она и должна руководствоваться в своем развитии. Действительно, реальность современной жизни не только за рубежом, но и у нас до недавнего времени замыкалась в ориентации прежде всего не на духовные, «человеческие» ценности, а на ценности экономические. Но ведь литература, питающаяся лишь реальностью и пренебрегающая идеалом, являющимся как бы второй ипостасью ее сущности, перестает быть литературой.

В критике много говорилось о романе О. Куваева «Территория» и повести В. Липатова «Сказание о директоре Прончатове», о художественной убедительности характеров их героев. Но ведь главные достоинства этих произведений как раз и заключались в том, что при их создании писатели ориентировались не на идеал совершенного производства, а на идеал совершенной личности. Герои их не приспосабливали себя к производству, они прежде всего стремились в своей трудовой деятельности реализовать себя как личности. Такого рода произведения дают нам и еще один урок: развитая личность, реализуя свои возможности, сама начинает перестраивать, организовывать производство в соответствии с идеальными представлениями о труде и производственных отношениях, стремясь добиться «господства индивида над отношениями и случайностью». Такая постановка «производственных проблем» оказалась действительно органично связанной с традицией романа о людях труда 20—30-х годов, в основе создания которых лежали не экономические концепции, а концепции новой личности, утверждающей себя в революционном преобразовании общества, созидающей новые — социалистические производственные отношения, с традицией, которая ввиду упомянутой уже переоценки ценностей во многом была утрачена прозой 70—80-х годов.

Как известно, идеалом социализма является гармоничная, всесторонне развитая личность. Но осуществление этого идеала, разумеется, может быть достигнуто не сразу, а лишь в процессе исторически длительного развития общества. «Всестороннее проявление индивида лишь тогда перестанет представляться как идеал, как призвание и т. д., когда воздействие внешнего мира, вызывающее у индивида действительное развитие его задатков, будет взято под контроль самих индивидов, как этого хотят коммунисты» *.

Но именно литература и искусство, как никакая другая область человеческой деятельности, способны ускорить этот процесс, и в этом их возможности воистину огромны и ничем не заменимы.

До недавнего времени под воздействием всякого рода позитивистских и технократических концепций общественного прогресса многие уповали на то, что реализация идеала творческой, всесторонне развитой, освобожденной от изнурительного и однообразного труда личности произойдет на путях научно-технической революции. Но реальность НТР, ведущей зачастую к унификации роли личности на производстве, к сужению ее творческих возможностей и т. п., увы, не оправдывает этих прогнозов. «Облегчение с помощью науки и техники тяжелого физического труда — великое дело, — справедливо замечает Ф. Кузнецов, — однако сами по себе наука и техника, интенсифицируя и облегчая труд, еще не решают тем не менее главной, конечной задачи — одухотворения, облагораживания человеческого труда, придания ему высокого нравственного смысла... Важно общественное значение труда, осознание человеком своего предназначения в труде. Оно-то, это осознание, и определяет достоинство личности, достоинство человеческой жизни, делает труд человека творчеством, деянием на пользу людям и обществу».

О радости труда, не поддающейся никакому экономическому расчету и невидимой человеку постороннему, очень хорошо сказал Г. Успенский, анализируя произведения А. Кольцова. У человека иного круга, замечает писатель, тяжелый труд может вызвать лишь сострадание. «Придет ли ему в голову, что этот кое-как в отрепья одетый раб, влачащийся по браздам, босиком бредущий за своей клячонкой, чтобы он мог чувствовать в минуту этого тяжкого труда что-либо, кро-

* Маркс К., Энгельс Ф., Соч. т. 3, с. 282.

ме сознания его тяжести? А мужик, изображаемый Кольцовым, хотя и влачится по браздам, хоть и босиком плетется за клячей, находит возможность говорить этой кляче такие речи: «Весело (!) на пашне, *я сам-друг с тобою,* слуга и хозяин. Весело (!) я лажу борону и соху, телегу готовлю, зерна насыпаю. *Весело* гляжу я на гумно (что ж тут может быть веселого для нас с вами, читатель?), на скирды, молочу и вею...». ...А косарь того же Кольцова, который, получая на своих харчах 50 копеек в сутки, находит возможность говорить такие речи: «Ах ты степь моя, степь привольная! ... В гости я к тебе не один пришел, я пришел *сам-друг с косой* вострою... Мне давно *гулять* (это за 50-то копеек в сутки!) по траве степной, вдоль и поперек, с ней *хотелося...*».

Именно недооценка писателями нравственной сущности труда и чрезмерные надежды на решение всех экономических проблем лишь с помощью его научно-технического совершенствования и явилось главной причиной схематизма изображаемых в производственных романах характеров героев. При таком взгляде на трудовую деятельность и нельзя ожидать иного. Даже при переходящей в восторг поэтизации техники и науки и при использовании самых изощренных художественных средств и приемов представить как полноценную личность работника, вся роль которого на производстве сводится лишь к одной или двум технологическим операциям, или заставить его радоваться тому, что он стал необходимой частью сложнейшего электронного агрегата, — задача неисполнимая.

Очевидно, что счастье и радость труда следует искать прежде всего на других путях. Труд — главное содержание деятельности и жизни человека, но, как отмечают социологи, «даже труд — основа развития человека — воспитывает его не функциональным содержанием операций, уровнем их интеллектуальной насыщенности, сколь бы они ни были важны, а прежде всего характером социальных связей между людьми» *. Как показывают письма в редакции газет и журналов, выступления на собраниях, в ходе обсуждения предсъездовских документов, большинство советских людей единодушны в том, что возможности каждой личности, энергия человека полнее всего раскрываются и реализуются в трудовых коллективах. И действительно, только совместный, общеполезный, как уже говорилось, труд может принести человеку нравственное удовлетворение. Но все же причастностью к общему делу не исчерпывается социальное, духовное содержание труда. Для того чтобы он приносил радость, эта причастность не должна быть абстрактной.

Вряд ли решение и этой проблемы может быть найдено лишь на пути научно-технического прогресса, на пути совершенствования технологии и управления производством, хотя оно в конечном счете, освободив работника от конвейера, однообразных операций, и приблизит его к результатам своего труда. Нельзя добиться ее разрешения лишь чисто экономическим способом, переходом, например, на подрядную систему организации работы, привязав, как говорит герой повести И. Васильева «Депутатский запрос» Иван Стремутка, рублем крестьянина к урожаю. Труд превращается для человека из необходимости в потребность не только через преодоление существующего еще «разделения его производственной деятельности» и приближения работника к ее конечным результатам.

Подобная форма труда уже стала реальностью на отдельных, роботизированных, автоматизированных западных предприятиях, но, увы, никак не изменила его социальной капиталистической сущности. Работа становится внутренним смыслом человеческой деятельности, при всех прочих — экономических и технологических — условиях лишь тогда, когда техника и производство перестают владеть личностью и она сама начинает владеть и техникой и производством, когда человек выступает как творец всех норм и целей труда. То есть для того чтобы преодолеть отчуждение между трудовой деятельностью человека и его внутренней, духовной сущностью, необходимо еще одно — главное — условие: человек должен ощущать себя на производстве х о з я и н о м, причем хозяином *не номинальным, а реальным, действительным.*

Именно к такому выводу приходит и герой упомянутой уже повести И. Васильева, заметивший в споре с братом, председателем райисполкома Петром Стремуткой, что главное, что может разбудить совесть у трудящегося человека, это работа «без понукалок». «Понукалками можно заставить работать руки, но не душу, они ее только усыпляют и замораживают. Хозяином должен быть коллектив, а

* Социальная структура социалистического общества и всестороннее развитие личности. М., 1983, с. 134.

не Князев и не Стремутка, как личности. Василий прав: ты нам нужен — сиди, не нужен — уходи. И это они тогда скажут, когда почувствуют себя действительно коллективом». И не случайно на XXVII съезде КПСС было подчеркнуто, что «ускорение развития общества немыслимо и невозможно без дальнейшего развития социалистической демократии... последовательного и неуклонного развития социалистического самоуправления народа».

К сожалению, приходится признать, что в отличие от «деревенской прозы», чутко откликнувшейся на народную потребность в изменении социально-нравственного содержания труда еще до того, как эта потребность стала осознаваться как насущная необходимость нашей жизни — в произведениях Ф. Абрамова, в романе С. Залыгина «Комиссия», очерках И. Васильева и Ю. Черниченко и других, литература производственная, по сути дела, прошла мимо нее в своем увлечении всякого рода экономическими, технологическими и плановыми проблемами, в своих поисках героя, *отвечающего* требованиям научно-технического прогресса.

А ведь именно в художественном исследовании социально-нравственных, духовных основ труда, а не производственных проблем, в анализе совершающейся эволюции трудовой деятельности человека — от ее незрелых, порождаемых лишь необходимостью форм к зрелым, вызванным потребностью работы ради самой работы, в анализе социальных отношений между людьми на производстве в свете социалистического идеала личности и заключалась главная задача производственной литературы, поскольку она претендовала на звание литературы, а не социологии, деловой публицистики, экономического исследования и т. п.

Главная задача литературы (и «производственной прозы» тоже), как верно заметил М. Алексеев, — заключается прежде всего в том, «чтобы исследовать глубинные процессы, происходящие в сердце и разуме человеческом. Все мы хорошо понимаем, что по художественному произведению... не научить человека специальности сталевара, механизатора, агронома, ткача, летчика, космонавта. Но по хорошим, исполненным высоких идеалов роману, повести, поэме человек может научиться беречь, а значит, и исповедовать истинные духовные и нравственные ценности. А такой человек непременно станет и прекрасным специалистом в любой избранной им профессиональной деятельности».

Производственные проблемы, оказавшиеся в центре внимания того или иного романа, должны были ставить и разрешать не сами авторы, а их герои. При таком подходе и прикладные — экономические, публицистические функции этой прозы (подменившие ее главную функцию) были бы реализованы куда успешнее. В конфликте идеальных представлений героя о гармоничном, дарящем радость и нравственное удовлетворение труде, о всесторонне развитой личности — с реально сложившимися и пока еще далеко не совершенными производственными отношениями яснее бы высвечивался и вопрос о характере и направленности необходимых их изменений.

Если производственная проза сумеет уяснить для себя свои истинные идейно-художественные цели, если она переориентирует свои ценности с производственных, экономических на социально-нравственные, духовные, если идеалом для нее станет не *совершенное производство*, а *совершенная, гармонично развитая личность*, она, так же как и «деревенская» в свое время, перестанет быть просто «производственной» и явится перед читателем литературой подлинной, раскрывающей перед ним великий человеческий смысл главного дела его жизни — Труда, то есть именно такой литературой, какую он уже давно ждет.

Сергей СТРАШНОВ

«ЗАКОН РАВНОВЕСИЯ—В НАС»

К 70-летию со дня рождения Михаила Дудина



КАЖДОГО поэта должно быть и есть свое лукоморье, свое Михайловское, свои травы, деревья, синицы, дятлы и иволги, дожди и метели, свой купол неба, сливающийся с зубчатой кромкой лесов на горизонте, свой привычный с детства, обжитой мир природы — то окно очарования и света, через которое идет живое общение с природой, вечное и непрекращающееся», — написал Михаил Дудин в одной из своих статей, и это «окно очарования и света» он распахнул для своего читателя уже в ранних стихах:

Вонзая каленые бивни
Бездонным озерам в глаза,
Бросая лиловые ливни,
Врасплох подступила гроза.

Роняла у нашего дома
Упругие яблоки грома.

(«Гроза»)

Ярко живописуя грозу в природе, поэт не представлял еще той грозы, которая уже готова была разразиться в мире. Мажорный тон, естественный в стихах о природе, оставался неизменным и в «оборонных» песнях, но тут он звучал бравурно и никак не соответствовал тревожной обстановке конца тридцатых годов:

Гряньте, трубы боевые,
Молодую песню.
Взвейтесь, соколы стальные,
Прямо в поднебесье.

(«Мы готовы к бою»)

Впрочем, Михаил Дудин недолго пребывал в благодушном состоянии. Не успел еще выйти из печати его первый сборник «Ливень», когда молодой поэт попал на настоящую войну. Земляк и друг Дудина Владимир Жуков вспоминает: «Проинформировав нас о напряженности ситуации, что сложилась за последние сутки на северо-западных границах, а час тому назад вылилась в состояние войны с Финляндией, командир полка помолчал и, резко изменив голос, скомандовал:

— В трудный для Родины час добровольно желающие грудью стать на защиту завоеваний революции.., двадцать шагов вперед!

. . . .

Левей нашей третьей пулеметной роты и моего взвода и расчета, на самом левом фланге, взад-вперед покачнулся тесный квадратик артиллеристов, и видно было, как, опережая других, размашисто шагнул самый тощий и высокий, никогда не унывающий разведчик полковой батареи Михаил Дудин...

Может быть, потому шагнул и я, и через какие-то минуты притерся локтями к локтям товарищей...»

Война оказалась куда более суровой и жестокой, чем можно было предположить. В финскую кампанию М. Дудин осваивает новый пласт жизни, передает первые свои впечатления о войне. Многие стихотворения той поры: «Землянка», «Мой походный котелок», «Весь лагерь спит. Песок прохладой дышит...» — связаны с постижением одной какой-либо стороны и даже одного предмета фронтового быта.

Бои на Карельском перешейке многому научили солдата и поэта. Так же, как для А. Твардовского и А. Суркова, М. Луконина и В. Жукова, Великая Отечественная война не стала для М. Дудина неожиданным откровением, потрясением.

Нам было нелегко. Нам было надо
пройти по всем дорогам до конца

и, до предела напрягая нервы,
все выстоять и все перетерпеть.
Нет, мы не начинали в сорок первом,
в тридцать девятом видевшие смерть, —
мы продолжали...

—так писал В. Жуков в стихотворении «Дорога мужества», посвященном другу. И все же только теперь М. Дудин понял, что война не перечеркивает жизни: мечтой и мыслью о ней согревает себя народ, который вышел на схватку со смертью — наперекор уничтоженью.

В стихотворениях 1942 года «Здесь грязь и бред и вши в траншеях...», «Камень», «Соловьи» обозначилась основная тема фронтовой лирики и эпоса поэта — проблема жизни и смерти на войне.

«Я слышал грохот войны и соловьиные перекаты одновременно», — рассказывает М. Дудин о состоянии, в котором создавались знаменитые «Соловьи». Одновременность ложится в основу всех его произведений: война и мир, жизнь и смерть переплетаются, сталкиваются в каждой строфе, а иногда и строке.

Возьмем стихотворение «Камень». Начинается оно тревожно:

Как нож, прорезав щели, по обоям
Бежала световая полоса.

Сравнение превращает живой луч в холодный и резкий. Мир обманчив. Приближается бой, но перед ним солдаты меньше всего думают про возможную смерть — они вспоминают о прошедшей жизни — той, за которую идут сражаться.

И вот уже огонь сметает все живое: «Дымит земля», и темнота, подобно вражеским лазутчикам, «ползет упрямо и сурово из каждого оврага и куста». Бессмысленно погибают люди, и только самой дорогой ценой герой стихотворения прокладывает друзьям путь к победе. Батальон атакует, он отвоевывает жизнь, поэтому и тональность стиха, эмоциональная окраска меняются:

Лисенком пискнул позабытый зуммер...
Комбат встает, и нас ведет комбат.

Ведет по скалам, в гром и посвист дикий,
К своим выводит третий батальон.
...Здесь золотое солнце сыплет блики.
Здесь камни радуются...

Но боль потери неизбывна, оттого и память о погибших должна быть, по мысли поэта, теплой, как дружба, как сама жизнь:

Быть может, ты найдешь случайно камень,
Тот самый камень средь других камней,
Как друга, крепко обними руками,
Прижмись к нему и сердцем обогрей.

Сопротивление смерти, бой за жизнь — так понял молодой писатель философию войны, которую вел советский народ с фашизмом. В центральных, определяющих контекст дудинской поэзии военных лет произведениях («Соловьи», «Мать», «Жаворонок», поэме «Цветам — цвести!»), а за ними и во многих других — все отдельные образы складываются в два основных: жизни и смерти. Смерть — это огонь, железо, фашизм, жестокость и разрушения войны. Ряд образных синонимов жизни, созидательной, плодоносящей, несравненно шире: это природа в любом своем трепетном проявлении, любовь, дети, мать, малая и большая родина, победа.

Надо было бесконечно ценить людей, родную землю, чтобы среди грохота сражений услышать соловьиные перекаты, заметить на минном поле цветущую землянику. В разгар битвы с фашизмом к поэту пришло понимание того, что быть «прекрасным солдатом Родины» означает — «ненавидеть войну». Жизнь неодолима — в этом убеждало М. Дудина все вокруг и все в себе, но его оптимизм горек. Не потому ли в центре многих произведений поэта — герои, которые больше всего любят жизнь, но не жалеют себя во имя ее торжества. Таков пулеметчик из «Соловьев», шофер из одноименной баллады, раненый солдат из стихотворения «Жаворонок»:

И раненый смотрел на клубы дыма,
Прислушивался к пенью не дыша.

Изначальное ощущение жизни как чуда превратилось на войне в выстраданное убеждение в непобедимости живого.

М. Дудин обязательно стремится обдумать происходящее, и не только эмоционально отозваться.

В «Жаворонке» вначале дается батальная картина: «Снарядами разрытая равнина, где третьи сутки колобродит бой». Но над долиной смерти появляется маленький беззащитный жаворонок. Его песня самозабвенна и упоительна. И вот радость жаворонка царствует уже безраздельно, подхвачена всей природой: «Моя земля травинкой каждой пела, таинственного трепета полна». Противоположные начала сталкиваются, объединяются и отчеканиваются в афоризме:

Здесь смерть была, как жизнь, необходима.
И жизнь была, как песня, хороша.

В соседстве с заглавными стихотворениями и поэмами философское звучание в его фронтовом творчестве приобретают даже пейзажные зарисовки и любовная лирика. Уже в 1943 году поэт создает целый ряд произведений без какого бы то ни было упоминания о войне («Всю ночь

шел дождь...», «Сентябрь», «Есть женщина любимая. Она...» и другие). Эти стихи, полные восторга перед жизнью, лирического задора молодости и любви, выглядели в тогдашней литературе необычно — по мощному заряду жизнерадостности их можно сравнить, пожалуй, только с поэмой А. Прокофьева «Россия». А у М. Дудина подобные строки были не просто возможны, но необходимы: они выражали гуманистическую суть освободительной войны.

Напротив, в последние годы Великой Отечественной войны, когда блеск побед стал ослеплять некоторых писателей, поэт пишет, может быть, самые горькие свои стихи — стихи об убитых детях («Снег» и «Кукла»). Муза М. Дудина выдержала испытание медными трубами, его трагически-правдивые произведения — вместе со стихами, песнями и поэмами А. Твардовского, М. Исаковского, О. Берггольц — противостояли наметившейся тенденции облегченного изображения победного похода.

Михаил Дудин увидел непобедимость живого гораздо раньше — сквозь огонь и пепел смерти. Поэт стал утверждать уверенность в победе в самое тяжелое для Родины время.

Пережитое и понятое в военные годы оказало огромное влияние на всю последующую судьбу писателя. Здесь художественные пути М. Дудина и его поэтических собратьев по поколению совпадают. И все же движение М. Дудина было прямей и проще: свою позицию он определил раньше других, выйдя при этом на магистраль самых общих и вечных тем. С тех пор поэт менялся в основном лишь в пределах собственной художественной системы.

Нельзя сказать, чтобы М. Дудин не сходил с той фронтовой дороги. Сходил, но тут и убеждался, что отходит от самого себя. В первые послевоенные годы дудинский стих наряду с другими испытывался на отлучении от военных воспоминаний и многое при этом потерял: энергию, силу, глубину. Но еще больше бед принесла ему прозаичность содержания и формы. Об этом свидетельствует даже одно из лучших дудинских произведений послевоенного десятилетия — поэма «Учитель».

Преодолевая застой, поэт не просто возвращается к фронтовым реалиям и ассоциациям («Я воевал, и, знать, недаром война вошла в мои глаза. Закат мне кажется пожаром, артподготовкою — гроза». 1955) — он гораздо сильнее, чем даже во время Великой Отечественной войны,



Михаил Дудин.

обнаруживает романтическое восприятие мира:

Он розов, он лилов, он фиолетов,
Метельчатый высокий иван-чай.

(«Иван-чай», 1956)

Снегурочка, ты снова прилетела.
Ты руки застудила на лету.
Метет метель, а нам какое дело —
За окнами черемуха в цвету.

(«Метет метель. Сугробы — словно горы...». 1960)

Послевоенная природа радует глаз и сердце праздничностью, дивностью, щедростью.

Романтический стиль Михаила Дудина особенно отчетлив там, где поэт патетически рисует образ малой родины. Жизнь для него — всегда чудо, но самый сказочный край на материке его памяти — это мир детства:

Сверкнуло солнце углями.
И расцвело светло
Тропическими джунглями
Холодное стекло.

Мороз прошел проказником, —
Узорная резьба.
И вдруг запахла праздником
Сосновая изба.

Оранжевый и розовый,
Веселый, как гармонь,
Заголосил березовый
На кирпичах огонь.

(«Останется любовь». 1961)

Припав к целительному роднику первоначальных впечатлений, М. Дудин снова обретает зоркость, уверенность в себе. Он одержим пафосом сложности жизни. «Прекрасен мир противоречий!» — восклицает поэт в одном из стихотворений. В лирике и поэмах 60—70-х годов он, пожалуй, еще более систематичен и целеустремлен, чем во время войны.

Тогда его философские стихи были психологически насыщены. С годами М. Дудин почти перестал развертывать в своих произведениях эмоциональный сюжет: теперь он дает прямые, сжатые иногда до рационалистических формул обобщения, опыт в них как бы спрессован. Вот — целиком — характерное стихотворение:

Жизнь — беззащитна.
И Любовь — нежна.
И Разум — Землю
Облагает данью.
И точная Ответственность
Должна
Сопутствовать
Великому Познанью.

(«Надпись на атомном реакторе»)

Несколько меняется и тональность стихов: если в военные годы поэт намеренно усиливал мажорные ноты, то теперь он все чаще вспоминает самое страшное из увиденного и пережитого («На Невском пятачке», «Песня Вороньей горе», «Дорога жизни») — так утверждается необходимость отстаивать мир, защищать жизнь. Философская лирика М. Дудина двух последних десятилетий подчеркнуто актуальна, порой даже публицистична. Оставаясь художником обобщающего склада, поэт тем не менее остро ощущает современность, ее живые проблемы. Он по-прежнему не устает восхищаться красотой мира, но видит и его взрывоопасность. Недаром же «роза пахнет порохом и смогом», а «божественный Равель наводит смерть на Хиросиму».

Стихи М. Дудина полны тревоги за судьбу планеты, вступившей в атомную эру. Поэтому так больно переживает он любое нарушение человеком своего изначального единства с природой, в чем бы оно ни выражалось: идет ли речь о брошенной в полыню собаке или о кобыле Зорьке, изрезанной осколками бутылок:

Стекает кровь из рваной раны
В мою горячую строку.
И ребра, как меридианы,
Сквозь кровь белеют на боку.

(«Очень грустные стихи»)

Малая, даже случайная жестокость таит в себе мировые катастрофы.

Основной пафос последних книг М. Дудина — в стремлении найти Правду ради спасения жизни на земле:

И должен быть не взорван, а распутан
Гармонии запутанный клубок.

(«Перед лицом пожизненного долга...»)

Поэт вновь и вновь обдумывает во имя настоящего и будущего уроки минувшего. Ему присуще «необратимое уменье смотреть сквозь прошлое вперед».

Постоянная мысль в послевоенных стихотворениях и особенно в поэмах писателя («Семья», «Песня дальней дороге», «Зерна») — о связи времен и поколений. Комиссары революции, солдаты последней войны и женщина, шьющая распашонку, одинаково близки поэту как защитники и творцы будущего.

Что из того, что мир расколот
Тоскою распрей! Все равно
Пройдут война, чума и голод,
Любовь и песня. Сей зерно!

(«Сей зерно»)

Образ зерна воплощает самые заветные мысли и надежды М. Дудина — это одновременно и символ жизни, и символ грядущего.

Осознание человеком своего долга перед миром, жизнью, потомками представляется поэту главным условием их спасения среди гибельных противоречий современности. Поэтому так часто звучат призывные слова об ответственности человека в наш век (стихотворения «Оглядываясь на жизнь», «Идущему в горы», «Очень простые стихи» и другие):

Берегите Землю!

Берегите
Времени крутые повороты,
Радость вдохновенья и работы,
Древнего родства живые свойства,
Дерево надежд и беспокойства,
Откровение земли и неба —
Сладость жизни, молока и хлеба.
Берегите доброту и жалость,
Чтоб она за слабого сражалась.
Берегите будущего ради
Это слово из моей тетради.

(«Заклинание с полюса»)

По убеждению Дудина, «закон равновесия — в нас», устойчивостью и целеустремленностью в меняющемся мире судьба вознаграждает только тех, кто осознал:

Над мировым законом тяготенья
Царит закон всемирного родства.

(«Окружены изменчивым пространством...»)

В дудинских стихах 70—80-х годов заметно повышается гражданская активность автора, а с нею видоизменяется и

поэтика. Все больше тяготеет он к традиционному поэтическому словоупотреблению — образам узнаваемым и понятным с первого взгляда, — все чаще прибегает к рефренам-заклинаниям. Поэт настойчиво повторяет: «Да, я солдат», «Берегите Землю!», «Апрель», «Он среди нас всегда», «И нет безымянных солдат».

Дудинский одический монолог, в котором живописно и восторженно, с неуклонным ораторским усилением развертывается поэтическая мысль, естественно стремится к афоризму. Ощутимо такое движение и в некоторых новых вещах, но гораздо заметнее в книге «Полынь» (1985) иная черта. Многие стихотворения — «Не гремит подобен грому...», «Увы, не представляет разум...», «Утреннее обращение» — завершаются вопросами:

Чем мы еще потешим души,
Каких наделаем чудес,
Куда мы двинемся без суши,
Без океанов и небес?!

(«Все словно должное приемля...»)

Афоризм разрешал противоречие — вопрос его заостряет.

Вообще «Полынь» — одна из трагичнейших книг М. Дудина. Однако были в его творчестве последних лет и другие полюса: скажем, циклы середины 70-х годов «Ласточкам вдогонку» и «Ветреное утро» составлены в основном из произведений мажорных — скорее живописных, чем размышляющих:

Там, в нашем августе, созрели
Хлеба в полях, и звонкий зной
Густую зелень акварели
Просвечивает желтизной.

Там за науку страсти лето
Наград не требует взамен.
Там все продуто и прогрето
И каждый миг благословен.

Там на лугу пасутся кони
И шмель в татарнике жужжит.
Там грудь твоя в моей ладони,
Как вся вселенная, лежит.

(«Там, в нашем августе, созрели...»)

Но и на таких произведениях — печать общей дудинской философичности. Даже «Стихи в честь Алексея Фомича и Людмилы Алексеевны Андреевых, написанные в день их свадьбы», не остаются у М. Дудина тривиальным посвящением или бытовой зарисовкой — и в них воспет праздник жизни, ее вечного обновления.

Стихи последних лет намного лаконичнее военных. Опубликовав в книге «Дерево для аиста» подборку «Забытая тетрадь» — подробные, повествовательные, по-газетному конкретные стихотворения 1942—1945 годов, М. Дудин хорошо дал почувствовать это. Такая перемена вполне объяснима. Тогда происходило становление поэта, и контекст его творчества определялся отдельными заметными произведениями, где образы жизни и смерти сталкивались в пределах строфы и строки, — теперь общую тональность создают книги и циклы, порой достаточно разноплановые, но как бы достраивающие друг друга.

М. Дудин работает сейчас много, жадно, с полной самоотдачей и ответственностью. В своем последнем интервью, данном корреспонденту ленинградской молодежной газеты, Я. Смеляков говорил: «Дудин пишет очень широко, работает без шуток, во всю меру своих сил, что и требуется от поэта...». Эти слова, сказанные почти пятнадцать лет назад, можно с полным основанием повторить и сегодня.

Ирина СТРЕЛКОВА

ВОСПИТАНИЕ ПО НЕКРАСОВУ

Сплошь неграмотная, сплошь темная и забитая в прошлом веке Россия... Да, знаем, учили!.. Но не странно ли? Ходили по российским деревням офени (с XVIII века ходили!) и торговали вразнос — чем же? Да книжками и картинками. И уж к ним в придачу, как сказано у Даля, всем прочим товаром — бумагой, иглами, сыром и колбасой, серьгами и колечками.

А у Некрасова, помните? «Дом — не тележка у дядюшки Якова. Господи боже! чего-то в ней нет!.. Мальчик-сударик, купи букварик! Отцы почтенны! Книжки неценны; По гривне штука — Деткам наука!»

Чисто российская торговая специализация — офени, именующие себя масыками и обзетильниками, со своим особым, непонятным непосвященному языком. Отнюдь не просветители, не сеятели разумного, доброго, вечного. Ушлые торговцы. И все же... Распространители культуры. Доставка книг на дом в самую дальнюю деревню.

Невольно загрустишь. Нам бы сейчас такой же расторопный книготорг, заинтересованный продать с выгодой весь свой печатный товар. И был бы у нас не один на весь район книжный магазин с зевающими от скуки продавщицами, а те же штатные единицы ездили бы по примеру офеней на автофургонах из деревни в деревню. И кстати сказать, уж тогда бы сама жизнь смогла внести ясность в бесконечную дискуссию — кто виноват, что стали залеживаться сборники современных поэтов: сами ли поэты? издатели, печатающие поэтов на серой бумаге и в неказистых обложках? книжная нерасторопная торговля? читатели, опять потянувшиеся к «милорду глупому» и «разбойнику Сипко» в осовремененном виде? критики, не указывающие читателю на истинные таланты?

Дискуссии, дискуссии... «В столицах шум, гремят витии...» А мы пока что вернемся туда, в прошлый век, где по глухим деревням сплошь, как нас учили, неграмотной страны бродят, на что-то надеясь, офени.

Кто покупал и кто читал лубочную книжку или затейливую подпись к лубочной картинке? Предположение, что все это брали ради престижа, отвергнем сразу как несостоятельное. Не завелась еще такая мода. Если покупали—стало быть, и читали. Тем более что лубок заменял в России газеты и довольно оперативно откликался на важнейшие события: окончание войны на Кавказе и взятие в плен Шамиля, появление в России железной дороги.

Никольский рынок в Москве, откуда шли по всей России книжка и картинка, достаточно серьезно изучал вкусы и запросы своего покупателя. Картиночками обклеил всю избу Яким Нагой — да, тот самый, про которого сказано в поэме «Кому на Руси жить хорошо»: «до смерти работает, до полусмерти пьет». А когда вспыхнул пожар, Яким не деньги кинулся спасать— картиночки. А после пожара, едва оправившись, опять принялся их покупать.

В воспоминаниях И. Д. Сытина, начинавшего на Никольском рынке, говорится, что офени, приезжая за товаром, просили у него поменьше книжек про святых и побольше про Бову, Еруслана, Ивана-царевича. Нарасхват шли в деревнях картины из отечественной истории, про Мамаево побоище, Ермака — покорителя Сибири, Ивана Сусанина. Сатира пользовалась успехом — такие картинки, как «Погребение кота», переиздавались бессчетно. Гнали, разумеется, и всякую макулатуру — сонники и оракулы, но выходил в переделке и «Потерянный рай» Мильтона.

Власти в конце концов убоялись влияния на народ продукции Никольского рынка. От офеней стали требовать свидетельства о благонадежности, что практически означало полный запрет книжной и картинной торговли в деревнях.

Произошло это в 1877 году. Сытин пишет, что главную опасность враги офеней видели в том, что «мужик мог приобрести и картинку и книгу даже без денег. Он мог выменять их за ночлег и за кормежку лошади, за кусок хлеба, за ужин, за крынку молока».

Запретительные меры вызывают законное сомнение — так ли уж точны сведения тогдашней статистики относительно почти сплошной неграмотности русского народа и всех других народов Российской империи? Нет, что-то не так с подсчетами. Хотя дореволюционная статистика может кое в чем и нынешней с ее ЭВМ послужить примером. В. И. Ленин, как известно, с большим уважением относился к земской статистике. Очевидно, причины неточности сведений о грамотности кроются

в том, какие грамотеи могли быть учтены и какие нет.

Академик Д. С. Лихачев недавно напомнил в одном из интервью, что всех старообрядцев в России записывали неграмотными, потому что они отказывались читать гражданский шрифт и новую печать. Деревня, считает ученый, была достаточно грамотной, особенно на русском Севере, о чем свидетельствуют крестьянские библиотеки, из них составляются ценнейшие музейные собрания.

Ну, а не старообрядцы с их подпольными (само слово пошло отсюда) книгами? Вся остальная Россия?

Земская статистика рисовала неприглядную картину: мало школ! Но удавалось ли подсчитать, сколько живет по градам и весям самоучек, овладевших грамотой? Зря, что ли, дядюшка Яков возил в тележке буквари?

В 1893 году замечательный книжник и просветитель Н. А. Рубакин выпустил книгу «Крестьяне-самоучки». В ней рассказано о том, как каждый из героев книги пришел к пониманию, что надо учиться читать и писать. Как он свое желание осуществил — и с чьей помощью. Как принялся учить других.

Четыре истории, четыре характера, безусловно самобытных, ярких. Но в то же время каждый из самоучек не представляет собой нечто исключительное и недосягаемое. Типичные фигуры. Пропагандируя среди крестьян возможности самообразования, Н. А. Рубакин искал именно такие примеры, каким мог бы подражать любой.

Наиболее достоверную картину народной грамотности и книжности показал расцвет в конце прошлого века демократических издательств, выпускавших дешевые книжки для народного чтения тиражами в сотни тысяч экземпляров. И это уже были книжки достойные золотого века русской культуры. Люди деятельные и просвещенные, смелые и бескорыстные объединились ради великой цели. Возникали общества — Петербургский комитет грамотности, Харьковское общество распространения грамотности, Объединение библиотекарей, Вольное объединение писателей, близкое Льву Толстому — «Посредник»...

На этот накопленный до революции опыт издания общедоступных книг (и конечно собственный опыт самообразования) опирался Максим Горький, когда в первые годы Советской власти объединил лучшие силы русской культуры вокруг издательства «Всемирная литература».

К своей книге Н. А. Рубакин, приложил «Список удобопонятных и полезных книг». И какой основательный! 353 названия. Художественная литература, книги по полеводству, огородничеству, садоводству, популярные медицинские брошюры, советы по предотвращению пожаров, беседы о российских законах и порядках...

Рекомендуя крестьянину такой внушительный список книг, необходимых для самообразования, Н. А. Рубакин, разумеется, не собирался обречь начинающего читателя на долгие поиски дефицитной литературы. В его список вошли книги, которые были вполне доступны — даже вдали от городов с их книжными магазинами, потому что издавались огромными тиражами! И стоили копейки! И это был список книг, способствующих пробуждению революционного сознания.

История свидетельствует, что так называемая темная Россия оказалась вполне подготовленной к революционной листовке, к участию масс в революции, к восприятию ленинского учения. И немалую роль тут сыграло беспримерное распространение демократической литературы в 1905 году. В. И. Ленин об этом писал: «Демократическая книжка стала *базарным* продуктом. Теми идеями Белинского и Гоголя, которые делали этих писателей дорогими Некрасову — как и всякому порядочному человеку на Руси — была пропитана сплошь эта новая базарная литература».

Эту тенденцию массовой книжки, пошедшей в народ, в том числе и азбук-копеек, букварей, школьных хрестоматий, обнаружил Пуришкевич, обрушившийся на издателей с памфлетом: «Школьная подготовка второй русской революции».

Новая демократическая литература, ее миллионные тиражи, ее копеечные цены — явление парадоксальное для «убогой Руси», не имеющее аналогов ни в одной другой стране, ни в Европе, ни в Америке. Детские книжки «Посредника» расходились теми же тиражами, какими мы сейчас удивляем весь мир. В несколько сотен тысяч.

Труды русских интеллигентов на ниве народного просвещения!.. Но в ответ-то какая тяга к знаниям, какой напор из самых глубин России, какое историческое народное предчувствие будущего! Сытин на склоне лет вспоминал: «Чем шире развивалась моя издательская работа, тем больше созревала у меня мысль, что в России *издательское дело безгранично* и что нет такого угла в народной жизни, где русскому издателю совсем нечего было бы делать!..»

В начале новых общественных течений всегда должно возникнуть с л о в о, способное вдохновить и вести за собой. Новая идея, художественный образ, новый герой. Нет с л о в а — и возникает «безъязыкость» и «нечем разговаривать».

Такое с л о в о провозвестника было сказано Некрасовым. Его поэзия как бы заняла в русской общественной жизни тот горизонт, где ее ждали, уготовив место, где без нее нельзя было понимать происходящее, говорить о наболевшем, мечтать о будущем.

Да, и до Некрасова русская литература, по определению Герцена, стала единственной трибуной народа, лишенного общественной свободы. Однако и при этой российской исключительности роли писателя... Воздействие слова Некрасова, его поэзии на русское общество и на частную жизнь русского человека сравнить не с чем.

Весь народ говорил стихами Некрасова. И стар и мал. И в дворянской семье звучали его стихи и в крестьянской. И в тихой беседе и на сходке. До Некрасова только

«Горе от ума» разошлось в пословицы — однако лишь в образованном обществе. Знали Крылова, но разве басню читают так, как «Выдь на Волгу...» — пламенно, в толпу! Как «Вынесет все — и широкую ясную Грудью дорогу проложит себе»!

В русской повседневной речи никого так часто не цитировали:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.

То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть.

Сейте разумное, доброе, вечное...

Стихи стали заповедями и стали прописями, перемололись в русском языке, обкатались как речные камешки. Привычным сделалось произносить только первые слова — незачем договаривать, каждый помнит:

Суждены вам благие порывы...

О, пошлость и рутина — два гиганта...

Вообще-то наша речь по природе своей цитатна. То есть в любом случае — лекция ли, беседа — в речи присутствуют слова и выражения, заимствованные из каких-либо источников. Цитатами привычно пользуется не только тот, кто широко начитан и привык опираться на авторитеты. Не только злополучный диссертант и начетчик.

Речь деревенской старухи полна цитат — и все они взяты из превосходных источников.

И даже когда наш юный современник швыряет свое «побалдеем» или взамен междометий вставляет грязную брань, он весьма «почтительно» цитирует кого-то, признанного им за авторитет.

Приходится с огорчением признать, что речь иного сегодняшнего специалиста с вузовским дипломом существенно отличается своими цитатами от речи интеллигента прежних лет, а также крестьянина-самоучки или рабочего интеллигента, такого, как Нил в «Мещанах».

Всякие обобщения бывают опасны, но все же... Недавно Виктор Астафьев высказался в журнале «Литературное обозрение»: «А ведь настоящей, истинной интеллигенции у нас не так много. Зато полуинтеллигенции — множество. Мы вообще создали много всякого «полу»: полулитераторов, полукомпозиторов, полурабочих, полукрестьян».

Речь сегодняшнего полуинтеллигента (а у нас есть, увы, и полуучитель) с небольшим запасом слов и кое-как слепленными фразами находится в печальном разладе со старой истиной, что умение говорить есть умение мыслить. Иному, казалось бы, вполне неглупому и знающему свое дело человеку просто «нечем разговаривать». Русский человек на рандеву сделался поразительно косноязычным, и современные авторы дают нам понять, что это происходит из-за глубины чувств: герой говорит одно, а вы проявите художественное чутье и постарайтесь услышать другое. Но почему-то наше художественное чутье куда успешней выручает, когда мы слышим косноязычие Соленого в «Трех сестрах». Соленый бессловесен и может вызвать жалость своими попытками что-то сказать. А речь полуинтеллигента вызывает те же эмоции, что и мазут, плывущий по реке, или засоренный черт-те чем березняк. Не умеем, не бережем...

Интеллигентная русская речь исторически создавалась так, что не обрела — и не могла обрести! — знаков кастовости, избранности. Она демократична, несмотря на склонность к сложнопостроенным оборотам. Очень живая и выразительная, выверенная и на русской классике и на народном словотворчестве, с непременной строкой из Пушкина, Некрасова, Щедрина (три, кажется, самых любимых имени), с метким деревенским словцом, с той отточенностью, которую придает родному языку владение иностранными...

Русская интеллигентная речь самим своим строем слов не допускала пошлый анекдот, и немыслима была беседа взахлеб о «тряпках» — даже в женском интеллигентном обществе, а уж в мужском — подавно!

Вообще достоинство слов, присутствующих в нашей речи, потому что их накопил наш жизненный опыт и хранит наша память, — это достоинство нравственное. Неряшливая, засоренная речь может означать потерю духовного иммунитета, нравственной защиты.

И система речений, хранящихся в нашей памяти, есть система нравственная. Поэтому Лев Толстой с таким увлечением составлял книги для народного чтения с поучительными рассказами и изречениями великих людей. Поэтому многие поколения русских подростков утвердили традицию заветных тетрадей с выписками из прочитанного. И эти выписки превращались в самый доверительный дневник, дающий полное представление о личности, о системе нравственных координат. Такая заветная тетрадь имелась и у Зои Космодемьянской — и там запечатлен не только ее облик, но и облик всего поколения: чем восхищались, во что веровали, за что отдали жизни.

Из строк Некрасова в России составилась заветная тетрадь всеобщего нравственного значения, тетрадь всенародных заповедей, свод правил новых людей XIX века, сделавшийся сводом правил каждого порядочного человека и основой основ нашего российского воспитания — и семейного, и школьного, и общественного...

И тут сама поэзия оказалась под тяжелейшей ношей. Сможет ли выдержать? Да и была ли она? Может, ее и не было? Хотя, казалось бы, не должно все-таки подлежать сомнению, что только воистину художественное имеет свойство распространяться широко и помниться всеми, кого оно коснулось.

Но, любя Некрасова и веря ему, — как не поверить его же искренним признаниям:

«Нет в тебе поэзии свободной, Мой суровый, неуклюжий стих!»

«За каплю крови, общую с народом, Мои вины́, о родина! прости!..»

И зачем только вырывались у него такие покаянные слова!.. Пишут же сейчас без тени сомнения: «Я твой поэт, Россия!»,

И ничего. И громы небесные не страшат. Читатель не возражает, критика даже цитирует благосклонно. А у дальних потомков не вспыхнет нездоровый интерес к частной жизни поэта: а что там все-таки было? какие вины? предал кого или убил?

Для гимназиста и студента в преклонении перед Некрасовым превыше всего стояли гражданские мотивы. Неискушенный читатель не произносил своего суда. Но, пожалуй, он любил Некрасова вовсе не за те качества, которые литераторами, специально пишущими для народного чтения, именовались удобочитаемостью. Неискушенный читатель восхищался Некрасовым-поэтом. Для крестьянина поэзия Некрасова как бы выросла из самой земли — слитая с русской природой, с полями и березами, с бревенчатыми избами, с бешеной скачкой троек и тягучим ходом обоза, с русским выразительным просторечием, с народной изустной публицистикой, которая и посейчас остра и прозорлива, умеет пригвоздить словцом.

Неискушенному читателю предстояло заявить имеющимися в его распоряжении средствами свою позицию в историческом споре о Некрасове. Этот спор начался еще при жизни Некрасова, проложил свою заметную, заваленную каменьями межу в русской общественной жизни, почти прекратился в наше время, но безусловно влил свою кровь в наши литературные дискуссии, прежде всего в ту, которая разгорелась вокруг так называемой «деревенской прозы», но не только в нее.

Сто лет назад Чернышевский, говоря о Некрасове, коснулся вопроса, что же все-таки выгоднее для славы поэта. По Чернышевскому — если бы Некрасов «...заботился о своей славе, то мог бы работать и с мыслью, что произведение будет напечатано лишь через двадцать, тридцать лет; право на славу заработано созданием пьесы; когда оно будет предъявлено, все равно; даже выгоднее для славы, если оно будет предъявлено через десятки лет; посмертные находки ценятся дороже даваемого поэтом при жизни. Но они служат только славе поэта, а не обществу...» Как будто вчера сказано! И он же писал Некрасову: «...лично на меня Ваши пьесы без тенденции производят сильнейшее впечатление, нежели пьесы с тенденциею».

Для Аполлона Григорьева Некрасов конечно же «поэт почвы, поэт народный».

Для Достоевского: «...раненое сердце, раз на всю жизнь, и не закрывавшаяся рана эта и была источником всей его поэзии...»

Их «странные», по определению Достоевского, отношения складывались необычно с самого начала. Когда маститый редактор «Современника» приехал на рассвете к молодому и неизвестному автору романа «Бедные люди», им обоим было всего лишь по 23 года. Ровесники!.. Вот что не укладывается. Особенно для нас, ведущих столь пристрастно и мелочно счет литературным поколениям.

Но при всех возникавших меж ними недоразумениях для Достоевского Некрасов «...наш любимый и страстный поэт! Страстный к страданью поэт!..» И — не ниже Пушкина.

На похоронах Некрасова, где Достоевский, памятуя спор между Поэтом и Гражданином («Нет, ты не Пушкин»), произнес эти искренние слова: «не ниже Пушкина», тотчас из толпы послышалось: «Выше!» — Возразила революционная молодежь. К ней присоединил свой голос и молодой Плеханов. Но впоследствии Плеханов-критик разошелся во взглядах и с Достоевским, и с Чернышевским, доказывая, что поэтический талант Некрасова недостаточно силен и Некрасова нужно любить вопреки его «слабой», «антипоэтической» форме.

Следующий век. XX.

В отношении к Некрасову непременно прорывалось самое подспудное и затаенное, этическое и эстетическое. Демократ или не демократ. Поэт или не поэт.

На анкету К. Чуковского о Некрасове отвечает Александр Блок. Стихотворная техника? «Не занимался ей. Люблю». Влияние на творчество? «Кажется, да».

Тогда же Николай Гумилев. Любите ли вы стихотворения Некрасова? «Люблю». Влияние на творчество? «К несчастью, нет».

Как истинный поэт оценил Некрасова русский фольклор — сочинитель песен, где слова и музыка народные. Нашим бы композиторам при выборе текстов песен такой вкус, такую высокую требовательность!

Поразительное все-таки чутье умудрился проявить неискушенный читатель базарной литературы, перекладчик печатных стихов в фольклор, равноправный участник исторического спора о Некрасове! Ему, конечно, доводилось подхватывать и ловкие подделки, но ведь ненадолго — разберется и бросит. А Некрасова увел к себе и хранил.

Очевидно, фольклор и сейчас ведет свой неспешный выбор. Тут имеется в виду не самодеятельность — ей все можно навязать. И не профессиональные фольклорные ансамбли. Подлинный народный отбор. Как он себя проявил в ту пору, когда не издавали Есенина! Фольклор увел есенинские стихи в свои пределы, берег и хранил. Потому что поэзия!

Но когда человек в чистом поле, в кабине трактора поет во весь голос: «Птица счастья завтрашнего дня, выбери меня, выбери меня...» — эта песня, вколоченная в наши будни и праздники всеми средствами нынешней музыкальной техники, — все же поется только сверху, снаружи, для всеуслышанья, как пишет В. Герасин в рассказе «Веселое утро» (Рассказ-84, «Современник». 1985). А внутри у героя этого рассказа поется совсем другое.

«Слова входят в наш язык самовластно», — сказал Карамзин, восхищенный способностью русского языка к постоянному саморазвитию. Но существует извечная рознь между словами, которые способны самовластно поселиться в нашей речи, и словами, лишь прилипающими случайно и временно, что в общем-то всегда заметно.

Так и с песнями. Поют за столом про

Ермака и поют «Вечерний звон». То есть Рылеева поют и Томаса Мура в переводе Ивана Козлова. И поют Некрасова... Ни у кого из русских поэтов не ушло в песни столько стихов. Настоящая песня у нас — как разговор о самом задушевном, о смысле жизни. Застольная беседа.

Но пелись и «Ландыши» и «Лютики». Прилипчивость некоторых мелодий и словес не может не удивлять. Что называется, не хочешь, а поёшь — правда, как уже было замечено, подобные песни поются только для всеуслышанья. Думается, что их прилипчивость в чем-то сродни прилипчивости к нашей повседневной речи всевозможных канцеляризмов.

Чем еще берет современная песня — это количеством, валом. Песен пишется и пропагандируется чудовищно много, создана такая музыкальная теснота, что и не разберешься, но вот то одна, то другая выскакивают на полшага вперед. Их и тащит с базара наш счастливый меломан — как носил его прапрадед изготовленный на Никольском рынке портрет бравого генерала: «Грудь с гору, глаз навыкате. Да чтоб побольше звезд!»

А у В. Шукшина в одном из фильмов немолодой человек в праздничном пиджаке поет за столом протяжную песню:

— Ну, пошел же, ради бога!
Небо, ельник и песок —
Невеселая дорога...
Эй! садись ко мне дружок!

Слова, всем известные с детства, стихи Некрасова «Школьник».

Ноги босы, грязно тело,
И едва прикрыта грудь...
Не стыдися! что за дело?
Это многих славных путь...
Скоро сам узнаешь в школе,
Как архангельский мужик
По своей и божьей воле
Стал разумен и велик.

Эти стихи — наша национальная гордость. Они взошли над русским детством, как путеводная звезда. Вывели в жизнь, исполненную трудов и свершений, многих лучших сынов отечества. Стали для дерзких и талантливых опорой и надеждой, спасая в дни сомнений и колебаний.

Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа
Столько славных то и знай...

Некрасов в русской литературе самый школьный, самый детский поэт. И не только потому, что классик и его стихи — обязательно входили в хрестоматии. Некрасов писал для детей. «Дедушка Мазай и зайцы», «Дядюшка Яков», стихи о ремеслах: «Домой поспешая С тяжелых работ С утра мне встречался Рабочий народ... Нетрудное дело! Идут кузнецы — Кто их не узнает? Они молодцы...»

В детское чтение с давних лет перешли «Несжатая полоса», «Размышления у парадного подъезда». И особо стоят три стихотворения — программных для воспитания по Некрасову: «Крестьянские дети», «Железная дорога», «Школьник», Великие заповедные строки:

Но даже и труд обернется сначала
К Ванюше парадной своей стороной.

«Семья-то большая, да два человека
Всего мужиков-то: отец мой да я...»

Благослови же работу народную
И научись мужика уважать.

До Некрасова русская литература не умела так говорить с детьми. О самом главном в жизни. О родине, о народе, о труде. Да и после Некрасова кто?..

Но загляните в «Книгу для чтения», предназначенную нынешним первоклассникам. Издана в 1986 году. Ни одного стихотворения Некрасова. Ни одного! Мы волнуемся, что в старших классах урезали часы по литературе. А оказывается, притеснение литературы еще вон когда начинается! Что случилось? Неужто стал непосилен для новых первоклассников мужичок с ноготок? Или устарела мысль, что приучаться к труду можно и нужно в самом раннем возрасте?

В самом начале «Книги для чтения» напечатаны стихи Е. Трутневой «В родном краю!». Разумеется, в наши дни не встретишь лошадку, везущую хворосту воз. Хотя как знать... Но поглядим, что за новые картины открывают первоклассникам стихи современного детского поэта? Каков современный родной край?

Что ни строка, то сплошное веселье и развлечение. «В садах скворцы тебе поют, с тобою дружит теплый ветер... В душистом улье сладкий мед тебе все лето копит пчелка». В общем, все тебе, тебе, тебе... «Тебя в стране любимой ждут походы, игры и науки». Ну, наконец-то про науки сказано. Но почему-то на последнем месте. После походов и игр.

Пустые, приторные стихи. И с погрешностями в русском языке: «Зайчонок солнечной весной к тебе врывается в окошко». Но ведь зайчонок — это, знаете ли, плут косой, с длинными ушами. И он, в отличие от солнечного зайчика, в окошко не врывается. Да и кстати сказать, «пчелка», которая в одиночку «копит мед», тоже не очень-то верно. Мед копят пчелы. Но там, в стихах, дальше есть рифма: пчелка — елка...

Существует — и с давних времен — отбор для детского чтения, для школьных хрестоматий золотых песчинок — лучшее, что написано для детей, и великие в своей простоте шедевры мировой литературы. Хрестоматийные произведения — чистый родник мысли и слова, они дают ребенку уроки родного языка и уроки нравственности, чтобы родная речь стала для человека с самых ранних лет святыней и защитой. Поэтому и писал Лев Толстой для маленьких детей свои басни в прозе, известные всем с детства коротенькие истории «Старый дед и внучек», «Ученый сын», дающие памятные на всю жизнь уроки семейной этики — того самого предмета, который составители нынешних школьных программ сводят к проблемам пола, и потому он отодвинут для изучения в старших классах — как будто в младшем возрасте школьникам вообще незачем думать, что они тоже семейные люди,

(А преподавать этот обожаемый Минпросом предмет, между прочим, практически некому. Нет учителей — не готовят институты. И пособий нет. Есть только часы занятий, отнятые у какого же предмета? У литературы, которая везде, кроме школы, почитается как главный учебник жизни.)

Познакомившись с нынешними хрестоматиями для начальных классов, приходишь к выводу, что само понятие хрестоматийности нуждается в уточнении и разъяснении. Особенно если речь идет о современном авторе. Мы знаем, что если один поэт говорит другому: «Это у тебя хрестоматийное стихотворение» — выше похвалы нет.

Но вот какую «хрестоматийность» предлагает первокласснику «Книга для чтения». С. Погореловский «Слава хлебу»: «В нем земли родимой соки, Солнца свет веселый в нем... Уплетай за обе щёки!». Ладно, оставим в стороне «солнца свет веселый». И «соки земли», тоже, хотя ребенку все это трудненько будет втолковать. Но вот «обе щёки», которые появились в рифму к «соки»? Тут что делать? С ударением на первом слоге?

Если справиться с четырехтомным словарем русского языка, можно обнаружить, что там особой строкой вынесено: «За обе щекѝ уплетать...» С ударением! На правильном месте! Причем — единственно правильным! А тысячи ребят у нас обучатся по «Книге для чтения» неправильному ударению...

Пример из «хрестоматийной» прозы для первого класса. «О нашей Родине». Автор — Ю. Яковлев. Читаем: «В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок — деревня, улица, дом, где он родился. Это его маленькая родина. А из множества таких маленьких родных уголков и состоит наша общая, великая Родина».

Очень хочется на этом и оборвать — «Родина состоит из уголков», — но приходится продолжить то, что написано с таким равнодушием к языку: «Родина — мать своего народа. Она гордится своими сыновьями и дочерьми; приходит на помощь, придает силы».

У безликого слова есть своя мимикрия. Читаешь — вроде гладко. Но начнешь вчитываться — хоть криком кричи.

«Маленькая родина»? Ну, нет! У каждого человека есть своя малая родина. Это и конкретное понятие и поэтический образ. Но «маленькой родины» не бывает.

А как прикажете пояснить ребенку слова «Родина — мать своего народа»? Есть поэтический образ матери-родины. Он живет в нашем сердце, в наших делах. В войну в детских домах осиротевшие ребята очень зримо себе представляли, что они теперь дети Родины. Но невозможно назвать — язык не поворачивается — Родину матерью народа. Равные в нашем сознании великие образы — Родина и народ.

Могут усомниться, а надо ли так придирчиво вчитываться в короткий текст для чтения в первом классе. Право же, надо. Именно потому, что в первом классе должно в ребенке воспитываться чувство языка. И ведь столько есть в нашей поэзии действительно хрестоматийных стихов о хлебе, о любви к Родине! Зачем же брать в книгу для чтения что попало.

Приведенные здесь отрывки вполне убедительно показывают, насколько владеют родной речью те, кто составил книгу для чтения в первом классе. Кто начисто забыл про Некрасова! Великого детского поэта!

Впрочем, кто нам сказал, что он великий? И детский великий и вообще? В этой книге для чтения есть раздел: «Великие русские писатели». Пушкин, Крылов, Лев Толстой. Обидно не только за Некрасова. За Гоголя тоже. И за Лермонтова.

У Гоголя дела обстоят вообще худо. По четвертый класс включительно — ни единой строчки! Некрасов все же появляется в книге для второго класса. И Лермонтов. Но они напечатаны там, где про времена года, про жизнь детей до революции. В разделе, посвященном труду, — ни строчки из русской классики. Казалось бы, дед Мазай и все спасенные им зайцы вполне подходят для раздела «Охранять природу — значит охранять родину». Увы, дед и зайцы оказались во временах года— иллюстрируют весну. И на том спасибо!

Кстати, если уж зашла речь о книге для чтения во втором классе, изданной в 1985 году тиражом 1 480 000 экземпляров. Давайте своими силами восстановим на стр. 141 перевранный составителем текст Некрасова. Там напечатано, что Мороз, красный нос: «Идет — по деревьям шагает, Трещит по замерзлой земле». А у Некрасова не было «по земле». У него: «по замерзлой воде».

И уж поскольку мы взялись за исправления. Загляните на стр. 155.

Ю. Яковлев пишет, что Терентий Семенович Мальцев вывел новый сорт пшеницы. Так и написано черным по белому: «Заколосилась на полях страны замечательная Мальцевская пшеница». Однако нам-то всем известно, что Т. С. Мальцев прославился не пшеницей его имени. Существует мальцевская система обработки почвы.

Что же касается Николая Анатольевича Злобина (тот же Ю. Яковлев, 155-я и 156-я страницы), то, пожалуйста, вычеркните фразу: «Этому строителю пришла смелая мысль: попробовать построить дом силами одной бригады». Дело в том, что и до Н. А. Злобина строители возводили дома силами одной бригады. Его новаторство — бригадный подряд. Вам придется как-то понятней объяснить вашему первокласснику суть бригадного подряда. И про мальцевскую систему обработки почвы тоже. Заклейте картинку, нарисуйте свою.

Но вернемся к Некрасову, никоим образом не помышляя хоть как-то связывать неуважение к его стихам с полным незнанием того, чем же знамениты у нас в стране Т. С. Мальцев и Н. А. Злобин.

Ни в третьем, ни в четвертом классе в книгах для чтения нам так и не встретится «Школьник».

Что же все-таки смущает тех, кто составляет программы и книги для чтения? Коробят «ноги босы»? Или не нравится

«божья воля»? Или устарел наказ: «Знай работай да не трусь»? Или перестал восхищать юные умы «архангельский мужик», великий Ломоносов? Или встреча с упорством и талантом уже не дает нам повода воскликнуть: «Вот за что тебя глубоко Я люблю, родная Русь!»? Или не приходится нынче видеть «тупых, холодных и напыщенных собой»?

Истинно талантливому человеку и в наше время достается пройти сколько-то верст путем «архангельского мужика». Самый достойный для таланта путь самостановления, когда приходится рассчитывать только на свои силы, пробиваясь к настоящей культуре, к полноценным знаниям — сквозь всевозможные «полу» (полузнание, полуучение, полутворчество), а окольными тропиночками столько поспешает шустряков, кто сам, а кто и за ручку... Но зато когда истинный талант делает свое выстраданное дело — как он заметно выделяется в тех сферах, где что-то слишком много стало «холодных и напыщенных собой»!

Классическим, воспетым Некрасовым путем прошел и В. Шукшин. У него был за плечами не только ВГИК. Он еще и самоучка горьковского толка. Судьбу выстраивает книга — его слова. Судьбу В. Шукшина выстроили три списка, составленных в рубакинских традициях: один он получил в раннем детстве от эвакуированной ленинградской учительницы, второй — в морской библиотеке, когда служил на флоте, третий — от Михаила Ильича Ромма.

Самообразование? И слово-то сегодня кажется устаревшим. Какое-то областное, забытое культурными людьми слово. Сегодня принято за аксиому, что все полагающиеся человеку знания должны быть кем-то аккуратненько вложены в его голову. А для этого они должны быть включены в школьную программу (не потому ли она и лопнула в конце концов по всем швам?). Но школой не кончается убеждение, что пускай нас учат те, кому за это деньги платят. Взять хотя бы занятия с молодыми литераторами.

Но ведь одно дело — знания, которые тебе преподнесли на подносе, однотипно, как всем, этакий «европейский завтрак», калория в калорию. И совсем другое — знания, которые ты нашел и добыл сам. По-разному доставшиеся, они и ведут себя по-разному. Одни лежат-полеживают, тихо, будто их и нет. Другие — не дают покоя, так, к примеру, В. Шукшин шел и пробивался к своему Разину.

Размышляя над всем этим, можно приблизиться к пониманию, почему В. Шукшин взял в свой фильм песню «Школьник» — именно эту, а не другую!— и почему на экране мы видим не артиста, а немолодого сельского жителя, сельского интеллигента — петь он не мастак, но петь ему надобно, позарез, требует душа.

Этот человек полярен всему тому в искусстве, что В. Шукшин страстно ненавидел. Не уставал ненавидеть — по Некрасову. Один из главнейших заветов, доставшихся нам в наследство. У Некрасова не раз встречается взаимозависимое любить— ненавидеть. И однажды с таким неожиданным словом — устать.

Сейчас о русской классике спорят куда более пылко, чем о произведениях, только что опубликованных в толстых журналах. В критике уже прозвучала точная формулировка: русская классика приобрела функцию текущей литературы, ставящей главные вопросы нашего времени.

Меж тем и занимательное, популярное литературоведение отошло от пересказа общеизвестных фактов и пустилось сочинять дилетантские гипотезы, породив новое «полу», которому дал определение Д. С. Лихачев: «научный полудетектив» или «детективная полунаука».

А в театре и в кино идет своим чередом современная интерпретация классики.

Пушкин, Лермонтов, Толстой... Лескова вспомнили! Достоевский... Чехов... Опять Пушкин... Еще про Чехова... «Господи, что с Островским-то сделали!» — ужаснулся известный критик.

Сколько можно говорить и писать про классику! Мы уже устали за нее бороться.

Но обратите внимание, Некрасова почему-то не трогают. Ни популяризаторы, ни интерпретаторы. Его словно бы нет в нашей классике, которая приобрела функцию текущей литературы.

Забыли? Невозможно. Но что-то не видно охотников исследовать частную жизнь поэта — как это нынче позволяет себе любой с Пушкиным. Нет желающих поразузнать, какая же клевета «снежным комом прошла-прокатилася».

Побаиваются, но чего же? Или не встретились никому посмертные находки, которые, как писал Чернышевский, «ценятся дороже даваемого поэтом при жизни»? Или просто время не пришло? Но какое же другое время нужно для крестьянской поэмы «Кому на Руси жить хорошо»? Для того, чтобы напомнить строки: «Вот приедет барин — барин нас рассудит». Или устарели язвительные слова по поводу бесплодных споров:

Верить, не верить — ему все равно,
Лишь бы доказано было умно.

А разве не злободневно звучат стихи о литераторе-юбиляре:

Семь речей ему сказали,
Все заслуги перечли,
И к Шекспиру приравняли,
И Гомером нарекли...

Некрасов тридцать лет бесстрашно стоял в центре всех литературных страстей, крупнейшая, заметнейшая фигура, открытая прямым ударам и окольным клеветам.

Тогда многое в литературной жизни закладывалось на будущие времена. Все было. И славное доныне и уцелевшее доселе. И групповщина, и даже «литературные генералы» — о них говорил Добролюбов, а позже Чехов.

Но пропробуйте себе представить, что в «Современнике» затеялась полемика о различиях между «тридцатилетними» и «сорокалетними». Это же для «Свистка» — смех да и только, как они считаются своими летами!

Или попробуйте вообразить, что «Современник» публикует пространные рассуждения — на уровне открытия — о том, насколько необходима писателю совесть. А кому она не нужна? Слесарю? Композитору? Так это ведь — смотря какому. Совесть, она, к счастью, от нас не зависит. Наследственное достояние, а не благоприобретенное. Не наша заслуга — тех, кто растил.

Что же касается нынешних страстей вокруг «положительного героя»... Не раз вспомнили Достоевского, князя Мышкина, героя «идеального» и «положительно-прекрасного». Но как можно в этой дискуссии пройти мимо Некрасова?

Положительный герой-деятель — основа некрасовского евангелия, основа воспитания по Некрасову. Героиня поэмы «Саша» увлекла в революцию поколение Веры Фигнер и многие последующие поколения. Некрасов неустанно отыскивал положительного героя во всех сферах российской действительности, поработал, кажется, за всю отечественную словесность, чтобы явить обществу достойный пример и призыв.

И здесь у него на заглавном месте русская женщина-крестьянка. «Она всегда играла исключительную роль в судьбах России, — сказал Федор Абрамов в одном из интервью, вспомнив военный подвиг русской женщины и послевоенные годы. — Я бы памятник поставил русской бабе!» Очевидно, сегодня мы по-новому можем увидеть святой для Некрасова образ женщины-крестьянки и оценить предвиденье поэта, потому что у нас есть опыт современного обращения к русскому женскому характеру у того же Федора Абрамова, у Александра Твардовского, Виктора Астафьева, Василия Белова, Евгения Носова, Валентина Распутина, Василия Шукшина, Ольги Фокиной... Хранительница очага, моральная твердыня народа.

Удивительно широк оказался круг положительных героев Некрасова! Крестьяне-ходоки, внуки которых пойдут к Ленину. Вернувшийся из ссылки декабрист, пример верности своим идеалам. Юная Саша, народный заступник Гриша Добросклонов, русские женщины Трубецкая и Волконская... Редчайшее явление в поэзии — документальность, летописание, подлинные имена (или имена легко угадываемые). И здесь же целая галерея портретов — те, с кого русское юношество будет делать жизнь. Белинский, Добролюбов, Шевченко, Салтыков-Щедрин, Чернышевский... Но предсмертные строки Некрасова как бы отделяют его от друзей. Даже на краю могилы он себе не даровал прощения, хотя знал, что грешник иной раз повыше праведника. Поразительные строки: «...на меня их портреты Укоризненно смотрят со стен».

И не поза, не унижение паче гордости во всех его самобичующих строках. Привычная незатихающая боль. И боль глубинная, а не та, что стала — послушаешь сейчас красноречивого литератора — чуть ли не оправданием напыщенным, если укорят в нечеткости авторской позиции: мы — не врачи, мы — боль. Но боль-то как раз и точна, а не врач, который может ошибиться.

Уроки Некрасова очень нужны нам сейчас, когда в нашей жизни происходит столько решительных перемен. Он конечно огромен, и поэтому у каждого — свой Некрасов, но для всех — трудный собеседник, видящий нас насквозь.

Александр КАЗИНЦЕВ

ВЗЫСКАТЕЛЬНАЯ КРИТИКА И ЕЕ ПРОТИВНИКИ

ВСПОМНИМ — еще совсем недавно критика была своего рода ведомством при творческих союзах. Ведомством церемоний и восхвалений. Почести полагались всем сколько-нибудь известным авторам — союзного, республиканского, областного масштаба, а то и просто людям, лишь, так сказать, организационно причастным к литературе — вплоть до заведующих отделами журналов, газет, издательств. Статьи и литературные портреты, в которых посредственные сочинители сопоставлялись с Львом Толстым и Достоевским, с Пушкиным и Тютчевым, рецензии «по звонку», обзоры, обильно приправленные восхищенными восклицаниями, — все это не было случайностью, редкостью, постыдным срывом. О первоначальном, исконном значении слова «критика» изредка напоминали язвительные разборы вышедшего где-то в глухой провинции сборника, да и то, как правило, написанного начинающим автором. Такими разборами гордились, с их помощью натягивался один процент «отрицательных» материалов при девяносто девяти положительных.

Даже за несколько месяцев до VIII съезда писателей СССР, решительно отвергшего такую практику, в речах, интервью и статьях некоторых ответственных за литературную ситуацию работников преобладало благодушие. И лишь на съезде было высказано много горьких истин о положении в литературе, и в первую очередь в критике. «Мы живем во многом по перевернутой шкале ценностей, своего рода иерархической шкале, согласно которой подымается и возвеличивается не столько талант, сколько положение и чин!.. — свидетельствовал Ф. Кузнецов. — Возникает благодатная почва для нарушения принципов эстетической справедливости, искусственно раздуваемой славы, вызывающих сомнение и протесты премий и наград, словом — для оскорбления таланта возвышением посредственности». В связи с этим говорилось и о «том униженном положении, в которое вот уже долгие годы поставлена наша литературная критика, что опять-таки является проявлением формально-бюрократического отношения к литературе». На съезде прозвучал беспрецедентный, но необходимый в данной ситуации призыв известного прозаика к критикам: «...Не унижайтесь! Не унижайте сами себя!» (Г. Бакланов).

«От того, как активно будет идти процесс перестройки в критике, в редакционных коллективах издательств и журналов, зависит идейно-художественное качество литературы, ее будущее», — записано в Резолюции съезда. Как видим, саму будущность литературы писатели связывают с изменением нравственной атмосферы в критике. Однако не все хотят, чтобы ситуация действительно изменилась. Становление самостоятельной, честной, руководствующейся выверенным эстетическим чувством критики пугает тех, кто привык пользоваться всеми благами «искусственно раздуваемой славы».

Сразу же после писательского съезда в журнале «Юность» (№ 7, 1986) была опубликована статья, прямо противостоящая плодотворному развитию, наметившемуся в критике. Автор ее — А. Мальгин — недостаточно авторитетен, однако в данном случае приходится говорить скорее о журнальной акции, исполнителем, «инструментом» которой стал молодой критик. (Еще недавно для подобных целей использовался А. Прийма, о котором теперь никто, кажется, и не вспоминает.) Акция эта заслуживает тем большего внимания, что «Юность» последовательно культивировала комплиментарную критику. 100 из 100 — таков был долгие годы процент хвалебных материалов.

Казалось бы, время сейчас изменилось, оно требует смелости и прямоты, и долг журнала с обязывающим названием «Юность» поддерживать эти изменения, содействовать преодолению застоя, косности, самоуспокоенности. Но нет. Единственную острокритическую статью журнал обращает против тех, кто хотел бы поднять в критике дух боевитости. Сочинение с фельетонным названием «Лес рубят — щепки летят» открывается полемическим выпадом: «Сейчас уже никого не удивишь призывом покончить с комплиментарностью нашей литературной критики... Призывы эти раздаются давно, настойчиво и с самых разных трибун. Однако давайте не забывать о народном присловье, герой которого, когда его заставили молиться, лоб

себе расшиб. Борьба с одной крайностью часто порождает у нас крайность другую — прямо противоположную...»

Расправившись в первом абзаце с потенциальными энтузиастами, автор «Юности» сосредоточивает огонь на критике журнала «Наш современник». «Едва ли не первым с пресловутой комплиментарностью начал бороться журнал «Наш современник», — сообщает он, после чего прилагает отчаянные усилия, чтобы перечеркнуть все сделанное журналом в этой области. Правда, тут же критик оговаривается — ему-де претит не острота выступлений журнала, а то, что она «приобрела скандальный характер». В качестве примера называются разборы книг «Евгения Евтушенко и Юрия Суровцева, Виктора Камянова и Александра Иванова, Юнны Мориц и Юрия Ряшенцева».

Крайне неубедительная отговорка. От каких-либо доказательств «скандального характера» критических публикаций «Нашего современника» полемист себя освобождает — он подает свое утверждение как общепринятую мысль. Можно было бы, однако, полюбопытствовать, в каких же печатных органах отмечался «скандальный характер» выступлений журнала? Можно было бы напомнить, что ни разбор «Избранного» Юнны Мориц, безукоризненно выполненный известным критиком и историком литературы С. Ломинадзе, ни рецензия на роман Е. Евтушенко «Ягодные места», написанная старейшим русским прозаиком Олегом Волковым, ни статья о пародии, как жанре, редактора альманаха «Поэзия», поэта Николая Старшинова, где рассматривались, в частности, и пародии А. Иванова, ни другие поименованные в «Юности» материалы никем как «скандальные» не квалифицировались. Большинство названных публикаций вообще было принято без какой-либо полемики. Некоторые оказались созвучны выступлениям других органов печати. Так, например, отрицательная оценка, данная О. Волковым роману «Ягодные места», совпала с оценкой критика В. Кардина («Вопросы литературы», № 10, 1983).

Впрочем, напрасный труд взывать к профессиональной эрудиции автора «Юности». О серьезности его «методологии» можно судить по двум ключевым фразам: «Статья большая, — говорится о статье Ст. Куняева («Наш современник», № 2, 1985), — и я не буду сейчас останавливаться конкретно на том или ином тезисе автора»; «Стиль же... журнала в целом напоминает, увы, рапповские времена. Понимаю всю относительность этой аналогии, но все же удержаться от нее не могу». Вот так—конкретно останавливаться на тезисах оппонентов не буду, но от сомнительных аналогий и других столь же «корректных» приемов «удержаться не могу». Не правда ли — не слишком почтенно, но зато красноречиво и откровенно...

Спорить с оппонентами, основываясь на подобной «методологии», чрезвычайно удобно. Не столько, впрочем, спорить (до разбора конкретных тезисов автор, как мы помним, не снисходит), а разоблачать, уличать. В чем же? Ну в том, например, что Олег Волков судит о романе Евтушенко, не поняв его. Да и как ему понять, если в представлении критика «Юности» этот опытнейший писатель, постигавший тайны искусства в беседах с П. Флоренским и с И. Соколовым-Микитовым, «... прозаик неплохой, но в делах литературной критики, похоже, далеко не мастер». Тут же юный критик растолковывает О. Волкову, что роман написан не Пришвиным, а Евтушенко, и что он «построен по принципу панорамности, широкого охвата разных сторон действительности, а потому перемещения во времени и пространстве, подключение к основному сюжету дополнительных, побочных тем, репортажных кусков вполне оправданны». Содержательное определение, данное «мастером в деле критики»? Теперь, надо полагать, оппонент не только повержен, но и просвещен.

Станислав Куняев уличается в попытке подвести читателей к «выводу: творчество этого критика, а также поэта, о котором он пишет (С. Чупринина и А. Вознесенского.— **А. К.**), не заслуживает внимания широкого читателя». Тут же Куняеву популярно разъясняется, что «широкий» читатель сам давно разобрался, «что заслуживает, а что не заслуживает его внимания».

Затем наступает черед Владимира Бондаренко, Александра Боброва, Юрия Гладильщикова, дерзнувших высказать замечания в адрес «наших известных драматургов» и «наших ведущих театров». Им, правда, уже ничего не разъясняется, да и в чем они «виноваты» (во всяком случае, А. Бобров и Ю. Гладильщиков), не указывается. Видимо, автор «Юности» счел, что попытка поставить под сомнение мастерство «известных» и «ведущих» преступна сама по себе.

Невероятно? Какой-то вызывающе несовременный способ опровержения критики с помощью ссылки на заслуги и титулы? Похоже, однако, что перед нами именно «реликт» критики, отошедшей — хочется верить! — в прошлое. «Реликт» агрессивный, пытающийся во что бы то ни стало повернуть литературное развитие вспять.

Полемизируя с оппонентами, автор статьи и не задается вопросом о художественной ценности произведений «ведущих» литераторов. Указанием на «панорамность» исчерпываются доказательства достоинств романа Евгения Евтушенко. Даже на периферии критического сознания не возникает мысль — а талантливо ли воплощен «принцип панорамности» в «Ягодных местах». «Неправота» Ст. Куняева в отношении Чупринина и Вознесенского «обосновывается» с помощью откровенной казуистики. Сообщается, что в работе Чупринина говорится о поэзии А. Вознесенского как об одном из «наиболее рельефных воплощений той традиции, в русле которой рождались стихи о загранице Маяковского», а Куняев, мол, приписывает Чупринину мысль о том, что Вознесенский является стопроцентным продолжателем В. Маяковского. Соглашусь, не «стопроцентный», а «наиболее рельефный» — станут ли от этого стихи, написанные на смерть сенатора Хэмфри, ближе к традиции Маяковского? Думаю, сам Вознесенский не пытался вписать их в нее.

Так в чем же «повинны» авторы «Нашего современника», те же Ст. Куняев и

О. Волков? В том, что «замахнулись» на самого Андрея Вознесенского, на самого Евгения Евтушенко — любимых авторов «Юности»? Получается так. Другое дело, что О. Волков, например, и не думал «замахиваться» на сочинителя «Ягодных мест». Старый прозаик весьма сочувственно отнесся к работе известного поэта, дебютировавшего в роли романиста. И именно это сочувственное внимание побудило его указать на промахи, предостеречь автора от ошибок.

Перечитайте рецензию О. Волкова — это интересный, поучительный разговор мастера о творчестве. Но как раз творческие вопросы не интересуют А. Мальгина. Он их попросту не замечает. Готов допустить — вполне искренне, так как все его внимание привлечено к нарушению «табели о рангах». В критике романа он усматривает попытку пошатнуть положение «ведущего». Невольно вспоминаешь слова Ф. Кузнецова о «формально-бюрократическом отношении к литературе». Да, «ниспровергательская» эта статья проникнута духом чинопочитания. Никакого противоречия здесь нет, ибо с почтением автор относится к авторитетам «своих», к чинам «своей» иерархии. И чем сильнее это чувство, тем яростнее сокрушает он «чужих».

И все-таки сейчас уже не те времена, когда достаточно было ограничиться грозным вопросом: кого вздумали критиковать? Сейчас требуется выдвинуть какие-то веские аргументы. Не имея возможности возразить авторам «Нашего современника» по существу, критик непрестанно возмущается стилем публикаций журнала. Так, о моей статье «Механика успеха, или Индивидуальность нового типа» он пишет: «Соглашаясь с некоторыми оценками, содержащимися в этой статье, я тем не менее не могу принять самого тона, в котором они были высказаны».

Оценки (по крайней мере, некоторые из них) признаны справедливыми. Казалось бы, чего же спорить? Но поспорить хочется, поэтому — тут в который раз обнаруживает себя авторская «методология» — «удержаться не могу». «Непарламентским» оказывается тон. Выходит, автор «Юности» стремится не только ограничить право критики оценивать произведения, невзирая на лица, он желал бы исключить из ее арсенала иронию, сарказм. Чинная, чинопочитающая критика — достойный идеал! Оглянемся — были периоды, когда идеал этот в полной мере осуществлялся, к радости тех, кто боялся критики взыскательной, подлинной. Но вглядимся и дальше в глубь времен — была ли чинной критика Белинского, Гоголя? А статьи Пушкина, к примеру, о мизинце господина Булгарина? А инвективы Одоевского, Вяземского? Нет, классики жанра никогда не отказывались от таких действенных средств, как ирония и сарказм. Да и как же иначе, в каком тоне писать о литераторе, чье творчество — образчик откровенного эпигонства, чей успех — пример незаслуженного, одной расчетливой рекламой подготовленного успеха?

Разумеется, следует различать резкую литературную полемику и «бытовую» грубость. Вряд ли позволительно именовать оппонента «щенком», утверждать, что публиковаться в каком-либо журнале (советском журнале!) те или иные авторы считают «ниже своего достоинства». Но ведь как раз критик «Юности», хлопочущий о распространении «хороших манер» в литературе, прибегает к таким средствам. Да и не он один в «Юности». В том же седьмом номере А. Вознесенский живописует: «Оппонент мой хрюкает, мордой вниз». Следует, очевидно, заключить, что в представлении авторов молодежного журнала именно такой тон является «парламентским»...

Видимо, резонно полагая, что ссылки на «неправильный» тон покажутся недостаточно убедительными, критик «Юности» прибегает к явным подтасовкам и манипулированию цитатами. Приводя мои слова о том, что поэзия Вегина сама по себе не может стать предметом серьезного рассмотрения (я обратился к ней как к удачной иллюстрации тревожного процесса обезличивания поэтического творчества, вырождающегося в ремесленничество и трюкачество), критик тут же называет мою статью «монографией» о Вегине» и ядовито замечает: «Казинцев тем не менее затрачивает немало критической энергии и журнальной площади для того, чтобы доказать то, что, по его утверждению, не может стать предметом серьезного разбора» (похоже, полемический пыл был настолько силен, что критик позабыл перечесть написанное — «доказать то, что... не может стать предметом» — это, согласитесь, не очень-то вразумительно).

Особую виртуозность манипулирования цитатами автор демонстрирует при рассмотрении статьи поэта С. Викулова о творчестве Ольги Фокиной. Один только пример. «Она... «священный огонь Поэзии» получила из рук самого Пушкина, «пушкинский факел не только озарил — зажег в ней ответный огонь», — излагает критик содержание статьи С. Викулова. Человек, не читавший статьи, может подумать, что Фокина объявляется С. Викуловым прямой наследницей Пушкина. Такое впечатление и пытается создать автор «Юности». Но возьмем в руки «Наш современник» (№ 3, 1985) и прочтем, что же написано на самом деле: «Наверное, О. Фокина рано или поздно расслышала бы себя, свой голос, если бы даже и не попала в Литературный институт. В России, слава богу, есть у кого учиться, от чьего факела перенять священный огонь Поэзии. О. Фокиной (да и одной ли ей!) первым озарил душу пушкинский факел, и не только озарил — зажег в ней ответный огонь» (как выясняется далее, огонь не самой поэзии — С. Викулов говорит о детстве поэтессы, — а любви к ней).

Речь, как можно убедиться, о том, что О. Фокина, как и большинство русских стихотворцев, стремилась учиться у Пушкина. Тут нечем поживиться записному ернику, и он попросту опускает «неустраивающую» его часть фразы. Опять «не смог удержаться»?

Не обходится без подтасовок и когда критик «Юности» говорит о могиле майора Петрова, о которой в статье «Что тебе поют?» упоминал Ст. Куняев. Собственно, вопрос этот отнюдь не творческий, но именно поэтому он так привлекает

А. Мальгина. Он ссылается на письма, заявления граждан, проявляя завидную осведомленность, сообщает об «обширной почте» «Нашего современника» по поводу статьи Ст. Куняева.

Напомню — в статье о проникновении духа «массовой культуры» на песенную эстраду Куняев писал и об уродливых формах поклонения публики той или иной эстрадной «звезде». Рассказывалось, в частности, как почитателями В. Высоцкого была затоптана могила майора Петрова на Ваганьковском кладбище. «Я не могу себе представить, — писал Ст. Куняев, — чтобы поклонники Блока, Твардовского, Заболоцкого или Пастернака могли позволить себе из любви к своему божеству равнодушно топтаться на чужих могилах».

Позднее в «Нашем современнике» была опубликована подборка читательских писем. Авторы одних поддерживали пафос выступления Куняева, другие возражали ему, причем весьма резко (эти «не замеченные» критиком «Юности» отклики тоже были опубликованы). Часть читателей — поклонников творчества Высоцкого — выражала сомнение в самом существовании могилы майора Петрова.

Такие же сомнения высказывает критик «Юности», он обвиняет Ст. Куняева в искажении истины, а работников журнала «Наш современник» — в «сознательном введении читателей в заблуждение», ибо ко времени публикации читательских откликов (декабрь 1984 года) «работники журнала уже знали, что могилы майора Петрова рядом с могилой Высоцкого не существовало, а потому и затоптать ее никто «оголтелый» просто не мог».

Вопрос и впрямь оказался далеко не столь очевидным, как считал Ст. Куняев, располагавший фотографиями впоследствии исчезнувшей могилы. Однако отнюдь не поэт был повинен в создавшейся ситуации, и — главное — выяснившиеся факты не отменяют ничего из сказанного им.

Что же выяснилось? Могильный холмик, изображенный на фотографиях, имевшихся у Куняева, действительно существовал. Это признают и администрация кладбища, и авторы коллективного письма, направленного в Союз писателей с протестом против статьи «Что тебе поют?». Однако захоронения под могильным холмиком, как объясняют теперь, не было. Вот версия, изложенная бывшим директором кладбища В. Кажаевым в письме Ю. Медведеву (редактору, готовившему к печати статью «Что тебе поют?»): «Мнимый холм, образованный прямо на асфальте, был снесен по указанию администрации». А это версия, изложенная в коллективном письме: «Мать поэта, Н. М. Высоцкая рассказывает: «Мы (имеются в виду родственники и друзья Н. М. Высоцкой) заметили этот неприсмотренный холмик — могилу режиссера Петрова — и стали за ней ухаживать, подправлять, класть цветы. Затем неожиданно для нас на могиле появилась табличка «Майор Петров». Я спросила бывшего директора кладбища, Олега Моисеевича: «Что это за могила?» Он ответил: «А, Нина Максимовна, не обращайте внимания, это я приказал насыпать, чтобы там люди не топтались...» Новый директор кладбища распорядился этот могильный холмик убрать как неизвестно откуда взявшийся...»

Какая бы из этих версий ни соответствовала действительности (а может быть, существуют и иные версии?), нет оснований возлагать на Ст. Куняева ответственность за создавшуюся путаницу. Очевидно, что в ней повинна администрация кладбища. Пересылая коллективное письмо главному редактору «Нашего современника», председатель правления Союза писателей РСФСР С. Михалков резонно отметил: «По-моему, изложенные в письмах факты свидетельствуют прежде всего о непорядке в делах Ваганьковского комплекса ритуального обслуживания населения. Что такое «мнимые» могилы на кладбищах?» Кстати, о непорядках на Ваганьковском кладбище уже говорилось в печати (см., например, статью В. Лазарева «Трава забвения?.. Нет, свет памяти!» — «Литературная газета», № 50, 1984).

Нет оснований и для обвинения в адрес работников редакции «Нашего современника», якобы «вводивших читателей в заблуждение», ибо они, мол, уже были знакомы с ответом администрации кладбища, когда публиковали в декабре 1984 года отклики на статью Ст. Куняева. Передо мной письмо бывшего директора кладбища В. Кажаева Ю. Медведеву. Оно датировано 24 января 1985 года!

Но отвлечемся от всех этих дат, фактов и фактиков. Задумаемся о главном — разве меняют они что-либо в той тревожной ситуации, о которой так заинтересованно, так в хорошем смысле слова пристрастно писал Ст. Куняев? Разве поведение тех, кто топтался на могильном холмике (не случайно же, по признанию поклонников В. Высоцкого, его приходилось «подправлять»), становится более этичным от того, что под ним, как выясняется теперь, не было праха? Ведь «оголтелые» — воспользуемся определением автора «Юности» — не знали о том.

Но об этом не желает говорить язвительный критик. Цепляясь за слова, за неувязки, большей частью мнимые, он намеренно, демонстративно не затрагивает сути проблем, которые поднимаются в рассматриваемых им публикациях «Нашего современника». Они посвящены отнюдь не препирательствам по поводу того или иного писательского реноме, как можно подумать, читая Мальгина. Это — часть трудного, честного разговора о насущных проблемах времени, о судьбах родной земли и родной культуры.

Озабоченность этими проблемами пронизывает материалы не только критиков, но и публицистов, прозаиков. Сейчас уже всеми признана польза выступлений журнала по вопросам экологии, здорового быта, трудового воспитания. Они оказали влияние на формирование общественного мнения и так или иначе отразились в принципиальных решениях государственного масштаба. Задача, однако, в том, чтобы уберечь не только русскую природу, но и русскую культуру. Не только физическое здоровье народа, но и здоровье нравственное.

С нас — людей, живущих сегодня, — спросится не только за сохранность пашен и лугов, рек и озер. Спросится и за то, как

мы сберегли, сумели ли мы сберечь богатейшую культурную традицию, в рамках которой были созданы гениальные произведения, ставшие достоянием всего человечества, выработаны поразительно точные нравственные представления. Чистота этих представлений не менее важна, чем чистота с пугающей быстротой загрязняющегося воздуха.

Литераторы, сознающие ответственность за судьбы народа, обретают в «Нашем современнике» всероссийскую трибуну. В меру таланта и сил они стремятся содействовать торжеству русской культуры. Они борются за утверждение ее великих принципов — гуманизма, народности, патриотизма. И именно поэтому — против безликих произведений, выдаваемых за шедевры, достойные занять место в литературе, осененной именами Пушкина и Толстого; против эстрадного кривлянья, вытесняющего со сцены и из быта дивные русские песни; против искажения классики на театральных подмостках, против постановок, в которых выставляется на посмешище все, что возвышает человека, — любовь, творчество, стремление к идеалу.

Конечно, в публикациях журнала и конкретно в тех, что названы критиком «Юности», есть и недочеты. Встречаются и поспешные обобщения, и недостаточно четкие характеристики, а порою и досадные неточности (так, в рецензии О. Волкова действительно неверно названа фамилия одного из героев романа «Ягодные места»). Никто, разумеется, не станет возражать, если серьезный критик рассмотрит все эти недочеты, поможет устранить неточности. Такая работа будет на пользу общего для всех честных литераторов дела.

Однако автор «Юности» меньше всего озабочен тем, как оказать посильную помощь в решении насущных проблем. Его цель — скомпрометировать нужное дело, изобразить литераторов, вынужденных заниматься расчисткой культурной почвы (работой черновой, неблагодарной, но необходимой), как людей, стремящихся к дешевой популярности, скандалу. Его цель — подорвать доверие к журналу, имевшему смелость задолго до того, как взыскательная критика стала нормой общественной жизни (нормой литературной жизни она не стала до сих пор!), предоставить страницы авторам строгих, нелицеприятных разборов.

Тут подход прямо противоположный тому, который демонстрирует журнал «Наш современник». Тут не забота о литературе, а плохо скрываемая тревога за место в ней, за привилегии, не подтвержденные реальным вкладом в искусство. Два подхода — творческий, ответственный, деятельный и формально-бюрократический. От того, какой утвердится, многое зависит. Останется ли в литературе все по-старому или же плодотворное развитие, наметившееся на VIII съезде писателей СССР, окажется необратимым.

Николай ФЕДЬ,
доктор филологических наук

НЕОБЫЧАЙНЫЕ СТРАДАНИЯ ДЕДКОВА

Ныне много говорят и пишут (и вполне резонно!) о пристрастной, групповой, комплиментарной, беспринципной и т. д. литературной критике. Не будем прибегать к методу «обоймы», называя фамилии, статьи, заметки. Разберемся в конкретном, но весьма показательном случае. Недавно журнал «Вопросы литературы» (№ 7, 1986) предложил, так сказать, новую модель критики, точнее, малоизвестный широкому кругу читателей тип критика,— многозначительно намекающего и обвиняющего. Речь идет о статье Игоря Дедкова «Перед зеркалом, или Страдания немолодого героя». Имеется в виду главный герой романа Юрия Бондарева «Игра».

Конечно, Дедков, как и всякий критик, имеет право на свое мнение о романе Ю. Бондарева. Беспокоит другое: стремление иных деятелей использовать процесс демократизации, гласности и критики в личных целях. Партия предостерегает: «На этой волне появляются и демагоги, хотят всех очернить. Это тоже надо видеть». Наш случай — один из таких.

Здесь нет надобности представлять роман «Игра», известный многомиллионному читателю у нас и за рубежом, получивший высокую оценку на писательских съездах в 1985 и 1986 годах. Произведение Бондарева продолжает жить, волновать сердца людей, вызывать споры; оно помогает более отчетливо видеть добро и зло, будит мысль, не оставляя никого равнодушным. Часто ли бывает такое?

Вместе с тем, повторю, сегодня никто не

станет оспаривать право критика высказывать свое аргументированное мнение по поводу прочитанного. Вопрос в ином: как и для чего это делается?

Роман взбудоражил и Дедкова, вызвав у него нечто вроде гнева, раздражения и (не странно ли?) — обиду. Он и не скрывает это: «Завидую москвичам и ленинградцам: со столичных высот виднее, чем с наших провинциальных равнин. И города разные-всякие как на ладони, и даже районы — и можно разглядеть, как передают роман из рук в руки...» Ирония, насмешка? Нет! Это злость-обида, причиняющая невероятные страдания Дедкову. Шутка ли, полтора года прошло после выхода в свет «Игры», и никто не спросил его, Дедкова, мнение о новом бондаревском произведении, как бы забыли «толстые» журналы о нем: «Пусть так, но в качестве читателей мы все — люди званые... а выбьемся ли в избранные, в набравшие равновеликую духовную высоту — бог весть!.. Одно утешение: и мы на том пиру побывали и что-то дерзнули произнесть!»

Злость-обида так затуманила очи автора из «провинциальных равнин», что и не замечает он, как вместо «я» уже величает себя «мы». А возможно, это прием гоголевского персонажа, одновременно делавшего ход несколькими пешками? Уж очень тщится выражаться Дедков, так сказать, в сатирическом ключе: «Может, и невпопад что сказалось или скажется, да ведь так часто, по Далю, бывает: невпопад пришел — не в угоду поклонился...» В такой развязной, грубой манере написана вся статья. Ну, да бог с ними, дедковскими неуклюжими «поклонами», потугами иронии, стремлением выбиться «в избранные»; с его «провинциальными равнинами», противопоставленными «столичным высотам», и плоским теоретизированием, заполнившим 40 страниц печатного текста «Вопросов литературы».

Важнее другое: за всем этим скрываются вещи отнюдь не юмористического характера либо авторского недомыслия. Дедкова раздражает буквально все: необычайная популярность «Игры», многомиллионные тиражи, неослабевающий интерес читателей, положительные отзывы критики... Но это, как говорится, не наши заботы. Примечательно, что Дедков сознательно не анализирует роман в целом, ни слова не говорит о его общей идейно-эстетической концепции. Замысел-то иной: в пику всем сказать нечто эдакое, поразить всех необычайной «смелостью» («мы... что-то дерзнули произнесть»); той «смелостью», которая преследует вполне определенные и далеко идущие цели — на основании отдельных высказываний Крымова, вырванных из контекста романа, Дедков предъявляет ему ряд неслыханных доселе политических обвинений. Прием не нов, однако в нашей критике — редкость, ибо является показателем нравственного уровня того, кто им пользуется. Остановимся на некоторых обвинениях критика.

Обвинение первое. Советский интеллигент Крымов унижает, оскорбляет и презирает людей: с «...твердым сознанием своего превосходства будет Крымов и дальше рассыпать жесткие, а то и унижающие, оскорбляющие других слова»; «герой все упоеннее живет самим собою и не дает жить другим на равных с ним основаниях»; «презрительность и беспощадность крымовского взгляда, обращенного едва ли не на всех людей за пределами его круга... та особая презрительность, с какой смотрят сверху вниз...»; «в каждой подробности (!) крымовского восприятия людей — отсутствие сочувствия и благожелательности» и т. д. и т. п.

Трудно, невозможно поверить, но именно во всех этих «грехах» обвиняет Крымова не кто иной, как пройдоха и мещанин Молочков, против которого воюет главный герой романа (Молочков: «Барин вы по сравнению со мной», «Презираете вы меня, брезгуете», «Когда вы не будете смеяться над всем?» и т. д. и т. п. Поэтому Крымов задает себе вопрос: «За что он не любит меня?»). Так самым удивительным образом совпали взгляды отрицательного персонажа произведения и взгляды «смелого» критика Дедкова!

Обвинение второе. Крымов цинично попирает память павших на войне и выживших, что, по сути, граничит с садизмом: «На войне, говорит Крымов, погиб «цвет народа». Если б эти слова — как дань памяти, как ясное сознание утраты! Но они развернуты против остальных, выживших, даже против детей их, и потому бестактны. И несправедливы. И опять же — какая странная для художника тяга: винить, упрекать, принижать миллионы и миллионы неизвестных, неведомых ему людей с их неведомыми ему судьбами...»

С точки зрения здравого смысла и элементарной порядочности, подобные утверждения абсурдны, а вернее — это явное извращение сути образа. Ибо мысль о гибели в войну «цвета народа» больнее всех ранит сердце Крымова, равно как главных героев романов «Берег» и «Выбор». Но вернемся к Дедкову.

Обвинение третье, которое муссируется чуть ли не на полстатьи. «Элитарное высокомерие» Крымова; привычка «всех остальных», кроме себя, видеть «плохо и предвзято» принуждает его кокетничать с боженькой, то бишь с его проповедниками: «Мысль о проповедниках странная, как бы забывшая об опыте церкви»...

Может быть, в редакции журнала не ведали, что творят, либо Дедков обвел всех вокруг пальца? Ничуть не бывало. Все шло по тщательно продуманному плану. Когда я выразил главному редактору журнала свое удивление в связи с публикацией этих дедковских измышлений, он сказал: «Так рядом поместили материал другого автора, который ему возражает». Значит, знали и понимали, что делали. Что же касается «другого автора» — то ему ли, скромному кандидату психологических наук, знающему «Дедкова не только как умного и талантливого аналитика (!) литературы, но и как тонкого стилиста», — так ему ли после этого тягаться с Дедковым? Это также хорошо знали и учли устроители «дискуссионной трибуны».

Иногда кажется, что устроители иных дискуссий и некоторые авторы «теоретических» статей «Вопросов литературы» — неисправимые лукавцы, цель которых не истина, а некое развлекательное действо, во время которого каждый из участников

держит руку в кармане по случаю сотворенной из трех пальцев комбинации, предназначенной для обсуждаемого писателя. Так, в той же седьмой книжке журнала об этом невольно заставляет подумать материал подвижника на поприще «полемических маргиналий» Ю. Суровцева «К вопросу о реанимации некоторых приемов магической обрядности в критико-литературоведческих текстах». Но здесь не место и не время обстоятельно полемизировать с автором статьи. У нас разговор о другом.

Обвинение четвертое. Деятельность, мораль, искания героя «Игры» антинародны по своей сути, несовместимы и отторгнуты от жизни советских людей: «В итоге сложился мир, вознесенный над народной жизнью, мир со своей иерархией, своей этикой, узкий, замкнутый, пытающийся вместить в наиболее общих чертах жизнь людей современного искусства».

Подобных обвинений-измышлений, пропитанных нескрываемой неприязнью, в дедковском сочинении много. Однако я не буду их здесь приводить, ибо ничего нового они не прибавляют к сказанному.

Мне же осталось ответить на главный вопрос: для чего это сделано? Если ранее Дедков довольно часто прибегал ко всякого рода намекам, недомолвкам, многоточиям, «туманным» разоблачениям, ехидным вопросикам, то в конце статьи он прямо и без обиняков ответил на интересующий нас вопрос. Хотя по привычке начал издалека, с «раскачки»: «Что же автор? Он отдал нам своего героя и сказал: смотрите и судите сами, каков он? Нет, автор сделал все, чтобы поразить нас своим героем, масштабом его идей и страстей, силой духа, возбудить к нему сочувствие и сострадание».

Чувствуете, куда клонит Дедков? Автор не отдал своего героя на поругание, он близок ему, он вложил в него свои... Да что тут гадать, все сказано в последнем предложении статьи. Вот наконец ответ на наш вопрос: для чего это сделано? «Художественный разум автора, — резюмирует критик, — не стал высшим и объективным по отношению к герою и его миру, и это в романе разнообразно запечатлено: уровни героя и автора как бы совпали...» (разрядка моя.— **Н. Ф.**).

Круг замкнулся! Оказывается, герой романа «Игра» — это и есть сам писатель, а все обвинения, которые Дедковым предъявлялись Крымову (высокомерие, проповедническая странность, презрение к людям, принижение миллионов и миллионов людей и т. д.), переадресовываются Бондареву...

Такого, согласитесь, еще не было в истории нашей литературы.

Теперь неизбежно встает вопрос: кому это выгодно?

Советская литературная теория и критика в лучших своих образцах выражают точку зрения, согласно которой уроки правды не в том, чтобы всячески чернить национальное достояние в любых сферах жизни народа, но в том, чтобы защищать, поддерживать, гордиться всем ценным и отзываться с болью в сердце на недостатки, бороться за их устранение, а не фарисействовать.

В свое время Александр Твардовский писал: «Мы приветствуем спор, дискуссии, как бы остры они ни были, принимаем самую суровую и придирчивую в пределах литературных понятий критику» (разрядка моя.— **Н. Ф.**). Дедковские писания далеко за этими «пределами». Поэтому не будет некорректным назвать здесь вещи своими именами: стремление Дедкова дискредитировать русскую литературу в ее наиболее значительных явлениях заслуживает решительного отпора, как бы он ни прикрывался животворным лозунгом общественной критики и гласности.

ИСТОРИИ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Вряд ли мог предположить молодой командир Красной Армии Андрей Черкашин, что этот населенный пункт на калужской земле станет для него своеобразной точкой отсчета в мирной жизни. Только что отбит у немцев Полотняный Завод, один из тысяч поселков городского типа, обозначенных маленьким кружком на карте. От старожилов услышал воин, что здесь находилось имение Гончаровых, родственников жены А. С. Пушкина, что поэт два раза приезжал сюда, что здесь во время Тарутинского марша-маневра русской армии останавливался Кутузов... Назывались еще имена... Обидно стало Андрею, что так мало знает он о Пушкине. Дал себе слово, кончится война— прочтет о великом поэте все.

Простой интерес перерос с годами в исследовательскую страсть, в серьезное изучение истории пушкинского рода, а вместе с ней и русской истории. Постепенно хаос разрозненных описаний Андрей Андреевич превращал в систему, выстраивая сначала отдельные ветви, а потом соединяя их в древо. И наконец родословие А. С. Пушкина, его предков и потомков было в основном завершено.

Получилось, что генеалогическое древо рода Пушкиных, по сути своей, графически «накладывается» на российскую историю, а история России тесно связана с А. С. Пушкиным во времени и пространстве. Действительно, истоки пушкинского рода восходят к девятому веку, к князю Владимиру Красное Солнышко. В кровном родстве состоит поэт, если идти к истокам, с Михаилом Кутузовым, Дмитрием Пожарским, Александром Невским. С Д. В. Веневитиновым, Н. В. Гоголем, Л. Н. Толстым, Г. В. Чичериным — если идти к нашим дням.

Нам порой кажется, что то время, когда жил А. С. Пушкин, далеко отстоит от нас. Полтора века! Но мы убедились в обратном, когда недавно к нам в редакцию вместе с А. А. Черкашиным пришел правнук великого поэта Григорий Григорьевич Пушкин. Между ним и поэтом, сказал он, указывая на родословную схему, только два человека. Александр Александрович Пушкин — сын поэта и дед нашего гостя — боевой генерал, в 37 лет командовавший Нарвским кавалерийским полком, который участвовал в освобождении Болгарии от османского ига. И Григорий Александрович Пушкин — внук поэта и отец Г. Г. Пушкина — полковник русской армии, служивший в Двинском полку, перешедший на сторону пролетарской революции и ставший красным командиром.

У Григория Григорьевича Пушкина — скромного человека, большого труженика и патриота — тоже интересная судьба. Учился на зоотехника, работал в микробиологической лаборатории. В 1934 году пошел добровольцем в Красную Армию, служил пограничником, потом воевал с белофиннами, участвовал в освобождении западных областей Белоруссии и Украины. В 1941-м, снова добровольно, ушел на фронт, находился в специальном партизанском отряде Московской области. Потом были Калинин, Курск, Сумы, Харьков, Пятихатки, Корсунь-Шевченковский. Был отозван на офицерские курсы. И до 1946 года служил в восстановительном батальоне связи. 16 послевоенных лет проработал печатником глубокой печати в типографии издательства ЦК КПСС «Правда». Сейчас Г. Г. Пушкин — лектор общества «Знание». Он постоянно в дороге, в поиске. Ведь до сих пор открываются новые факты богатой пушкинской биографии, новые имена людей, бывших в дружбе с поэтом, связанных с его судьбой. Еще о многом надо рассказать, написать. Ведь мало кто знает, что вместе с Григорием Григорьевичем на фронтах Великой Отечественной сражались еще одиннадцать потомков великого поэта. Пушкины всегда были с Россией, за всю более чем 1000-летнюю историю рода никто из Пушкиных не запятнал чести фамилии, чести родной земли.

Хочется надеяться, что А. А. Черкашин продолжит работу над родословной схемой предков и потомков великого поэта, пополнит ее новыми именами и фактами. Как считают в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинском доме), схема, имеющая большое научное значение, окажет неоценимую помощь пушкинистам, всем тем, кто будет готовить к выходу в свет новое Полное академическое собрание сочинений А. С. Пушкина и Пушкинскую энциклопедию. Хочется также надеяться, что после опубликования родословная схема станет достоянием не только ученых и исследователей, но и всех, кому дорого имя и наследие А. С. Пушкина.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

«Наш современник» — клубам трезвости

КРИТИКА

В конце номера:

Рукописи менее авторского листа не возвращаются

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию газеты «Красная звезда»: 123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Технический редактор **Л. Л. Ежова.** Корректор **М. И. Кононова.**

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва. Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора). 221-43-59 (ответственный секретарь), 221-48-71. 200-23-05 (отдел прозы). 200-23-07 (отдел поэзии). 228-32-16 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 200-24-32 (технический редактор). 200-23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав. редакцией)

Сдано в набор 12.08 86 г. Подписано к печати 20.10 86 г. А-10669
Формат 70×108 1/16. Бумага типографская № 2. Печать высокая.
Усл. печ. л. 16,8. Уч-изд. л. 19,56 Тираж 220 000 экз. Заказ 1856. Цена 80 коп.

Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда». Хорошевское шоссе. 38.

ЦЕНА 80 КОП.

ИНДЕКС 73274

НАШ СОВРЕМЕННИК